

Семен ЛИПКИН Анна БЕРЗЕР

М.КНИГА
1990
ВРЕМЯ
СУДЬБЫ

Семен ЛИПКИН

ЖИЗНЬ
И СУДЬБА

Василия
ГРОССМАНА

Анна БЕРЗЕР

ПРОЩАНИЕ

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

МОСКВА «КНИГА»



Семен ЛИПКИН

ЖИЗНЬ

И СУДЬБА

Василия

ГРОССМАНА

Анна БЕРЗЕР

ПРОЩАНИЕ

МОСКВА «КНИГА» 1990

ББК 84Р7
Л61

Разработка серийного оформления
А. Т. Троянкера, Г. М. Грозной, Е. А. Родионовой

Редактор Э. Б. Кузьмина

Л 4702010201-065 Без объявл.
002(01)-90
ISBN 5-212-00401-2

© С. И. Липкин,
А. С. Берзер, 1990

Семен ЛИПКИН

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Среди моих бумаг почему-то оказалась копия следующего документа:

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что шинель специального корреспондента «Красной звезды» тов. подполковника Гроссмана В.С. за три года работы на фронте пришла в состояние полной изношенности.

Полковник (И. Хитров)

Полковник (П. Коломийцев)

Подполковник (Л. Гатовский)

28 июля 1944 г.

Каждая фраза этого акта по-своему замечательна. «Три года работы на фронте» — именно работы — в дыму, в огне атак, в грязи и снегу бездорожья, в пыли окопов, в крови раненых, в болотной, речной, озерной воде. Я видел в том же Сталинграде известных писателей — спецкоров центральных газет. Иные — не все — не чуждались передовой, ходили иногда вместе с бойцами в атаку, но их отчаянность, лихость были однодневными, одноразовыми, потом в землянках больших военачальников начиналась роскошная выпивка. «Это что-то нерусская храбрость», — вспоминается замечание Лермонтова о Грушницком. Храбрость Гроссмана была храбростью чернорабочего войны, солдата жестокой поэзии войны. В то время как его коллеги умудрялись каждый год, а то и два раза в году, одеваться в генеральских пошивочных, шинель Гроссмана «пришла в состояние полной изношенности». Вот в такой, залитой бензином, заляпанной грязью шинели он запомнился мне в Сталинграде.

Если не считать той мелочи, что я остался в живых, мне на войне не везло. Я ее начал на Балтике, а там меня послали в морскую пехоту — в качестве корреспондента, конечно, но понимающие люди знают, что такое морская пехота на Ленинградском фронте. Пережив несколько месяцев блокады, я был временно откомандирован для работы среди войск нерусской национальности в 110-ю кавалерийскую калмыцкую дивизию, в июле 1942 года мы попали в окружение в

районе Мечетинской, больше месяца наш разрозненный отряд блуждал в степях по немецким тылам, мы вышли из окружения в районе Моздока в августе, а потом я был направлен в Сталинград, в Волжскую военную флотилию, труднейшую пору Сталинградской битвы находился на борту канонерской лодки «Усыкин», которая погибла, приходилось на бронекатерах переправляться и на правый берег, к полковнику Горохову на Рынок, и в родимцевский штаб в трубе. Однако все мои действия не были результатом моей личной смелости. Я не могу сказать о себе, что рвался в бой, — я просто подчинялся приказам.

Однажды комиссар «Усыкина» предложил пойти вместе с ним и двумя матросами по обстреливаемому немцами волжскому льду, чтобы передать письма, водку, еду повкуснее нашим морякам, установившим свой НП на чердаке одного из сталинградских полусгоревших домов на улице, занятой немцами. Комиссар мне только предложил, не приказал, он не был моим прямым начальником, и, если бы не стыд, я бы отказался.

Другое дело Гроссман. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал ее на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие.

На войне он был целомудренно чист, презирал тех литераторов, кто заискивал перед начальством, то униженно, то нагло выпрашивал награды и звания, кто ленился появляться на передовой. Был верен жене, в отличие от многих нас, грешных.

Его нравственную, а не только художественную силу чувствовали все. Порой боялись ее. Когда мы вступили в Германию и начались постыдные, дикие происшествия, кто-то из фронтовых стихотворцев, пародируя известную песню, сочинил:

Средь огня и насилий
Едет Гроссман Василий,
Только он не берет ничего.

Далее следовали строки об одном корреспонденте «Правды», родственнике дирижера Большого театра: «Серебро и посуду он везет Самосуду...»

В этих записках я хочу прежде всего рассказать о некоторых событиях, связанных со сталинградской диалогией

«За правое дело» и «Жизнь и судьба». Я хочу рассказать о них не только потому, что этими событиями обозначаются последние годы жизни Василия Гроссмана, но и потому, что они с необычайной выпуклостью выявляют черты нашей литературы и — шире — нашей страны. Мне бы полагалось написать не только о том неизмеримо тяжком, что выпало на долю этих романов и свело преждевременно в могилу их создателя, но написать портрет одного из самых крупных русских писателей нашего столетия, поскольку я единственный оставшийся в живых из его друзей, могу сказать, самый близкий его друг на протяжении двадцати с лишним лет. Однако я не чувствую себя сейчас достаточно готовым выполнить эту задачу полностью.

Наша духовная близость, наша будничная близость (если один из нас не был в отъезде, мы встречались ежедневно) не мешали мне понимать, что мой спутник-брат со всеми его мелкими, мне как никому другому открытыми недостатками намного выше меня и по таланту, и по своим душевным качествам. «Вася, ты же Христос», — говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорил.

Сосредоточив свое писание на истории вышеназванных романов, я все же чувствую, что обязан, хотя бы кратко, может быть, импрессионистично, кое-что рассказать и о самом Гроссмане, и о других его вещах последних лет, надеясь, что Бог пошлет мне годы и силы для более обстоятельного рассказа. Надеюсь и на то, что, если у меня найдется читатель, он не посетует на те отступления, на те беглые зарисовки, которые покажутся мне заслуживающими читательского внимания.

Нас познакомил незадолго до войны писатель С. Г. Гехт, наш общий приятель, мой земляк. Хотя литературный стаж Гроссмана к тому времени был невелик, его имя, по крайней мере в писательской среде, произносилось с уважением и было уже более громким, чем имя его почтенного однофамильца Л. П. Гроссмана, автора литературоведческих исследований и популярного романа о дуэли Пушкина «Записки д'Аршиака». Славу Василию Гроссману принес его первый небольшой рассказ «В городе Бердичеве», напечатанный в апреле 1934 года в «Литературной газете». Лучшие наши писатели открыли в Гроссмане человека оригинального таланта, подлинного художника. С похвалой о рассказе говорил мне Бабель: «Новыми глазами увидена наша еврейская столица». А Булгаков сказал: «Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удается все-таки напечатать?»

Позднее я узнал, что до этого рассказа Гроссман написал повесть «Глюкауф». Этим немецким словом, которое приблизительно переводится так: «Со счастливым подъемом», наши шахтеры встречали поднявшихся на землю из ее глубины своих сотоварищей. Гроссман по окончании химического факультета московского университета работал химиком-аналитиком на шахте «Смолянка-2» (он с гордостью говорил, что это самая глубокая, самая жаркая угольная шахта в нашей стране) и в своей повести, по-моему, превосходной, описал тяжелую жизнь донбасских шахтеров — забойщиков, крепильщиков, коногонов, — полную опасностей при плохой системе охраны труда, и такое описание вызвало недовольство Горького, которому Гроссман через посредство одной своей высокопартийной родственницы (впоследствии репрессированной) отправил свою рукопись. Горький ответил:

«Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже „позиция“, но и материал, и автор выиграли бы, если бы автор поставил перед собою вопрос: „Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?“»

Не странно ли, что Горький, обладавший крупным дарованием, а художественный дар всегда рождается от правды, мог предполагать, что правд имеется несколько. А ведь когда-то, осуждаемый Лениным, сам искал Бога — единственную правду...

На западе уже шла война, а в Москве стоял мирный светлый день, когда Гехт нас познакомил. И мы вчетвером (Гроссман был с женой Ольгой Михайловной) направились в летнее кафе-мороженое на Тверском бульваре, сели за столик. Я к тому времени прочел первую часть недавно вышедшего романа Гроссмана «Степан Кольчугин» и сказал, что роман отлично написан, но мне кажется непродуманным образ старого большевика Бахмутского — он скорее похож на старого меньшевика, и вряд ли во второй части судьба Бахмутского сложится благополучно, если автор будет правдив. Гроссман свернул пальцы рук, бинокликом приставил их к своим очкам, посмотрел на меня, а губы его улыбались. Он часто делал такой жест — биноклик из пальцев, если ему казалось, что собеседник что-то угадал. Кстати, не случайно вторая часть «Степана Кольчугина» так и не была написана.

Я подумал, что Ольгу Михайловну, большеглазую статную блондинку малороссийского типа, я где-то уже встречал. Впоследствии Гроссман рассказал мне историю

своей женитьбы. Ольга Михайловна была женой писателя-перевальца Бориса Андреевича Губера (потомка поэта пушкинской поры Эдуарда Губера, переводчика «Фауста»)

Здесь я должен прервать рассказ, чтобы остановиться на перевальцах. Главой «Перевала», как известно, был А. К. Воронский, тот самый, которому Ленин после окончания гражданской войны поручил «собирать» новую советскую литературу. Не буду касаться программы «Перевала», я ее плохо знаю, вернее, никогда толком не знал, скажу только, как воспринимались перевальцы пишущей молодежью, мной и моими друзьями. Прежде всего — как порядочные люди, в отличие от рапповских разбойников: Авербах был той же самой породы, что и Софронов. А перевальцы хотели истинной, не прикладной, литературы, а главное, противопоставляли рапповскому национальному нигилизму искреннюю, бескарьерную любовь к России. Напомню, что это было в годы, когда само слово «Русь» считалось чем-то нелепым, глупо и даже враждебно старомодным. Рапповская критика с площадным визгом высмеивала строки Николая Зарудина (между прочим, как и Пильняк — немца): «Хорошо это счастье — поплакать над могилкой русской души». Костяк «Перевала» составляли, помимо Воронского, Иван Катаев, Николай Зарудин, Ефим Вихрев (автор первой работы о Палехе), Абрам Лежнев. К ним примыкал Пильняк. Был среди них и Петр Павленко. Считается, что он их погубил. Но, конечно, он был только орудием, перевальцы были обречены. Я был с ними немного знаком (ближе всех — с А. З. Лежневым и Борисом Пильняком), потому что в Москве писателей было мало, не то что нынешнее многотысячное поголовье, и все печатавшиеся в толстых журналах близко ли, далеко ли знали друг друга, начинающие и известные.

Когда «Перевал» был разогнан, но еще не репрессирован, я однажды встретил на узкой лестнице Гослитиздата на Большом Черкасском А. К. Воронского, спросил его о здоровье, об А. З. Лежневе. «Разойдись, иудеи, по своим шатрам», — ответил мне своим семинарским голосом бурсак-большевик и удалился в ту комнату, где работал одним из рядовых редакторов. Это, кажется, было за год до его ареста. А был он еще не стар, крепкий, красиво седеющий.

Гроссман, приехавший в Москву из Донбасса после развода со своей первой женой, был радостно встречен перевальцами, подружился с ними. Я думаю, что в дебютном рассказе Гроссмана их привлекал образ Вавиловой, написанный без ангажированного романтизма тех лет. Вавилова,

комиссар Красной Армии, лежит в бердичевской хате беременная. Идет гражданская война, а комиссар — беременная. Это должно было понравиться перевальцам. Так еще никто не писал о девушках в походной шинели.

И вот Гроссман влюбился в Ольгу Михайловну. Настал 1937 год. Бориса Губера, в числе других перевальцев, арестовали. Вскоре взяли и Ольгу Михайловну. На попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны. Гроссман мне рассказывал: «Ты не представляешь себе, какова жизнь мужчины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована». И тут он совершил один из тех поступков, которые делали Гроссмана — Гроссманом. Он написал всесильному железному наркому НКВД Ежову письмо, в котором сообщал, что Ольга Михайловна — его жена, а не Губера, и поэтому не подлежит аресту. Казалось бы, это само собой разумеется, но в 1937 году только очень храбрый человек осмелился бы написать такое письмо главному палачу государства. И, к счастью, письмо неожиданно подействовало: просидев около года в женской тюрьме (она помещалась в переулке за теперешним зданием американского посольства), Ольга Михайловна была выпущена на свободу. К слову сказать: Ольга Михайловна говорила, что по тюрьме пошел слух, будто бы там в это время сидела Мария Спиридонова.

Когда мы с Гроссманом познакомились, я чувствовал, что он счастлив. Литературный успех, особенно осязаемый после полунищенской, одинокой жизни донбасского инженера (первая жена и дочь Катя жили отдельно в Киеве), новые умные, интересные друзья, красивая жена. «Меня поразило: какие красивые жены у писателей», — говорил он мне, когда мы сблизились и когда он вспоминал о своих первых шагах в литературе. Он был высокого роста, курчавый; когда он смеялся, а смеялся он в те дни часто, не то что потом, на щеках у него появлялись ямочки. Необыкновенными были его глаза — близорукие, одновременно пытливые, допрашивающие, исследующие и добрые: редкое сочетание. Женщинам он нравился. От него веяло здоровьем. Тогда я еще не знал, что он боялся переходить московские площади и широкие мостовые: общая болезнь с другим моим великим другом — Анной Ахматовой.

В кафе-мороженом Гехт предложил мне кое-что прочитать. Я прочел два или три стихотворения. Гехт и Ольга Михайловна выслушали их равнодушно, а Гроссман сказал: «Хлебопек» — и пояснил: в девятнадцатом веке поэты были хлебопеками, в двадцатом стали ювелирами. Через много

лет он высказал мысль о хлебопеках и ювелирах в последней своей книге «Добро вам», о которой я кое-что расскажу.

После первой последовали другие встречи то у него в коммуналке на улице Герцена против Консерватории, то у Гехта, то у Фраермана, куда приходили также Паустовский, Осип Черный, иногда Гайдар. Гроссмана и меня потянуло друг к другу. Наши встречи прервала война. На пятый ее день я был мобилизован и вместе с Александром Кроном и Леонидом Соловьевым (автором «Возмутителя спокойствия») был направлен в Кронштадт, а Гроссман стал сотрудником «Красной звезды» и отправился на передовую. Мы свиделись только в октябре 1942 года в Сталинграде, где базировалась наша Волжская военная флотилия, — вернее, на левом берегу Волги против Сталинграда. Свиделись мы не случайно. Он знал, что я близко от него. К тому же он захотел побеседовать с моряками. Он был худ, небрит, в грязной шинели, испытующие, исследующие его глаза блестящие одушевлением. Мы выпили водки в каюте, которую я делил с начальником БЧ-5 (машинное отделение), потом сошли на берег, чтобы поговорить по душам, без посторонних. Я к тому дню был на сталинградском фронте всего лишь две недели, а он успел уже пройти через все круги августовского и сентябрьского ада, уже был опален тем сталинградским пожаром, который он впоследствии так мощно описал в романе «За правое дело». Между прочим, я ему сказал, что у нас каптеркой ведаёт мичман, украинец по фамилии Шульц, он всем нужен, на берегу моряки кричат: «Шульц! Шульц!» и это испугало приехавшего из Москвы важного политработника. Тот со страху решил, что немцы высадились на наш берег. Есть у нас, добавил я, еще один моряк с громкой немецкой фамилией, командир бронетанкера старшина Каутский, но он еврей. Гроссман усмехнулся, потом сказал с укором: «Анекдоты, анекдоты, а люди гибнут. И какие прекрасные люди. Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы. Вы согласны со мной?»

Я ответил, что в военных делах разбираюсь плохо, на все воля Божья. Гроссман не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года. Я не помню дальнейших его рассуждений, но приблизительно он говорил то, что написал в романе «За правое дело»: «Партия, ее Цека,

комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии».

Я проводил его до Средней Ахтубы, где он должен был сесть в машину. Длинный путь мы прошли почти молча, холодно расстались, недовольные друг другом.

В Сталинграде мы больше не встречались. Я не помню, когда он оттуда уехал. Хорошо только знаю, что нашего вступления в город он не видел. Я ему рассказывал, как в победную ночь на 3 февраля мы, моряки, шли по льду Волги с хлебом и водкой для жителей, с гармошками, с многоцветными ракетами.

Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в «Красной звезде», самой читаемой газете военных лет, сделали его имя широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк «Направление главного удара», в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым «можно было оглушить человечество», горел огонь, которым «можно было сжечь и уничтожить государство». Сталин приказал «Правде» перепечатать очерк из «Красной звезды», несмотря на то, что не любил Гроссмана. Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул «Степана Кольчугина» из списка произведений, представленных на соискание Сталинской премии, единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским. Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет страны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: «Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским».

«Направление главного удара» привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что «героизм сделался будничной, каждодневной привычкой». «Вы теперь можете получить все, что попросите», — сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил.

Известность его упрочила повесть «Народ бессмертен», первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже после опубликования за рубежом повести «Все течет» и романа «Жизнь и судьба» эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула.

Летом 1943 года меня вызвал в Москву Военмориздат, который выпускал отдельной книжкой мой очерк боевых действий канонерской лодки «Усыскин». Я должен был кое-что исправить, учесть, как водится, замечания редактора. Не скрою, что я обрадовался вызову, возможности поехать в Москву.

Оказалось, что в столице находятся Гроссман и Платонов: они приехали с передовой на какое-то совещание военных корреспондентов. Где мы встретились — не помню, может быть, в Доме литераторов, в восьмой комнате которого кормили сносными, а для военного времени весьма сытными обедами писателей-фронтовиков, вызванных по тому или иному делу в Москву. Были среди них и такие, которые фронта не нюхали, их называли земгусарами.

Мы с Гроссманом крепко обнялись, холод сталинградской встречи был забыт. Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: «Моряк красивый сам собою». Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в «Красной звезде».

Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. «Сульфидинов, — сказал Платонов, — забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу».

Мы условились вечером встретиться у Платонова, поскольку семья Платонова в эвакуацию не выезжала и, значит, у него был какой-то домашний уют. Решили, что каждый постарается достать выпивку.

Теперь о Платонове пишут, что он чуть ли не работал одно время дворником. Это вздор. У Платонова была в Доме Герцена отдельная (тогда большая редкость) квартира из двух светлых смежных комнат, семья его не голодала, хотя каждая копейка была на счету. Платонова преследовали с первого дня его вступления в литературу. На полях «бедняцкой хроники» «Впрок» Сталин написал одно слово, кажется, «сволочь», и с тех пор пошла писать губерния.

Фадеев, редактор «Красной нови», в которой «Впрок» был опубликован, обрушился на Платонова со статьей о

вылазке классового врага. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клеветы. Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича. Что же касается Фадеева, то он в этом, как и во многих других, случае был неискренен. Он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову, но он всегда с варфоломеевским иступлением выполнял указания Сталина.

Несмотря на страшный отзыв вождя, Платонова не тронули. Но все, что он публиковал, всегда подвергалось такой губительной критике, что все думали: судьба его предрешена. Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок. Но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызывали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались.

В те годы значение литературной среды было большим, чем сейчас (да и есть ли эта среда сейчас?), ее мнения соперничали с государственными, были достаточно влиятельны, и существовали писатели, которые произносили имя Платонова уважительно, нередко с восхищением. Журнал «Литературный критик» вдруг, отступая от своего профиля, опубликовал рассказы Платонова, вызвав гнев литературного и нелитературного начальства. В этом журнале, где главенствовали политэмигрант, венгерский философ-марксист Георг Лукач, и другой марксист, Михаил Лившиц, охотно помещались критические статьи Платонова, подписанные псевдонимом Человеков. Может быть, псевдоним этот не случаен: Платонов говорил, что хотел бы написать роман «Путешествие в глубь человека» — название пародировало популярные книги вроде «Путешествие в глубь Африки» и т. п.

Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением, например, у него была прекрасная статья об Ахматовой. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в «Войне и мире» Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодёжи, хвалил рассказы Бокова.

Вспоминается замечание Платонова по поводу одного места в поэме Пастернака «Высокая болезнь». Пастернак пишет, что вокзал в годы военного коммунизма

...спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.

Платонов говорил: «Писатель, забываясь о читателе, сравнивает неизвестное либо с малоизвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот: вокзал, хорошо знакомый миллионам людей, уподобляется консерватории в пору каникул. А многие ли видели консерваторию в эту пору?»

Я возразил: Пастернак смотрит на опустевшую консерваторию глазами человека, хорошо знакомого с консерваторским бытом. Платонов не принял моего возражения.

Я прочел ему стихотворение Волошина «Дом поэта». Оно ему понравилось, он задумчиво повторил: «При жизни быть не книгой, а тетрадкой». Он, когда ему читали, не высказывался, а несколько раз повторял понравившееся ему выражение, и оно в его устах приобретало особый, значительный смысл. Так, он повторил одну строку из моих стихов «Затоптать свои следы», и я понял, что он придал этой строке, как и строке Волошина, смысл, выстраданный собственной жизнью.

Когда Гроссман читал нам главы из романа «За правое дело», Платонов тоже не высказывался, а повторял после чтения запавшие ему в душу выражения, например: «Отставить матерки!» или «Хана — и перестал существовать», — это относится к фразе о водителе: «Возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал «Хана» — и перестал существовать».

При мне Платонов читал две свои вещи: чудесную «Джан», где с библейской простотой и живописностью рассказал о маленьком племени («джан» по-персидски — «душа»), кочующем в советские годы в пустыне, и рассказ о солдате, вернувшемся к жене, которая ему изменила, пока он воевал. И читая, Платонов в смешных местах смеялся первым.

Я не помню каких-нибудь пространных высказываний Платонова, обычно он как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы. И это хмыканье, бормотанье, поджиманье губ казалось мне значительнее и умнее многих слов. Но он умел кратко и красочно определить самую суть дела.

Об одной литературной дискуссии он сказал: «Совокупление слепых в крапиве». В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и Гроссману, и мне удалось

достать водку по талонам) и мы выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтového пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: «Садист на закуску». Как-то уже после войны мы зашли к Платонову, и Гроссман, поддразнивая его, сказал: «Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают», а Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих».

Во время этой встречи заговорили о том, что в печати мощным потоком движутся на нас произведения, лишенные не только таланта, но и профессионального умения. Платонов сказал: «В литературу попер читатель».

В моей памяти осталось только одно распространенное предложение Платонова, касающееся вопросов литературы. Он говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, и оно часто вызывает гнев, если высказано до срока, — власти терпеть не могут забегальщиков.

Запомнилась мне и такая черта Платонова: его не удивляло самое сногшибательное, порой нелепейшее сообщение, касалось ли оно политических событий или литературных. В ответ на такое сообщение он всегда спокойно проносил одну и ту же фразу: «Свободная вещь».

К Платоновым был вхож необычный гость — Шолохов. Видимо, он понимал значение Андрея Платоновича, порой заступался за него, добывал для него литературную работу. Очень гордилась таким знакомством Марья Александровна, жена Платонова, красивая, «холодная и злая», если употребить выражение Андрея Белого. Многие в ее характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну ее преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей, незаслуженно, по ее мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить.

Среди литераторов нашего круга никто не знал Шолохова, и Гроссман спрашивал: «Ну, скажи, какой он? Умный?» Но Платонов в ответ бормотал что-то невыразительное.

Гроссман всегда живо интересовался Шолоховым — автором первоклассного, по его мнению, романа «Тихий Дон» и весьма посредственной «Поднятой целины». Низкопробными он считал различные его выступления. У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин. Я должен был описать в газете церемонию

вручения наград тяжелораненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-морском госпитале. Оказалось, что в Камышине в большом, видимо, бывшем купеческом доме живет с семьей полковник Шолохов, живет безвыездно, как сообщили жителям города.

После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашен Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, что им скажет любимый русский писатель. Шолохов среди напряженного молчания произнес тост: «Выпьем за Советскую Украину». И больше ни слова. Гроссман очень удивился. «Вы слышали?» — переспрашивал он, потом сказал: «Человек-загадка». А Платонов пробормотал: «Слова из сердца выходят редко, из головы чаще».

Они любили друг друга — известный в ту военную пору, признанный государством член правления Союза писателей Гроссман и гонимый Платонов, чье имя долго ничего не говорило широкой массе читателей. У них было много общих черт, но чувствовалось и различие в каждой из черт. Оба ненавидели и презирали лакейскую литературу, и даже у писателей, считавшихся приличными, даже у тех, с кем приятельствовали, терпеть не могли полуправду, позерство, пустословие, выверты.

Но Гроссман не только в своих писаниях, но и в своих вкусах, относилось ли это к литературе, живописи или музыке, был более привержен традиции, русской и западноевропейской классике девятнадцатого и начала двадцатого века, а Платонов в своих суждениях был независимей. Оба чувствовали влечение к простым людям, к рабочим, крестьянам, но у Гроссмана это шло от социал-демократических воззрений его юности, может быть, внушено ему отцом, Семеном Осиповичем, в прошлом меньшевиком, а у Платонова — от преклонения перед простейшими проявлениями жизни в природе, в человеческом обществе.

Помню, с каким ликованием говорил Платонов о своей работе машиниста: «Паровоз в исправности, и ты летишь, тебе навстречу земля и небо, и ты хозяин всего простора мира». Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней мере, до определенного времени считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федорова. Я как-то рассказал обоим сюжет из индийской «Махабхараты».

Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистоты загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: «Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

Гроссман сказал: «Интересно». А Платонов медленно повторил: «Нет на земле ничего чистого и нечистого».

Длинное это сопоставление я заключаю тем, что оба охотно выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Он мог выпивать и с грязным черносотенцем. Гроссмана это возмущало, он был требователен к себе и властно требователен к друзьям, кричал на Платонова, но при этом, как всегда, смотрел на Платонова влюбленными глазами. И такими же глазами смотрел Платонов на Гроссмана.

После войны мы иногда втроем сживали на Тверском бульваре против окон Платонова. Любимым занятием было сочинять истории о том или ином заинтересовавшем нас прохожем. Я это делал бледно, не обо мне речь, а Гроссман и Платонов в этой забаве проявляли каждый свои свойства. Изустный рассказ Гроссмана изобиловал подробностями, если он считал, что прохожий — бухгалтер, то уточнял: на кондитерской фабрике, если — рабочий, то мастер на электрозаводе. Далее шли портреты жены, детей, старого пьяницы-отца, можайского мужика, много юмора и печали. Не то — рассказы Платонова. Они были бессюжетны, в них рисовалась внутренняя жизнь человека, необычная и в то же время простая, как жизнь растения.

Вот так мы сидели как-то в жестокую пору борьбы с космополитизмом на все той же скамейке. Гроссман пошел на угол к табачному киоску, и в это время к нам приблизился шаркающей походкой профессор-стихолоб, милейший старик Иван Никанорович Розанов, и сказал, широко улыбаясь, показывая длинные редкие зубы: «Чувствуете, как воздух очистился, чесноком стало меньше пахнуть», — и удалился, опираясь на палку. Видимо, он по старости забыл о моем происхождении. Когда Гроссман вернулся с папиросами, я рассказал о происшествии. Гроссман сначала опешил: «Такой чудный старик», потом набросился на меня и на Платонова, кричал, как это мы не нашли ответа на противные слова, покорно их выслушали, матерился. Платонов вя-

ло говорил: «Брось, Вася», но был смущен. В «Жизни и судьбе» фразу Розанова произносит старик-педагог.

Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына — в каком-то безумии целовал его в губы), Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюче-светящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель.

Смерть Платонова потрясла Гроссмана. При этом, как он мне писал, выехав после похорон за город, он еще измучился «из-за похорон и хлопот, которых никто из писателей в Союзе пис[ателей] не взялся делать».

Я помню проникновенную речь, которую Гроссман произнес над гробом друга в присутствии немногих пришедших почтить память покойного в Союз писателей (а наша кучка еще больше поредела, когда мы хоронили Платонова на маленьком чистом армянском кладбище напротив Ваганьковского). Речь Гроссмана содержала в себе насыщенную умом и болью характеристику драгоценного писателя, умершего недооцененным, почти в безвестности. Напечатать эту речь долго не удавалось, не желали. В январе 1960 года Гроссман мне писал:

«Предложили мне из Радиокomiteта выступить по радио об Андрее Платонове. Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли что-нибудь. Может быть, в жанре акына мне больше повезет».

Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел — это было первое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в «Литературной России». Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: «А. Платонов — писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых основах человеческого бытия». Поразительная по своей глубине и изящной, математической краткости формула! Гроссман иначе вел свой поиск, чем Платонов, но оба искали одного и того же, и не случайно Гроссман сказал о своем друге, что Платонов «не стал бы писать, если б неутомимо, иступленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке».

До конца своей жизни Гроссман не переставал вспоминать Платонова, перечитывать его. В одном из поздних своих писем он мне писал:

«Читаю рассказы Платонова. Большущая сила в них — „Такыр“, „Третий сын“, „Фро“. Словно в пустыне слышишь

голос друга — и радостно и горько. Человек написал книгу, а это не шутка».

В 1943 году Гроссман приступил к роману «За правое дело». Помню, что Гроссман мне об этом сказал после пережитой им трагедии. Его семья жила в эвакуации в Чистополе, и старшего пасынка Мишу взяли в чистопольский военкомат на допризывное обучение. Во дворе военкомата взорвалась бомба, и Миша погиб. Ему еще не было шестнадцати лет. Ольга Михайловна мне рассказывала, что могилу копал их чистопольский сосед Борис Пастернак, делал это очень умело, с его помощью в татарском городе нашли священника, похоронили мальчика по православному обряду. Горе Ольги Михайловны живет на страницах «Жизни и судьбы» — там, где жена Штрума Людмила Николаевна (Ольга Михайловна вообще ее прототип) приезжает в Саратов на могилу сына, умершего после тяжелого ранения в госпитале.

Гроссман построил «За правое дело» так, как военачальник строит свои войска. Мы видим быстрые переброски героев, молниеносные концентрации отдельных фабул, маневры и подвижность сюжетных линий, словесные контрудары и прорывы флангов, скорости моторизованного оружия фраз и картин. Не случайно некоторые знакомые мне молодые прозаики, а их можно назвать авангардистами, — очарованы конструкцией обоих романов, с которыми познакомились после выхода на Западе «Жизни и судьбы».

Автор не только не скрывает, но нарочито подчеркивает сходство плана книги «За правое дело» с планом «Войны и мира». У Толстого в центре романа — семья Ростовых, у Гроссмана — семья Шапошниковых. У Толстого «за автора» говорит и размышляет Пьер Безухов, у Гроссмана — Штрум. И если семья Ростовых биографически близка Толстому, то сестры Шапошниковы — это Ольга Михайловна и ее сестры. И от толстовской мысли о дубине народной войны происходит мысль Гроссмана о том, что в роковые часы гибели Сталинграда — «в крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее... Неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека».

Параллель с планом «Войны и мира» была откровенным приемом и приемом осталась. Степени сравнения с «Войной и миром» достигает не «За правое дело», а «Жизнь и судьба» — вершина творчества Гроссмана. Но и «За правое дело» — один из самых значительных романов советского периода русской литературы.

Еще до выхода «Жизни и судьбы» отдельным изда-

нием читатель зарубежного журнала «Время и мы» мог познакомиться с главой из романа. Глава выбрана важная, сильная; предварительная статья Е. Эткинда — умная, дельная, я бы сказал — отличная. Будущие читатели будут благодарны С. Маркишу (сыну поэта) и Е. Эткинду за ту огромную, трудную работу, которую они проделали, опубликовав роман полностью. Заслуживает похвалы и предисловие Е. Эткинда к отдельному изданию, но в предпосланной роману безымянной заметке «От издательства» есть одно место, с которым никак нельзя согласиться. Автор заметки, полагая, что до «Жизни и судьбы» Гроссман был обычным, благополучным советским писателем, считает, что «За правое дело» ничуть не лучше «Белой березы» Бубеннова. Он пишет: «„За правое дело“ — обыкновенный роман сталинской эпохи — в одном ряду с „Белой березой“ Бубеннова и симоновскими „Днями и ночами“».

Против этого я должен, я обязан резко и доказательно возразить.

Прежде всего, Гроссман не был благополучным советским писателем. В литературе он понадобился на краткое время для войны — так же, как для нее понадобились все умные, храбрые и умелые солдаты и офицеры. Надо отдать должное и писателям — не случайно среди них так много павших на полях войны. Но из тех литераторов, кто до войны вовсю трубил о героизме, о своей боевой готовности сражаться за Родину, одни, оказавшись на фронте, заболели медвежьей болезнью (буквально), другие сдавали свою мочу на анализ, чтобы не попасть в армию, третьи, надев военную форму, ловко отсиживались в тылу, а скромный, близорукий Гроссман, а гонимый Платонов с талантом и бесстрашием несли свою воинскую службу. Да, был жизненный взлет, но еще шла война, когда очерк Гроссмана «Украина без евреев» вызвал злобу начальства и был с большим трудом напечатан во второстепенном издании. А разгром вскоре после войны пьесы «Если верить пифагорейцам»? А мучительный, страшный, долгий путь романа «За правое дело», когда мы с Василием Семеновичем затаились у меня на даче в Ильинском и каждый ночной порыв ветра, стук ставен, шаги в безлюдной улице пугали: «Они пришли». Да и само «За правое дело» с его реалистическими портретами простых людей, крестьян, рабочих, измученных женщин, с горькой правдой советской обывденной жизни, с гениальным описанием Гитлера, и пожара в Сталинграде, и гибели батальона Филяшкина, и встречи майора Березкина с женой, — нет, это не обыкновенный роман. Как можно было его уподобить

плоским, ныне забытым «Дням и ночам» или «Белой березе»? И разве на обыкновенный советский роман обрушился бы столь тяжелый удар, который чуть не уничтожил и «За правое дело», и самого автора?

Надо сказать: если героям романа, написанным творящим пером, суждена долгая жизнь, то рассуждения автора примут не все читатели. «За правое дело» писалось в пору перелома Отечественной войны, когда, после того как немцы водрузили флаг со свастикой на Эльбрусе, Красная Армия погнала их назад, освобождая русские, белорусские, украинские села и города. Гроссман-художник решил ответить на вопрос: как мог произойти такой перелом в ходе войны? И отвечал: побеждали люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России. К тому же топор, занесенный противником над нами, «был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине». По разумению Гроссмана, верховное командование знало об «уже реально существующем превосходстве советской силы над немецким насилием».

С такими мыслями Гроссман начал писать свой роман. Подчеркивая разум верховного командования, он тогда не думал о том, что нас ведет другой, истинно Верховный Разум.

Как-то в пятидесятых годах, незадолго до венгерских событий, мы, пообедав в шашлычной в парке Горького и слегка захмелев, заспорили о прошедшей войне. Спор разгорался, мы, как безумные, бегали по аллеям парка и кричали каждый свое, наконец, сели в изнеможении на скамью, но спор продолжали и опомнились только тогда, когда увидели рядом сидящего и прислушивающегося к нам человека. Опомнились и испугались. Среди героев военных очерков Гроссмана был полковник (впоследствии маршал бронетанковых войск) Бабаджанян, с которым Гроссман поддерживал знакомство, начатое на войне. Я его не знал, но во время нашего спора высказал некоторые предположения о том, как он и такие, как он, повели бы себя в чрезвычайных обстоятельствах. И вот вскоре после нашего сумасшедшего спора Гроссман узнал, что Бабаджанян участвовал в подавлении венгерского восстания. Гроссман мне позвонил, предложил: «Давай выйдем» (мы уже были соседями по Беговой) и, ничего не объясняя, сказал в трубку: «Дьявол, ты как в воду смотрел».

Вернусь к книге «За правое дело».

Уже с первых страниц романа советский читатель узнает то, о чем ему не сообщали государственные писатели. Старый крестьянин Пухов убежден, что на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое. Нынешнюю жизнь он считает хуже прежней, при царе, — и заключает: «Только бы не колхозы». С сочувствием, невысказанным для других советских писателей сталинского времени, говорит Гроссман о репрессированных «врагах народа» — о сыне старухи Шапошниковой Дмитриии и об Абарчуке, о работавших на стройке, рядом с комсомольцами, раскулаченных, «а мороз для всех один». И были «овраги, пыль, бараки, проволока». Так другие советские писатели стройку не изображали, разве что намекал Малышкин. О стройке пел Маяковский: «Я знаю, город будет», но в пасторали агитатора и главаря нет репрессированных, нет проволоки. В блиндаже, под грохот разрывов, гул дальноточных пушек, цоканье зениток спрашивает начальник отдела кадров подполковника Даренского — где его жена, а Даренский ничего не знает о жене, он до войны сидел.

Я мог бы привести еще десятки, сотни подобных мест, но суть, в конце концов, не в них, суть в том, что «За правое дело» всей лексикой своей, всей музыкой, всей живописью, всем пристальным вниманием к таким подробностям быта, человеческих отношений, на которые сознательно закрывала глаза чиновничья литература, всем способом рассуждать (а рассуждения сверх положенного, даже в марксистском духе, не поощрялись, раздражали), наконец, всем своеобразием, всей неуправляемостью истинного таланта было чуждо социалистическому реализму. А ведь иногда читаешь произведения, написанные с позиций несоветских, но не только их словесная оболочка — самый состав их так и прыщет социалистическим реализмом.

Хочу остановиться на одном персонаже романа. Среди неудач романа «За правое дело» я назвал бы фигуру старого большевика Мостовского. Правда, в «Жизни и судьбе», при встрече в немецком концлагере с одноглазым меньшевиком (кстати, отец Гроссмана — Семен Осипович — был одноглазым), Мостовской обретает плоть и кровь, но в романе «За правое дело» высказывания его кажутся мне пресными, оптимизм — казенным. Но и тут дело не так просто. Сталин преследовал старых большевиков, уничтожил их Общество, выгнал их из жилищ на улице Стопани, многих расстрелял или замучил на каторге, и Гроссман, рисуя Мостовского как идейного, образованного большевика дореволюционной закалки, бросает вызов Сталину. Заметим, однако, что зор-

кость Гроссману не изменила. Мостовской, который, решив остаться в занятом немцами Сталинграде, хвалится своим прежним опытом конспирации, сразу же, ничего не успев сделать, попадает в плен к немцам. Война перечеркивает весь большевистский опыт Мостовского.

Гроссман часто и сознательно прибегает к тому, что Тургенев, говоря о Достоевском, называл «обратным общим местом». Так произошло с Мостовским, так произошло и с няней детского сада Соколовой, на которую заведено дело, она пьет, но именно она, пьяница, своей любовью выходила мальчика Гришу Серпокрыла, мозг которого помутился после того, как погибли при воздушном налете его отец и мать. И как ни ортодоксален Крымов, нас, читателей, что-то в нем тревожит, и на протяжении всего большого романа нас не покидает тяжелое предчувствие.

И случилось неминуемое: роман (он сначала назывался «Сталинград») был отвергнут «Новым миром» — редактором Симоновым и его заместителем Кривицким. Больше года они молчали. Гроссман нервничал, серьезная, столь важная для него работа будто в пропасть канула. И вот наконец ответ: печатать не будем, нельзя. Но не успел Симонов вернуть роман автору, как сменилась редколлегия журнала: редактором был назначен Твардовский, его заместителем — критик Тарасенков. Первым прочел роман Тарасенков — и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский — и разделил мнение своего заместителя. Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать. Опомнившись, Твардовский выставил три серьезных возражения.

1. Слишком реально, мрачно показаны трудности жизни населения в условиях войны — да и сама война.

2. Мало о Сталине.

3. Еврейская тема: один из главных героев, физик Штрум — еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, — еврейка. «Ну сделай своего Штрума начальником военторга», — советовал Твардовский. «А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?» — сердито спросил Гроссман.

К обязанностям редактора романа Твардовский отнесся с любовью и ответственностью. На полях машинописи он сделал немало полезных заметок. Между прочим, он заметил следующее. У Гроссмана Крымов назывался раньше Крыловым, а в романе действует другой Крылов, истори-

ческое лицо, генерал, начальник штаба 62-й армии, и Твардовский посоветовал назвать этот персонаж Крымовым: замена всего лишь одной буквы в фамилии облегчает правку.

Несмотря на свои возражения, уверенный в том, что автор согласится внести исправления, Твардовский страстно хотел роман напечатать. Он действовал обдуманно, искал поддержки. Твардовский отправил роман члену редколлегии «Нового мира» Шолохову, надеясь, что великого писателя земли советской не могут не привлечь художественные достоинства романа и Шолохов, если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.

Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая: «Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?» Дикое, департаментское отношение к литературе.

Но Твардовский держался молодцом, был непоколебим, упорен. Он обратился за помощью к Фадееву, возглавлявшему Союз писателей. Такая помощь была необходима, потому что у романа были влиятельные противники на разных уровнях государства. Фадеев прочел роман очень быстро — и согласился с Твардовским: надо печатать. Седоголовый член ЦК приехал к Гроссману вечером, засиделся до глубокой ночи, говорил ему с любовью: «Какой вы нахал», т.е. восхищался художественной дерзостью писателя.

Машинопись размножили, дали прочесть членам секретариата Союза писателей. Заседание вел Фадеев. Гроссман был приглашен. Все высказывались положительно, за исключением, кажется, одного из секретарей, кого, точно не помню. Решили:

1. Рекомендовать «Новому миру» роман печатать.

2. Название романа «Сталинград» изменить, чтобы не получилось, что право писать о величайшей битве берет на себя писатель единолично (в эпоху борьбы с космополитизмом подтекст был ясен).

3. Штрум несколько отодвигается на задний план, у Штрума должен быть учитель, гораздо более крупный физик, русский по национальности.

4. Гроссман пишет главу о Сталине.

Все эти предложения — и другие, менее значительные — Гроссман принял, иного выхода у него не было. Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что

надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: «А сколько ты напереводил стихов о вожде?» Я привел поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». Гроссман ответил мне словами из армянского анекдота: «Учи сэбе».

Против романа, тайно и явно, выступали все грязные и грозные силы — литературные и сверхлитературные, но Фадеев и Твардовский не сдавались, и Гроссман, разумеется, видя в них своих покровителей, шел им навстречу. Написал главку о Сталине, стараясь изобразить его с человеческим лицом, без общепринятых космогонических сравнений, ввел в роман новый персонаж — видного ученого Чепыжина, учителя Штрума.

Раньше относившийся к Гроссману холодно, подозрительно, быть может, враждебно, Фадеев несколько раз встречался с ним у него на квартире, он понимал значение романа для русской литературы. При мне зашел разговор о заглавии. «Сталинград», как я уже упоминал, не годился. В то время официальная критика высоко отзывалась о произведении Поповкина «Семья Рубанюк». Это словосочетание почему-то сместило Гроссмана, и он с досадой предложил: «Назову роман „Семья Рубанюк“». Фадеев звонко, с детской веселостью расхохотался: «Да, да, „Семья Рубанюк“, что-нибудь в таком роде». Было решено во время этой беседы назвать роман «За правое дело» (выражение из речи Молотова, произнесенной в первый день войны), не помню, чье это предложение — Фадеева или самого Гроссмана.

Неожиданное хорошее отношение Фадеева к роману, как и потом его предательство, нетрудно объяснить. Фадеев любил русскую литературу всем сердцем (а оно у него было), терпеть не мог хлынувшую на нас пакость, но вынужден был, чтобы оставаться у власти, публично хвалить то, что считал бездарным. Может быть, личность Фадеева, наложившую свой отпечаток на целую литературную эпоху, читатель лучше поймет, если я остановлюсь на одном эпизоде.

Когда кончилась война, моя семья жила в такой немислимой тесноте, что мне пришлось зимой, чтобы иметь место для работы, поселиться с Николаем Чуковским на полупустой даче его отца в Переделкине (дачи в Ильинском у меня еще не было). Дружили мы с вернувшимся из карагандинской ссылки Николаем Заболоцким, нашедшим пристанище неподалеку, часто собирались вместе. К нам иногда приходил по вечерам Фадеев, чтобы прочесть отрывки из «Молодой гвардии», которую он в ту зиму заканчивал, ли-

бо — во время запоя, когда он становился удивительно человечен. Вот однажды он нам говорит: «Что делается в нашей литературе, конец света. Прислали мне из Пятигорска повесть «Кавалер Золотой звезды», кому-то наверху она понравилась. Дорогие мои Коли и Сема, дальше идти некуда, дальше табуретки. Остается кричать: „Спасите наши души“». Потом он читал с чувством, наизусть, строки Пастернака «Синий цвет», куски из «Страшной мести» Гоголя, пел «Выхожу один я на дорогу», хорошо пел.

Проходит некоторое время, и меня приглашают в Союз писателей на заседание президиума, посвященное выдвижению книг на соискание Сталинской премии. Как председатель комиссии по киргизской литературе я должен был доложить президиуму мнение нашей комиссии о книге одного киргизского поэта. Сижу, жду, когда очередь дойдет до меня. Заходит речь о «Кавалере Золотой звезды» Бабаевского. Хвалит. Берет слово Фадеев, тоже хвалит и вдруг, налившись красной, устремляет волчьей синевы глаза на меня и произносит со злостью: «Есть еще у нас чистюли, которые воротят нос от таких повестей». Никто не понимает, почему Фадеев смотрит на меня, ведь моя роль маленькая, специальность узкая, и я, действительно, Бабаевского ни при какой погоде не читал. А Фадеев, видимо, вспомнил, что ругал этого «Кавалера» при мне, рассердился на себя и перенес гнев на меня...

Но вот наконец все преграды сметены, роман Гроссмана печатается в четырех номерах «Нового мира». Редколлегия волновалась, Тарасенков сказал автору: «Я только тогда поверю в нашу победу, когда куплю в киоске номер журнала».

В январе 1950 года Гроссман написал мне в Малеевку:

«В Москве, в „Новом мире“, проходит сейчас третий кусок, верстка, завтра начнут мне раньше срока, чтобы мог в Коктебель поехать, давать гранки последнего, четвертого куска. Разговоров много, пока без шипов, но по закону ботаники будут и они. А ты что слышишь? Ну, что ж! Ты ведь знаешь мое чувство: *главное* свершается. И я, знаешь, по-прежнему остро и, кажется, глубоко чувствую и понимаю это. Ощущение такое, как при напечатании первого рассказа «В городе Бердичеве». А, пожалуй, даже сильнее. Должен сказать тебе, что я пишу понемногу, до чего же графоманы все же упорны».

Впечатление от романа было огромное как в литературной среде, так и в интеллигентных слоях читателей, истосковавшихся по правдивому и поэтическому слову. Не забудем, что роман печатался в годы одичания общества, ког-

да борьба с космополитизмом довершала медленное вырождение литературы и искусства, когда, как выразился смысленный циник, редактор «Литературной газеты» Ермилов, автор убойной статьи в «Правде» о пьесе «Если верить пифагорейцам», — «Маразм крепчал», когда на сцене МХАТа, столь дорогой русской душе, шли — и с успехом! — пьесы Сурова, о котором остроумный Э. Казакевич сложил сонет: «Суровый Суров не любил евреев», — того самого Сурова, которого впоследствии вынуждены были исключить с позором из Союза писателей, так как выяснилось, что даже на бездарные пьесы у него не хватало силенок, их за него писали литературные негры, в том числе и евреи.

Итак, все великолепно. В библиотеках за номерами «Нового мира» длинные очереди, весь тираж журнала мгновенно распродан, в литературных кругах, в печати — восторги. «В колокола ударили и, хотя крестного хода еще не было, хоругви уже поднимают», — сказал Гроссману старый пролетарский писатель Бахметьев. Его фраза, как и другие хвалебные высказывания о романе, отнесена в «Жизни и судьбе» к открытию Штрума в области атомной физики. Формулировки математиков и физиков вроде «классическая работа» или «триумф, настоящий триумф» передают ту атмосферу, которая образовалась вокруг романа «За правое дело». Одна статья о романе была названа «Эпопея народной войны» — в советской печати такое название означает многое.

Уже Военгиз и «Советский писатель» собирались издать роман отдельной книгой, но тут вступили в действие те «законы ботаники», о которых писал мне Гроссман. И какие там шипы — отравленные стрелы и копыя вонзились в роман. И что примечательно: именно Чепыжин, которого Гроссман ввел в свою книгу по настоянию Фадеева, для «нейтрализации» Штрума, — подвергся нападкам партийной критики. Мысли Чепыжина о том, что общество представляет собой опару и что в трудные, черные дни в обществе поднимается снизу все дурное, мысли о том, что добро воплощает в себе вечную энергию — «будь то космическая энергия или духовная энергия народа», — эти мысли показались критике антимарксистскими. Вот особенность таланта как дара Божьего: даже под давлением извне он остается верен истине, он не может ей изменить.

13 февраля 1953 года «Правда» опубликовала двухподвальную статью Бубеннова «О романе В. Гроссмана „За правое дело“». Припадочный автор той самой «Белой березы», с которой безымянное зарубежное предисловие «От

издательства» сравнивает роман Гроссмана, писал, конечно, го, что думал сам, сненаемый завистью и злобой грызуна, но не только собственные соображения излагал он. Отдавая должное знанию войны, проявленному Гроссманом как участником Сталинградской битвы, соглашаясь, что «свежи, правдивы главы, в которых показывается немецко-фашистская армия», одобряя «сцены в госпитале, бомбежки... случайной встречи Березкина со своей женой и дочерью», Бубеннов быстро переходит к главному заданию:

«Эти отдельные удачи не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя Сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе «За правое дело». Нет в нем героев, которые поразили бы воображение читателя богатством и красотой своих чувств... Образы советских людей в романе «За правое дело» обеднены, припущены, обесцвечены. Автор стремится доказать, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди... Но под видом обыкновенных он на первый план вытаскил в своем романе галерею мелких, незначительных людей... В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы — ни в тылу, ни в армии. Огромной теме организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии он посвятил только декларации... Они не подкреплены художественными образами...»

Вот я переписываю пассажи из бубенновской статьи, и меня охватывает то жуткое чувство, которое испытывали люди моего поколения, читая подобное в «Правде» при жизни Сталина. Это пахло тюрьмой, а может быть, смертью. Надо признать, что Бубеннов вместе со своими невидимками-соавторами отчетливо увидел, какую опасность для них представляют собой «обыкновенные», т. е. реальные, люди.

Социалистический реализм не боится декаданса, модернизма, преследует их, ибо должен преследовать, но не боится. Социалистический реализм боится реализма. Так антихрист не боится неверия или язычества, он может их взять в соратники. Антихрист боится Христа.

У Бубеннова в запасе было оружие, хотя и не новое, но испытанное веками, а в советское время пущенное в ход только в последние годы жизни Сталина. Бубеннов пишет о родственниках Шапошниковых — Штрумов: «В качестве близкого человека в этой семье живет еще врач Со-

фья Осиповна Левинтон...» Прервем на минуточку Бубеннова. Софья Левинтон — врач, а в стране задуман процесс врачей-убийц. Бубеннов старается, чтобы читатель понял самую суть: «Семья эта ничем не примечательная и вообще мало интересна как советская семья... А В. Гроссман выдает эту семью за типичную советскую семью, достойную быть в центре эпопеи о Сталинграде».

Действительно, что это за русская семья, хотя имя ее основателя, самарского революционера Шапошникова, носит одна из улиц в городе Куйбышеве, что это за семья, породнившаяся, подружившаяся со Штрумами, Левинтонами, с врагом народа Крымовым, о статье которого изверг рода человеческого Троцкий сказал в свое время: «Мраморно»? Кому Гроссман поручил быть семьей? Разве это не кошунство, что какой-то Штрум «больше всех думает и говорит об исторических событиях»? Каких людей показывает нам Гроссман? Но вернемся к Бубеннову:

«Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не смог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане в романе „За правое дело“... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности... В печати появились статьи, захваливающие роман... Проявилась идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Нетрудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы».

Статья Бубеннова — палаческая, мы, к нашему несчастью, привыкли к палаческим статьям о литературе и искусстве, но тут в палаческом ремесле намечалась какая-то новация, и читатели это поняли. Под «связанностью некоторых литераторов приятельскими отношениями» подразумевался кагал.

Нынешние палачи ловчее, искуснее Бубеннова, и как ужасно, что оборотни превращают великую русскую идею страдающего народа, чью землю Царь Небесный исходил, благословляя, в плаху, на которой обезглавливают как бы во имя России, от имени России русскую красоту, если ее создателями являются Левитан или Мандельштам, Пастернак или Гроссман. Еще много вреда принесут они нашей стране. Одна надежда, что их — кучка и есть у нас люди с умом и сердцем.

В 1970 году Анатолий Бочаров выпустил критико-библиографический очерк «Василий Гроссман». Это хорошая,

благородная по замыслу книга. Уже сам тот факт, что А. Бочаров избрал своей темой творчество Гроссмана, заслуживает уважения и признательности. На одной из последних страниц своей довольно объемистой книги критик пишет: «Усилившаяся в его характере неуступчивость, неуживчивость, прямота подчас оставляли его в тягостном одиночестве».

Критик имеет в виду время после ареста «Жизни и судьбы», когда Гроссман заболел раком. Но характер Гроссмана стал меняться раньше, когда началось уничтожение романа «За правое дело». И не прямота оставляла его в тягостном одиночестве, а те друзья-приятели, которые испугались этой прямоты, покинули его в тяжкую пору. О том, что с ним происходило, Гроссман с печальной точностью рассказывает в «Жизни и судьбе», когда его alter ego Штрум (между прочим, как и он сам, боявшийся переходить площади) оказывается в сходном положении:

«Видимо, началась эпидемия близорукости, знакомые, stalkиваясь с ним нос к носу, проходят в задумчивости мимо, не здороваются... Виктор Павлович вел счет — кто отвернулся, кто кивнул, кто поздоровался с ним за руку... Те, кто звонили каждый день, стали позванивать, а те, кто позванивали, вообще перестали звонить».

Гроссман не знал, что худшее впереди, что его ждет еще более ужасное горе — арест книги, и тогда-то его покинут почти все, а сейчас все-таки кое-кто оставался. Но и среди тех считанных, кто оставался, иные вызывали его раздражение. Ему казалось, что они себялюбивы, холодны, отягощены ничемными заботами и сознательно не хотят понять огромность его беды. Нередко у него были на то основания. Еще в начале своей литературной деятельности Гроссман познакомился с одним критиком, похвалившим его рассказы. Знакомство это растянулось на годы. Критик был человек далекий, в сущности, от литературы, мало знающий, но глубоко порядочный, и он безбоязненно не переставал посещать Гроссмана в описываемое время. Однажды Гроссман стал ему рассказывать, как для него тяжело складываются события, а наш критик возьми и скажи: «У меня тоже неприятности, сдал статью в «Учительскую газету», прошел месяц, а ее все не печатают». Гроссман разгневался, прогнал своего знакомого. Действительно, глупо было сравнивать ничтожную, написанную для заработка статею с романом, на который обрушилась имперская мощь. Критик сделал это не со зла, а по недомыслию, но уж слишком бодела душа Гроссмана, кровавилась его рана.

Не надо, однако, думать, что все это время Гроссман находился в непрестанном унынии. Были друзья, которые оставались друзьями. Гроссман выделял и любил Бориса Ямпольского, Виктора Некрасова, литературоведа Николая Богословского, человека чистого, по-детски верующего. У нас на Беговой образовался тесный кружок соседей: Гроссман, Заболоцкий, Степанов (профессор-филолог), к нам приходил Николай Чуковский (потом Гроссман и я с ним разошлись). Гроссман, чтобы на миг забыть о надвигающейся тьме, решил устроить, как он выразился, «маленький пирок во время чумы». Он предложил, чтобы каждый из нас написал биографию друг друга, воспоминания — шуточные, конечно, «материалы для будущих энциклопедических трудов». Остроумнее всех написал Заболоцкий — как раз о Гроссмане. Заболоцкий рассказывает о том, как они вдвоем с Гроссманом долго гуляют по городу. Спутник поражает его своей наблюдательностью, все-то он видит, все замечает, каждый пустячок, каждый камешек, кто как одет и прочее. Когда они подходят к дому, Заболоцкий говорит: «Вот и кончилось солнечное затмение». — «Как, — удивляется Гроссман, — разве было солнечное затмение?» Развертывалось все это смешнее и ярче, чем в моем пересказе по памяти, и Гроссман от души смеялся. Не знаю, куда делись эти странички.

Почти каждое воскресенье мы проводили в гостях у моей мамы, которая с удовольствием готовила нам традиционный набор еврейских кушаний, до которых Гроссман был большой охотник. С. М. Михоэлс определял это как «гастрономический патриотизм». Гроссман любил мою маму, умел с ней говорить, он вообще умел говорить с каждым человеком, и с крестьянином, и с уборщицей, и со знаменитым физиком, и все, насколько я мог заметить, даже не зная, кто их собеседник, чувствовали в нем человека необыкновенного. Чувствовала это и моя мама, и не только потому, что он известный писатель. Он умел понять ее повседневные заботы, ее горе о дочери, умершей молодой, рассуждал с ней с завидным знанием дела о способах приготовления того или иного блюда, о соседях по коммунальной квартире, запоминая некоторые сообщенные мамой подробности для своей работы.

Посещали мы с ним кафе, рестораны. Запомнился один забавный случай. Впрочем, не такой уж забавный. Мы не могли попасть в знакомые нам «Арагви», «Националь», «Асторию», — происходила какая-то конференция, эти рестораны были закрыты для простых граждан. Решили по-

пытать счастья в «Метрополе», в котором никогда не были. Нас впустили. Все столики были заняты, но за последним, то есть первым от входа, сидел всего лишь один посетитель. Мы попросили разрешения, подсели. Официант довольно быстро принес заказ. Наш сотрапезник был широкоплеч, коренаст, невысокого, видимо, роста, смуглый. Приступили к делу, чокнулись с соседом. Вдруг из глубины зала к нам подошел едок — большой, толстый и не очень пьяный. Он, вертя одним указательным пальцем вокруг другого на уровне своего живота, проговорил: «Пузики-животики-жидочки, пузики-животики-жидочки». Наш сосед поднялся, сделал едва заметное движение рукой, и большой толстяк упал, не только упал, но и немного покатился по ковровой дорожке. Зал настороженно молчал. Упавшему помогли встать. Он удалился, чуть пошатываясь. Мы познакомились с нашим соседом. Оказалось, то был знаменитый в свое время атлет Григорий Новак. Мы ждали вмешательства администрации, но нас никто не потревожил. «Вы нашли единственный правильный аргумент», — сказал Новаку Гроссман.

Между тем опара всходила, снизу в обществе поднималось все дурное. После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые — и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина. Сумасшедшая в свою пользу Мариэтта Шагиня выступила со статьей против романа в «Известиях». Наконец, по роману ударил Фадеев — коротким, но сильным ударом. Твардовский на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале. Печатно отреклась от романа и редколлегия журнала.

Заставляли каяться и Гроссмана. Круг друзей и знакомых все больше редел. Случилось так, что и у меня в это время положение стало неважным, хотя, конечно, не шло ни в какое сравнение с положением Гроссмана. Еще осенью 1949 года на меня завели грязное дело. Вопрос обо мне стоял на секретариате Союза писателей: я, мол, пропагандирую как переводчик и пересказчик байско-феодалные эпосы тюркоязычных народов «Манас» и «Идегей», эпос высланных калмыков «Джангар». За меня заступились Фадеев и Симонов (последний — по ходатайству Гроссмана), дело кончилось выговором, но кончилось ли? Были арестованы мои добрые друзья, еврейские поэты, которых я переводил, — Самуил Галкин и Перец Маркиш. Пассажиры в трамваях, автобусах, электричках, прочитав о врачах-убий-

цах, говорили о том, что еврей-провизоры отпускают такие лекарства, которые заражают людей сифилисом.

Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.

Однажды к нам приехала Ольга Михайловна, очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними — Гроссман мне его пересказал, — я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, «ради жизни на земле» — процитировал он Твардовского. Гроссман отказался. Помню еще мелочь: увидев Гроссмана, Фадеев надул щеки, удивленно показывая, как Гроссман поправился. А все наш наваристый суп.

Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» — «Хочу», — сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».

В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать. Смысл письма: врачи — подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т.д. По словам Гроссмана, особенно противно выступил карикатурист Ефимов, родной брат репрессированного и погибшего журналиста Михаила Кольцова. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей выскопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою

судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся по состоянию повлиять разговор в «Новом мире»? Гроссман возвращался из «Правды» к себе на Беговую пешком — это сравнительно близко, — выпил по дороге полтораста граммов — водку при Сталине женщины в грязных халатах поверх тулупов продавали прямо на улице — и чувствовал себя противно. До конца жизни он казнил себя за этот поступок. Читатель «Жизни и судьбы» вспомнит, что и физик Штрум совершает нечто подобное — и горько раскаивается.

Ссора Гроссмана с Твардовским впоследствии оказалась на тяжкой участи «Жизни и судьбы». О, не надо было им ссориться, не надо было! Гроссман любил Твардовского, и его самого, и его стихи, тем более его раздражали некоторые поступки и высказывания Твардовского. Одно время они крепко дружили, в 1948 году их дружба прервалась, потом помирились, и хотя прежних отношений уже не было — было взаимное уважение и стремление друг к другу. Тем большей была обида Гроссмана на Твардовского, не того Гроссман от него ждал. Обида эта не угасала, а усиливалась. Вот что Гроссман мне написал в Душанбе в сентябре 1956 года — через три года после ссоры с Твардовским:

«Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия. Ходил в Союз. Подал Ажаеву * петицию о том, что нужно создать комиссию, которая от имени Союза возбуждала бы ходатайства о реабилитации погибших писателей, не имеющих родных. Назвал А. Лежнева, Пильняка, Анд. Новикова, Святополка-Мирского. Предложение встретило сочувствие, Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.

Взял в архиве стенограмму Президиума, где Фадеев делал доклад обо мне. Прочел все выступления. Самое тяжелое чувство вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так выступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом.

В Союзе встретился с Симоновым. Он очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире». Любопытно, что в момент нашего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложе-

* Ажаев Василий Николаевич (1915—1968) — советский писатель, секретарь СП СССР.

нием. Сказал Ольге Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В. С, думал, что он меня пошлет по матушке».

Кстати, я прочел в этой же стенограмме речь Симонова. Он сказал: «Если Гроссман будет дальше молчать, мы с ним заговорим другим языком. Пусть знает, что разговор будет другим».

Вот я и подумал, что он заговорил со мной другим языком, предлагая печатать вторую книгу».

Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором «Нового мира», а Кривицкий — его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую «Жизнь и судьбу», еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык «Нового мира».

Да, другим языком заговорили с Гроссманом после смерти Сталина. Эту смерть мы встретили в Ильинском. Ни радио, ни газет у нас не было, мы ничего не знали, когда одним мартовским утром соседка Маруся, иногда помогавшая нам по хозяйству, сказала: «Слыхали, Сталин болеет».

Мы не поверили. Слишком радостным, сказочно прекрасным показалось нам Марусино сообщение. Вздволенные, мы не могли успокоиться. Решили пойти на станцию, узнать поточнее, там был газетный киоск.

Три километра шли в мартовском рыхлом снегу, в черном безлюдье. Не верили и хотели верить. Киоск был закрыт, но рядом с расписанием пригородных поездов висела газета. Все правильно, Сталин болен.

Всю ночь не спали, разговаривали, гадали: подохнет? Конечно, подохнет, иначе не объявляли бы в газете, что болен. А может, его уже нет в живых? Что-то будет? Лучше или еще хуже?

Не сразу, но стало лучше: прекращение дела врачей-убийц, казнь Берии. Если же перейти от крупных событий в жизни страны к делам литературным, то через год после смерти Сталина был созван, после двадцатилетнего перерыва, Второй съезд писателей, Гроссман и я были делегатами съезда. На съезде выступил Фадеев. Он нашел в себе силу, чтобы в присутствии иностранных гостей, что называется, всенародно, извиниться перед Гроссманом за то, что несправедливо нападал на «За правое дело» и на автора романа. И предсмертная речь, и самоубийство Фадеева суть выражение доброго начала в этом человеке, обреченном стать жестоким. Его самоубийство не грех перед Богом, а желание искупить смертью свои грехи. Он обладал талантом весьма

скромных размеров, но подлинным, и, живи он при царе, он тоже был бы пусть второстепенным, а писателем, не то что нынешние тусклые, стерильноликие руководители писательского Союза. Этим дела нет до судьбы русской литературы, голова у них не болит, и утечка ярких талантов их никак не волнует, наоборот, облегчает им и без того спокойную, сытую жизнь. Им плевать, что книга, здесь не изданная, вышла и пользуется успехом за рубежом, — их больше тревожит предполагаемый конкурент здесь, на родине. На них, правда, нет крови, своими преследованиями они никого не довели до смерти, разве что косвенно, но тут причиной внешние обстоятельства. Думаю, что, будь они на месте Фадеева в годы ежовщины или борьбы с безродным космополитизмом, они превзошли бы его своей жестокостью.

Роман «За правое дело», еще недавно считавшийся политически вредным, решил выпустить Военгиз. Гроссман мне сообщил об этом в Душанбе 22 июля 1954 года:

«Здравствуй, дорогой друг!

Получил наконец твое письмо. Хотя оно не шло, а летело, полет его длился семь суток.

За время твоего отсутствия в моей жизни произошли значительные события. В Загорянку * пришла телеграмма от Фадеева: «Роман „За правое дело“ сдается в печать. Обсуждения на секретариате не будет. Вопрос решен положительно и окончательно. Крепко жму вашу руку». Я настолько был далек от подобного сообщения, что даже подумал — не розыгрыш ли это. Но в Москве меня ждало письмо полковника Крутикова: «Вас.Сем.! Все в порядке. Звонил Сурков, сказал, что сделаем большое дело, если В / книгу выпустим к съезду писателей. Был разговор с руководящей инстанцией. Туда не надо посылать».

В тот же вечер (приезда с дачи в Москву) мне позвонил Фадеев и рассказал некоторые подробности (он решил, видимо, перекрыть евангельское чудо и принял посильное участие как в погребении Лазаря, так и в воскрешении Лазаря).

На совещании в связи с предстоящим писательским съездом, где были оба А. А. **, выяснилось, что нет никаких задерживающих книгу причин и что обсуждать ее на секретариате Союза не нужно.

* Местность под Москвой, где Гроссманы снимали дачу. Свою дачу в Лианозове Гроссман отдал бездомным людям, поселившимся там во время войны.

** Фадеев и Сурков.

Вот краткое изложение фактов. Книга уже подписана к печати, и Крутиков привез мне показать макет переплета и заодно новый договор на массовое издание. Выпустить книгу предполагают в сентябре-октябре. Генерал Щербаков * вдруг прислал мне письмецо, что в 1955 году Военгиз предполагает повторить издание романа вторым массовым тиражом.

Дорогой мой, уверен, что ты прекрасно представляешь себе пережитое мною чувство. Но ты, конечно, не представляешь себе, как было мне горько, что тебя нет в Москве и я не мог поделиться с тобой своими мыслями и чувствами. Долгая, трудная была дорога у книги, но дружба с тобой помогла мне пройти ее, ты по-братски поделил со мной этот путь. Но я вовсе не думаю, что дорога кончилась и начался Парк культуры и отдыха. Я рад тому, что она не кончилась, и если суждено, пусть будет нелегкой, только бы шла.

Вспомнилось мне Ильинское, дачная идиллия, печь, игра в дурака, суп из макарон, прогулки на станцию, отлепель, гремящая ведрами Маня. «Многое вспомнилось, слушающая грохот колес непрерывный».

Сёма, когда думаешь в Москву, очень уж надолго уехал ты. Напиши, пожалуйста, точно, когда планируешь возвращение. Письмо твое прочел, и вдруг очень захотелось побывать в этом далеком краю, в котором ни разу не бывал, походить по чудесному саду, поэтически тобой описанному. Печально было читать о смерти Айни **, и то, что ты пишешь о его последних днях, так грустно. Чувствую, что хороший он был человек.

Ты спрашиваешь о Москве, о новостях? Я не был на докладе Фадеева, но мне говорили, что это было коротенькое сообщение, просьба освободить его от большого доклада на съезде. Просьбу уважили, доклад будет делать Сурков, а Фадеев — вступительное слово...»

Как предвидел он, что не кончилась его нелегкая дорога! Между тем съезды — съездами, а вместе с горестями и горькими радостями шла и работа — и внутренняя, и на бумаге. Писалась «Жизнь и судьба».

Когда я как-то спросил, как будет называться вторая книга, Гроссман ответил: «Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз „и"».

Двигались годы ежедневного труда, и Гроссман мне

* Щербаков Александр Николаевич — главный редактор издательства Военгиз.

** Айни (1878—1954) — старейший таджикский писатель.

читал главы, сцены из романа. Я видел в них изобразительную силу, уже знакомую мне раньше, но находил и новое. Гроссмана стала волновать тема Бога, тема религии. Не случайно появляются в немецком концлагере католический священник Гарди и несчастный, так и не нашедший Бога, русский богоискатель Иконников, который не верит в добро, а верит в доброту. Я не мог согласиться с тем, что «Бог бессилен уменьшить зло жизни», но меня поразила мысль Иконникова о том, что «дурья доброта и есть человеческое в человеке... Она высшее, чего достиг дух человека».

Мне стал дорог майор Ершов, заключенные в немецком концлагере «чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи». Сын раскулаченного, майор становится главарем советских военнопленных командиров. И далее — слова, которые многое объясняют в настроении и убеждении самого автора: «Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь... Ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец».

И мы видим эти лагеря, советские лагеря. Гроссман собрал воедино и воссоздал все, о чем на протяжении лет, смертельно страшных лет нашей родины, настойчиво расспрашивал выживших чудом и чудом вышедших на свободу лагерников, людей ему близких и далеких, и первым нарисовал обширную картину погибающей за каторжной проволокой России. Ведь один день Ивана Денисовича для читателей еще не занялся, и я, слушая Гроссмана, уже не по отдельным рассказам, а впервые во всей своей безумной и с ума сводящей всеобщности узнал то, что болело, обливалось кровью во мне, о чем я думал постоянно и что в книге Гроссмана ошеломило меня точностью, подробностью изображения.

Есть такое мнение: Гроссман сам в лагере не сидел, писал, значит, понаслышке. Это нелитературный разговор. Державин деятельно участвовал в погоне за Пугачевым. Но не он изобразил крестьянского вожака, а живший в другом столетии Пушкин. И пугачевский тулупчик, и калмыцкая сказочка, которую рассказывает Гриневу Пугачев, памятны нам с детства. Надо ли еще раз говорить о том, что талант художника, соединенный с душевным напряжением и добросовестностью исследователя, способен творить чудо жизни.

В немецком лагере что-то сдвинулось в затвердевшем, казалось бы, сознании старого большевика Мостовского, «многое в его собственной душе стало для него чужим» и все же сидит в нем крепко, он одобряет жестокое решение коммунистов-лагерников способствовать с помощью доноса транспортировке в погибельный Бухенвальд «чуждого парня» Ершова, потому что Ершов — «беспартийный, неясный, чужой».

Но и Мостовского убили в лагере, и по-иному погибает — он удавился — другой старый большевик, Магар. Перед смертью он говорит своему бывшему ученику, теперь тоже заключенному: «Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее... Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства...»

В романе «За правое дело» совсем иначе думают и говорят о Марксе идейные большевики Мостовской и Крымов, иначе думает и говорит и сам Гроссман.

Один неглупый литератор сказал мне, прочитав «Жизнь и судьбу»: «Как Гроссману не повезло! Если бы свой роман с таким точным, потрясающим описанием лагерей он опубликовал до Солженицына!»

Я с этим не согласен. Конечно, что и говорить, было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о судьбе рукописи раньше, но я твердо убежден, что открытия в литературе не ограничиваются темой.

Открытием в литературе всегда является человек. И каждый по-своему — Солженицын и Гроссман — открыли человека в концлагере. А что касается темы, то она глобальна. Какой современный русский писатель вправе пройти мимо нее? Ведь лагерь, тюрьма властно и грозно вступили в дом почти каждого советского человека — в столичную ли квартиру, украинскую хату или кишлачную кибитку, — в семью почти каждого, выражаясь по старинке, обывателя. Если шутливо говорят, что суть русской литературы девятнадцатого века можно определить названиями двух произведений: «Кто виноват?» и «Что делать?», то суть русской литературы нашего века, века тюрьмы, больницы и войны, можно обозначить названиями «Архипелаг ГУЛаг», «Раковый корпус», «Жизнь и судьба».

Многое поведали мне в чтении Гроссмана главы о войне. Сам я в Сталинграде видел только то, что мне было по-

ложено видеть, — наши корабли, бронекатера, наши НП на правом берегу, штаб Родимцева в трубе, пятачок Горохова на Рынке. А Гроссман рассказал о том, что рядовой участник войны не мог видеть, не мог знать. Гроссман развернул панораму одной из величайших битв, и развернул ее не только сверху, как бы с вертолета, когда наглядны все фронты, армии, корпуса, дивизии. Он увидел битву и снизу, глазами солдата в окопе. До него только Толстой таким двойным зрением увидел войну.

И вот возникает глава о знаменитом «Доме Павлова». Гроссман называет этот дом «шесть дробь один». Дом окружен немцами со всех сторон. И воюет с немцами, да еще как воюет. Командира обреченных Грекова прозвали «управдомом». И в этом доме, гибель которого куда страшнее гибели дома Эшеров у Эдгара По, потому что все в нем проще — и жизнь, и смерть, — в этом аду сияет любовь Сережи и Кати, светлеет дерзкий разум Грекова. И вот не стало дома, не стало и Грекова, но не умирает в нашей душе отчаянный капитан, обвораживая ее русской удалью, пронзительной русской тоской своего острого, грубого и сердечного ума.

Злоключения Жени Шапошниковой в Куйбышеве, кажется, тускнеют в сравнении с ужасами немецких и советских концлагерей, тюрем, газовых камер, дома «шесть дробь один», но после того, как Гроссман прочел мне эти куйбышевские страницы, я долго находился под впечатлением услышанного. Странное дело, большинство писателей, исходящих из формулы «бытие определяет сознание», обожают писать о сознании и крайне неохотно, стеснительно касается бытия. Читая Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, мы всегда знаем, каковы материальные, житейские заботы персонажей, даже сколько у кого денег в данную минуту. А во многих нынешних книгах деньгами интересуются только отрицательные герои, а у положительных заботы либо производственные, либо — это появилось в последние годы — семейные. До Гроссмана почти никто не писал о ссорах и мелких дразгах на кухнях коммунальных квартир, о скученности в жилищах, когда в одной комнате спят рядом и пожилые родители, и их дочь с мужем, и внуки, «аж хата хыть-хыть», как сказал мне на Кубани один крестьянин, никто не писал о долгих очередях в продуктовых лавках, о скудной зарплате, о духоте в переполненных по утрам автобусах и трамваях, о бескислородном бюрократизме, в котором задыхается беспомощный человек. Нам близки мучения Евгении Шапошниковой, которая не может получить прописку — право на жизнь в городе, мы узнаем

знакомых нам мучителей в написанных как бы на заднем плане портретах трусливого начальника конструкторского бюро, в котором работает Шапошникова, и начальника паспортного стола, чьи немигающие глаза выражают задумчивое равнодушие, а в длинной, безнадежной очереди к нему «Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой отказали в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки».

Когда Гроссман прочел мне письмо матери Штрума, он снял очки, чтобы вытереть слезы. Апокалипсис еврейства двадцатого века опалил Гроссмана. Мне известны высказывания читателей «Жизни и судьбы», что Гроссман как человек и писатель изменился под влиянием гитлеровских лагерей уничтожения евреев и жесточайшей борьбы с космополитизмом в нашей стране. Я думаю, что люди, придерживающиеся такого мнения, имеют на то некоторые основания, но они забывают, что Гроссман прежде всего — русский писатель. Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего. Не случайно в письме еврейской матери из-за колючей проволоки гетто есть такие слова: «Как крестьяне грабили кулаков, так соседи грабили евреев».

Эти слова — из последнего дошедшего до Гроссмана письма его матери Екатерины Савельевны, памяти которой посвящена «Жизнь и судьба». Екатерина Савельевна была замучена, убита в бердичевском гетто. На протяжении многих лет ей, мертвой, Василий Семенович писал письма, с ней, мертвой, делился своими мыслями, волнениями, общался ей о ходе работы над романом. Письма сохранились у пасынка Гроссмана Ф. Б. Губера.

Еврейская трагедия была для Гроссмана частью трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей. Есть ли в украинской литературе книга, которая рассказала бы о поголовной гибели украинских крестьян в годы коллективизации, как это сделал Гроссман в повести «Все течет»? Он не был бы подлинным русским писателем, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности.

В этих-то поисках он шел от романа «За правое дело» к «Жизни и судьбе» и, проникая в глубь человека, освобождался от прежних, не всегда правильных представлений, и все больше и больше приближался к божественной правде, к тому «чуду отдельного человека», которое возникает перед

Софьей Осиповной Левинтон на пороге газовой камеры. Старая дева подружилась с мальчиком Давидом в теплушке, они вместе вступают в камеру, и вот маленький мальчик с птичьим телом ушел раньше, чем она, тело мальчика осело в ее руках. «Я стала матерью», — подумала она. Это была ее последняя мысль. А глаза Давида перед смертью встретились с любопытствующими глазами немецкого солдата Розе, глядевшего в камеру через стекло. Человек ли Розе? Ведь «человек существует как мир, никогда никем не повторяемый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, когда находит в других то, что нашел в себе».

Гроссман, как и его Штрум, знал лишь с десяток слов на идиш. Широко образованный, сведущий в различных областях знания, читавший с детства французские книги в подлиннике — его мать преподавала французский язык (особенно он любил — и декламировал наизусть — целые страницы «Писем с мельницы» Доде, «Жизни» Мопассана, стихи Мюссе), — он был слабо осведомлен в еврейской истории. Увидев у меня тома еврейской энциклопедии на русском языке, спросил без особого интереса: «Ты здесь находишь что-нибудь важное для себя?»

Но разве он, открывший во время одной из фронтовых поездок Треблинку (очерк Гроссмана «Треблинский ад» в виде брошюры распространялся на Нюрнбергском процессе), разве он, впервые в литературе описавший газовую камеру (главки о ней под названием «Газ» были опубликованы в одной из наших газет еще до ареста «Жизни и судьбы»), разве он, познавший гонения на евреев в стране победоносного социализма, разве он, один из инициаторов и составителей «Черной книги» — о поголовном истреблении евреев гитлеровцами на временно захваченной территории Советского Союза, книги, уничтоженной на Родине и вышедшей за рубежом, — разве он мог, не только как еврей, но, повторяю, прежде всего как русский писатель, остаться равнодушным к одной из самых ужасных катастроф человечества в нашем столетии?

Его мучило, оскорбляло то, что писатели, русские по крови, не ранены в сердце этим ужасом, ему было стыдно за них перед живым взором великих русских писателей, философов, ученых. Когда в начале шестидесятых появилось в печати стихотворение Евтушенко «Бабий яр», Гроссман сказал: «Наконец-то русский человек написал, что у нас в стране есть антисемитизм. Стих сильно так себе, но тут дело в ином, дело в поступке — прекрасном, даже смелом».

Я рассказал о том впечатлении, которое производили на меня отдельные главы «Жизни и судьбы», когда Гроссман — в течение многих лет — читал их мне своим негромким, слегка скрипучим голосом. Но когда он в начале зимы 1960 года привез мне на Черняховскую весь роман, тысячу страниц, и я прочел их и, прочтя, начал тут же читать снова, я понял всем своим существом, разумом и сердцем, что Бог даровал мне счастье одному из первых (до меня, возможно, роман прочли только члены семьи и, конечно, машинистка) узнать творение великое и, надеюсь, бессмертное.

Я настаиваю на том, что было бы неосторожно рассматривать «Жизнь и судьбу» только с той точки зрения, что, мол, политические и философские взгляды автора изменились по сравнению с тем временем, когда он писал «За правое дело». Конечно, было и это, темные стороны действительности часто становятся источником света для сознания художника. «Жизнь и судьба» намного выше, намного важнее романа «За правое дело», но оба романа принадлежат одному и тому же таланту, цельному и мощному, как Пушкину принадлежат «Руслан и Людмила» и «Борис Годунов», Блоку — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Двенадцать». И если Пушкин, написав «Бориса», воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!», а Блок, завершив «Двенадцать», записал в дневнике: «Сегодня я гений», то нечто вроде этого мог бы о себе сказать и Гроссман, создав «Жизнь и судьбу». Но, улы, невеселы были мысли Гроссмана, когда он заканчивал свой шедевр. Он написал мне 24 октября 1959 года из приморского селения недалеко от Коктебеля:

«Хороши здесь прогулки по пустынному берегу, мне очень хотелось бы, чтобы ты побывал здесь. Очень тут чувствуешь море, оно тут не ялтинское, а какое-то особое, широкое, пустынное, оно для тех, кому есть о чем мечтать, у которых все впереди, и для тех, кому не о чем мечтать, у кого все позади. Ну и, конечно, хорошо оно и для поэтов — им ведь вняты и волнения юности, и печаль прожитой жизни. Вот и хотелось мне, чтобы ты тут побродил несколько дней, объял необъятное...

Я много работал здесь, закончил работу над третьей частью. Правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мое время проститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении шестнадцати лет. Странно это, уж очень мы привыкли друг к другу, я-то наверное. Вот приеду в Москву и прочту всю рукопись от начала до конца в первый раз. И хотя известно — что посеешь, то и пожнешь, — я все думаю: что же я там прочту?

А много ли будет у нее читателей помимо читателя-писателя? Думаю, что тебя она не минет. Узнаешь — что посеял.

Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом? А дальше уж второе, писательское — справился ли я? А дальше уж третье — ее судьба, дорога. Но вот сейчас я как-то очень чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, отдельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной и без меня не могло бы быть, именно теперь и кончается.

Это все, как выражаются наши газеты, думы слесаря Пустякова.

Помимо дум есть и житейская часть — ведь Пустяков ест, ходит в бакалею, пьет пиво. Питаюсь я жутко — со стола не сходит копченая скумбрия. Почему-то Феодосия в этом году завалена скумбрией. Ем я эту скумбрию и запиваю ее белым, мутным молодым вином. Стоит это мутное вино 7 р. 50 к. литр. Иногда я питаюсь кефалью. Хожу очень много, и ты прав — действительно похудел и загорел. Строен, как тополь, не очень молодой, правда. По вечерам играю с Ольгой Михайловной в тысячу.

Дорогой мой, писать мне сюда не надо, письма идут долго, и боюсь, что мы разминемся с письмом. Если санаторный эвакуатор не подведет с билетами, то пятого ноября будем уже в Москве, вечером. И если ты окажешься дома в этот вечер, то поговорим по телефону, условимся о встрече — у основоположника *, наверное. Придумал я народную поговорку: «Рано птичка запела, вырвут яйца из гнезда». Но это так, не думы, а вообще... Хочется тебя видеть.

Целую крепко Вася».

Я перечитываю эти строки, и сердце мое сжимается. Какая пророческая печаль в письме, написанном в такие дни, когда художника должно было охватить победное, великое счастье. Как он предчувствовал: «Судьба книги от меня отделяется. Она осуществит себя помимо меня, отдельно от меня, меня уже может и не быть». Все сбылось, ведь истинные поэты всегда пророки. А в тот день, когда я читал это письмо, не предвидел я, не мог предвидеть того, что свершится, только с радостью обратил внимание на то, что мой друг впервые написал слово «Бог» как полагается — с прописной буквы.

* Памятник Горькому у Белорусского вокзала.

В этом же письме есть такое место:

«Прочел рассказы Фолкнера, большинство из них печаталось в «Иностранной литературе». Сильный, талантливый писатель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, человек думает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант».

Мысли Гроссмана о манере письма дают мне возможность заметить здесь, что в искусстве ничто не устаревает так быстро, как манера письма. А что живет долго, не стареет? Характер. Конечно, мы помним, с восхищением повторяем метафоры, тропы, остроумные или глубокие по мысли выражения из любимых книг, и не только из русских, но и переводных. Можно ли забыть фразу Гамсуна: «Любовь — это не глицерин, любовь — это нитроглицерин», или Анатоля Франса о Гамелене: «Он был непостижим. Все люди непостижимы», или сообщение Сервантеса о том, что Санчо Панса отошел в сторонку и сделал в кустах то дело, «которое за него не мог сделать никто». Однако все эти блестящие фразы лишь тогда имеют смысл, когда работают для создания характеров — таких вечных, как Дон Кихот и Санчо Панса, Растигьяк и князь Мышкин. Если писатель не создал долгожителей, то быстро кончится его писательская жизнь.

И вот, прочтя «Жизнь и судьбу» целиком, я увидел, что, как выразился Версиров у Достоевского, «мысль пошла в слова» и среди рожденных словом людей есть по крайней мере два человека, которые встанут в одном ряду с характерами, созданными великой литературой. Я имею в виду Гетманова и Грекова.

Удались все персонажи романа, они живут с нами, эти красноармейцы и генералы, молодые люди и старики, крестьяне и академики, немцы и русские, армяне и татары, арестованные и следователи, лагерники и вертухаи, красавицы и дурнушки. Всех не перечислить, остановлюсь на Березкине, который запомнился нам еще в романе «За правое дело».

Этот майор средних лет в многократно стиранной, но опрятной гимнастерке храбро, умно воевал с лета 1941 года в лесах Западной Белоруссии, прошел через все испытания войны без награды, не замеченный начальством. Его когда-тошний подчиненный, преуспевающий военный хозяйственник Аристов думает, оглядывая — уже под Сталинградом — выцветшую гимнастерку и кирзовые сапоги майора: «Эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел». А старуха, в доме

которой Аристов на постое, говорит в его отсутствие майору: «Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится. А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит».

В свой трудный час держава начинает понимать, на ком она держится — на комбате Филяшкине, на беспартийном полковнике Новикове, на загнанном людьми из Отдела науки физике Штруме, на близоруком, отважном писателе Гроссмане. Только вот капитана Грекова держава не сразу поняла — и, по-своему, действовала правильно.

Майора Березкина в Сталинграде повышают в звании, ему доверяют командовать полком, тем самым, которому подчинен грековский дом «шесть дробь один». Накануне решающего боя Березкин тяжело заболевает. Он лежит в блиндаже «с горящим лицом, с нечеловечески, хрустально ясными бессмысленными глазами». Казалось, он ничего не слышит из того, о чем говорят в блиндаже. Приходит письмо от жены Березкина — давно от нее не было вестей. Один из командиров читает: «Здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший». Березкин приходит в себя, поворачивает голову и говорит: «Дай сюда». И, прочтя письмо, приказывает: «Меня сегодня надо оздороветь» *. И вот влезает Березкин в бочку из-под бензина, налитую до половины кипятком, «дымящейся от жара мутной волжской водой». Ночью выздоровевшему Березкину звонит генерал Чуйков: «Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока...» — «Понял, товарищ первый». — «А п о н я л, — проговорил с угрозой Чуйков, — так имей в виду, если вздумашь отходить, я тебе дам гогель-могелю, не хуже немецкого молока».

Бой идет в цехах Тракторного завода. Полк Березкина выдерживает напор противника. И опять зазуммерил телефон, и в трубке тугой, низкий голос Чуйкова: «Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник штаба убиты, приказываю вам принять командование дивизией. — И после паузы: — Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой».

Изумительно написан Березкин — и все же: не нов этот характер, это толстовский капитан Тушин в наше вре-

* В книге напечатано «оздоровить». Когда я читал рукопись, я тоже, как и издатели, решил было, что «оздороветь» — опечатка, но Гроссман мне сказал: «Не опечатка. Так задумано».

мя. А вот таких, как Гетманов и Греков, до Гроссмана не изображал никто, и никто и не мог их изобразить, даже Толстой, ибо для этого надо было проникнуть в глубь человека, взращенного нашей действительностью.

«Секретарь обкома одной из оккупированных областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса. Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья».

Такими спокойными словами начинает Гроссман повествование о Гетманове. Еще в романе «За правое дело» Гроссман пытался нарисовать секретаря обкома, но Пряхин как тип не получился, путешествие в глубь человека тогда не состоялось. Не обладая талантом критика, трудно в кратких заметках показать колоссальность характера Гетманова, так и хочется, облегчив себе задачу, выписать все, что сказал о крестьянском сыне Гетманове Гроссман, это, кажется, невозможно, — и все же короче не скажешь:

«Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь... Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком... Его мобилизовали на работу в органы безопасности, а вскоре он стал охранником секретаря крайкома... А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили — хозяином области... Партия доверяла ему! Подчас суровы были жертвы, которые Гетманов приносил во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал». Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество — естественно не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающие даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле... но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессио-

нального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки...»

Гроссман зорко замечает, что Гетманов, собираясь на фронт, не противником интересуется, а своим комкором Новиковым, человеком не из «номенклатуры», неясным, выдвинутым военного времени. Гетманов крайне озабочен не формированием корпуса, а тем (он уже это знает, есть материал), что Новиков собирается жениться на бывшей жене Крымова (которого Гетманов на фронте погубит), а у того понатыкано связей и с правыми, и с троцкистами с давних времен.

Перед отъездом Гетманова к нему заходят проститься друзья, среди них — свояк его Сагайдак, ответственный работник украинского ЦК, и старый товарищ Машук, сотрудник органов безопасности. Сагайдак раньше работал редактором газеты. Если он считал «целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно невыдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения... Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды».

Во время проводов Гетманова происходит нечто неприятное. Перелистывая альбом, Машук находит портрет Сталина, чье лицо размалевано цветными карандашами, к подбородку пририсована синяя эспаньолка, на ушах висят голубые серьги. И хотя собрались свои, близкие люди, Гетманову и его жене становится страшно, и больше других, конечно, страшит их Машук. «Что ж, детская шалость», — успокаивает Сагайдак. «Нет, это не шалость, это злостное хулиганство», — вздыхает Гетманов.

Не стоило бы о Гетманове говорить, если бы он был написан одной краской. Нет, он по-своему умен, неплохо разбирается в людях, а уж в государственной машине разбирается отлично. Он умеет побеседовать с рядовым красноармейцем, понравиться ему своей народностью, простонародностью. Хотя он на фронте никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар». До Гроссмана были в художественной литературе характеры, чем-то напоминающие Гетманова, но таких, как Гетманов, не было. Его открыл Гроссман. Самое удивительное в Гетманове то, что он всегда искренен. Заведя уже в корпусе любовницу,

он искренне негодует на командира Белова, женатого, но полюбившего медсестру, и с непритворным гневом говорит ему: «Не срами себя по личной линии». Когда комкор Новиков с перепугу предлагает выпить за Сталина, Гетманов добродушно поддерживает тост: «Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством». Может сказать и так, похохатывая: «Наше счастье, что немцы мужику за один год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять л е т», — эта смелость, замечает Гроссман, «не заражала собеседника, наоборот, посеяла тревогу».

Искренность Гетманова внушает страх. Он и предательство искренне считает прекрасным поступком, если предательство, по его разумению, необходимо. Новиков, послушавшись командующего фронтом, послушавшись даже верховного, то есть Сталина, задерживает наступление на восемь минут — и достигает успеха, его расчет был правилен. Сталин выражает ему благодарность, все корпусное начальство ликует. «Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо, — говорит Гетманов Новикову, — спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон». И Гетманов искренен. И так же искренне он пишет наверх донос: командир корпуса самовольно задержал на восемь минут начало решающей операции, нарушил приказ товарища Сталина.

Таков этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, с пронизательным взглядом умных маленьких глаз, неутомимо деятельный. Таким он запомнился нам, таким он запомнится тем, кто прочтет «Жизнь и судьбу», когда нас уже не будет.

О «доме Павлова» написано множество статей, стихов, он стал священным для тех, кто приезжает в Сталинград (Волгоград), чтобы поклониться подвигу наших воинов. Гроссман — единственный военный корреспондент, кто своими глазами видел этот окруженный немцами дом, но перо его нарисовало не только то, что он увидел в доме смертников, а и то, что увидел в родной стране. Когда я как-то его спросил, есть ли у Грекова черты реального Якова Павлова, Гроссман мне сказал: «У Грекова есть кое-что от Чехова», имея в виду героя своего очерка, снайпера. Очерк был броско назван «Глазами Чехова», привлек к себе во время войны внимание читателей. Эренбург, написавший в 1946 году рецензию на сборник военных рассказов и очерков Гроссмана, назвал рецензию «Глазами Гроссмана». Замечу, что обе фамилии — Чехов и Греков — двухсложные,

имеют в своей основе наименование нации, и это тоже говорит о близости героя романа к прототипу.

Уже оборвалась беспроволочная связь с домом, то ли передатчик вышел из строя, то ли «управдому» Грекову надоели строгие внушения командования. Уже близится гибель дома вместе с его сражающимися обитателями, но комиссара полка все еще тревожат сведения, полученные от информатора: Греков совсем распустился, говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воюет лихо, этого информатор не отрицал. Что же это за ересь говорил Греков бойцам? А вот, например, такую: «Нельзя человеком руководить как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: „Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному“». Между прочим, и мне приходилось в землянках слышать нечто подобное: страх перед начальством отступает, когда наступает смерть и чувствуешь ее дыхание.

В доме «шесть дробь один» люди не были просты. Молоденький Сережа удивляется — как это люди с такой смелостью осуждают наркомвнудельцев, с такой смелостью и болью говорят о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. И эти же люди отчаянно бьются за последний крохотный кусочек своей родины, за этот дом, находящийся на оси вражеского удара.

Знаменитая загадка русской души разгадывается так: это душа людей. Во время немецкого авиационного налета лейтенант Батраков, до войны преподаватель математики, близорукий, которому не подходят ни одни очки, снятые с убитых немцев, спокойно над обрывом лестничной клетки читает книгу, и Греков произносит замечательную, чисто русскую фразу: «Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?» Он называет дураком Батракова с тем же основанием, с каким русская сказка называет дураком самоотверженного, душевного Иванушку. И никто из этих «дураков», даже имея на то возможность, не покидает дом, в котором — они это хорошо знают — погибнут все. Более того, Сережа без разрешения начальства возвращается в дом Грекова из штабного блиндажа. «Правильно, — одобряет Греков, — дезертировал к нам на тот свет».

Впервые мы узнаем о Грекове от политрука Сошкина, побывавшего в доме «шесть дробь один»: «Все этого Грекова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, «ты» ему говорят, зовут «Ваня». Не воинское подраз-

деление, а какая-то Парижская коммуна». Так по донесению Сошкина заводится на Грекова дело на уровне — шутка сказать! — Политуправления фронта. А знало бы Политуправление, какие разговорчики ведут между собой смертники, когда тот же Разгошкин приводит к ним радистку Катю:

«— В дамочке бюст для меня основное.

— Конечно, в наших условиях и такая Катюшка сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади пусто, глаза большие, как у коровы.

— Тебе бы только сисястая. Это отживший, дореволюционный взгляд.

— Кому даст? Грекову — это точно».

Так о своем командире рядовые бойцы говорить не вправе. А Грекову, диктующему Кате донесение в штаб полка, хочется схватить ее, ощутить ее тепло. Греков — хозяин, волевой, иногда жестокий, ему в доме подвластно все, и он приказывает Сереже, который любит Катю и любим, отправиться из дома в штаб полка, он дарит ему жизнь, а Сережа думает: «Изгнание из рая, как крепостных разлучает», он смотрит на Грекова с ненавистью, взгляд Грекова кажется ему отвратительным, безжалостным, наглым, но Греков неожиданно говорит: «С тобой пойдет радистка, доведешь ее до штаба полка».

И вдруг Сережа увидел, «что смотрят на него прекрасные, человеческие, умные и грустные глаза, каких он никогда не видел в жизни». Греков спасает влюбленных, новые Дафнис и Хлоя — дети войны — избегают смерти в доме «шесть дробь один».

Пехотный капитан Греков до войны читал книжечки, ходил в кино, играл с приятелем в преферанс, пил водочку, ссорился с женой, которая ревновала его ко многим девицам и дамам. На войне он поражает бойцов и командиров, восхищает их удивительным соединением силы, отваги, власти — с житейской обыденностью. Штаб приказывает ему по радио ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться, но Греков сбивает у радистки ладонь с переключателя, говорит с усмешкой: «Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладите, когда Грекову нужно будет», ему некогда заниматься отчетностью, он воюет.

В доме «шесть дробь один», за которым «следит весь мир», сталкивает Гроссман с еретиком Грековым ортодокса Крымова, который с опасностью для жизни пробирается в дом, чтобы разобрать дело Грекова. «Все в нем — и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа

было дерзким, сама дерзость... «Ничего, ничего, согну я тебя», — подумал Крымов».

Нет, не согнет. Многообразованный сотрудник Коминтерна, знававший Троцкого, Бухарина, видных деятелей международного коммунистического движения, храбрый участник гражданской и Отечественной войн со всем своим марксистско-ленинским учением оказывается бессильным перед народной правдой пехотного капитана. Не ладится у Крымова и связь с бойцами, возникшее в них чувство близкой смерти ослабляло их связь с комиссаром. Сапер с головой, перевязанной грязным окровавленным бинтом, спросил:

«А вот насчет колхозов, товарищ комиссар. Как бы их ликвидировать после войны?»

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я на лекции пришел вам читать, — сказал Крымов, — я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу варить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков, — варите кашу.

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят».

И вот честный, порядочный Крымов решил съесть Грекова, написал донос на него, а подлые, ничтожные карьеристы съели Крымова. Но таково наше родное безумие, что еретик Греков погибает как герой, ему воздают должное, а ортодоксу Крымову суждена бессмысленная мучительная смерть в застенке.

Когда зимой 1960 года я прочел «Жизнь и судьбу», когда я думал о людях, с которыми встретился в романе, рождалась во мне такая мысль: как не похожи друг на друга эти русские люди — Гетманов и Греков, Крымов и тот особист-подполковник, который бил Крымова. Но, думал я, незаметный поворот судьбы — и их жизнь сложилась бы иначе, они могли бы стать близкими друг другу. Недаром «в человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчишкой плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического манифеста — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это чувство близости поистине было ужасным».

Не сразу понял я, читая книгу, что иной связью, куда более сложной, чем я думал раньше, связаны жизнь и судьба. Эта связь непостижна нашему разуму. Судьбу не изменишь, ее рождает жизнь, а жизнь есть Бог. И напрасно писатели, философы, политики гадают, что было бы с Россией, если бы умнее был царь Николай, серьезней и деятельней Керенский. Все это пустые разговоры. Путем, ей определенным, пошла Россия, и на этом пути, как светильники надежды, светятся Березкин, Греков, Штрум, Ершов, Левинтон, Иконников. Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла.

Возникли во мне при чтении романа и мысли гораздо менее важные, но — как бы выразиться лучше — приятные. С удовольствием я узнавал в некоторых персонажах известные мне прототипы, вспоминал, кто при мне, при каких обстоятельствах произносил ту или иную фразу. Рюрикович Шаргородский — это, конечно, наш общий знакомый князь Звенигородский, который писал стихи, отмеченные прелестным влиянием Фета, и говорил нам по-старчески хриплым, густым голосом: «Мои стихи признает у нас вся советская и антисоветская общественность, а их не печатают».

Дочь Гроссмана Катя еще девушкой случайно подслушала, как молодые парни рассуждают о ее внешности, рассказала об этом отцу со свойственным ей юмором. Точно такие же рассуждения красноармейцев (приведенные выше) в доме «шесть дробь один» случайно подслушивает другая Катя, радистка.

Комиссар родимцевского штаба, расположенного в трубе, рассказывает Крымову: «Пришлось мне везти к фронту на свой машине московского докладчика Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: „Волос потеряет, голову тебе снесу“». Главка о родимцевской трубе была опубликована в одной из наших газет. И я вспомнил, как Елена Усиевич, Михаил Лифшиц и еще кто-то направили Гроссману резкое письмо: им показалось, что комиссар непочтительно отзывался об их друге, партийном философе-академике Юдине, которого Гроссман, действительно, презирал.

В Марье Ивановне Соколовой я легко узнавал Екатерину Васильевну Заболоцкую. Так же, как Штрум с Соколовой, совершал с ней Гроссман прогулки по Нескучному саду. Есть и другие в их отношениях знакомые мне подробности. Я ничего не пишу о последней любви Гроссмана, принесшей ему много счастья и страдания и оказавшейся

мучительной для четырех чистых, хороших людей. Я не пишу об этой любви, потому что рано и трудно о ней писать...

У Гроссмана летчики в блиндаже поют песню «Машина в штопоре кружится». Я вспомнил, как летом 1943 года нам пел в Москве эту песню Твардовский, голос у него был слабый, а слух отличный. И Гроссман с тех пор часто повторял слова этой песни.

Старый кавалергард Тунгусов рассказывает в бараке лагерникам роман, всаживая в свою баланду знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавания жюльверновского «Наутилуса». Точно так же поступал, чтобы задобрить уголовников, наш приятель С. Г. Гехт, отсидевший восемь лет. И если слушатели находили в повествовании противоречия, Гехт, как и Тунгусов, бойко изворачивался: «Положение Надин лишь казалось безнадежным».

Николай Чуковский, когда мы с ним еще дружили, рассказал нам: у него в Харькове жил дядя Хаим, который называл себя Эдуардом и на недоуменный вопрос племянника объяснял: «Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды». Точно так же двойкость своего имени объясняет в романе Эдуард Исаакович Бухман, бухгалтер.

Тот же Гехт нам рассказывал, что во время ночного допроса, измученный следователем, он в отчаянии заявил о том, что его хвалили в печати. А следователь сказал: «Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать?» Те же слова говорит следователь Крымову.

Гроссман любил поддразнивать своего пасынка Федю в пору его созревания гоголевской фразой: «Эко тебя, брат, вывездило». Точно так же поддразнивает Штрум своего пасынка Толю.

В годы борьбы с космополитизмом была напечатана в «Правде» статья Юрия Жданова, сына члена Политбюро. В статье теория Эйнштейна сопровождается унижающими словами «так называемая». Гроссмана это оскорбило. В романе молодой человек из Отдела науки тоже говорит о теории Эйнштейна «так называемая», и Штрум на это реагирует с тем же негодованием, что и Гроссман.

Таких мест немало в романе, и, разумеется, с особенным волнением читал я те фразы, страницы, в которых отразились мои рассказы и стихи, например стихи о том, как немцы жгли на берегу Волги цыганку, или о калмыцкой степи, о чувстве воли во время моих блужданий по ней. «Воля... воля», — повторяет подполковник Даренский, двигаясь по калмыцкой степи, а мое стихотворение так и называется «Воля» (Иосиф Бродский, впоследствии составивший мою

книгу для издательства «Ардис», по этому стихотворению назвал всю книгу, — лучше я бы сам не мог назвать).

Как-то во время работы над романом Гроссман мне сказал: «Ну и въедливый ты. Помнишь моего Даренского? Так я ему подарил твои ощущения степной воли. Будешь знать, как не печататься».

Кстати, о подполковнике Даренском. Он — действующее лицо и в романе «За правое дело». Твардовский, печатая роман в своем журнале, попенял автору, что и эта фамилия еврейская. А фамилия принадлежала домработнице Гроссмана, подмосковной крестьянке Наташе.

Теперь коснусь тех роковых причин, которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал «Знамя». Прежде всего, конечно, воспаленная обида Гроссмана на Твардовского. Это — самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в «Новый мир». Твардовский не отправил бы рукопись «куда надо». Но Гроссман ни за что не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была обида не только автора, но и бывшего друга.

Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск. Странную эту мысль укрепило в Гроссмане одно событие. Гроссман отдал в либеральный альманах «Литературная Москва» свой замечательный рассказ «Тиргартен» (впоследствии был напечатан в «Нашем современнике»). Редактором альманаха был Э. Г. Казакевич, чей ум и одаренность Гроссман ценил. Правда, он был сердит на Казакевича из-за меня: по рекомендации Гроссмана Казакевич взял у меня для первого номера альманаха большую подборку стихотворений, а я не печатался как оригинальный поэт почти четверть века. Но в последнюю минуту Казакевич, ссылаясь на вышестоящие инстанции, отказался от подборки, утешая меня тем, что такая же участь постигла стихотворения Пастернака. У Гроссмана с Казакевичем был тяжелый разговор, в результате которого Казакевич решил поместить в альманахе одно мое стихотворение, хотя и безобидное, но все же в обезопасивающем сопровождении перевода. Гроссман был в какой-то мере удовлетворен. Отношения двух писателей вроде бы наладились, но разлади-

лись опять из-за «Тиргартена»: Казакевич не решался опубликовать рассказ в своем альманахе. Смело напечатав яшинские «Рычаги», в которых бичевались некоторые проявления бюрократизма, рождающие в людях двойственность сознания, Казакевич не без основания усмотрел в «Тиргартене» ту зеркальность, которая побуждала бы читателей думать о сходстве двух режимов. После смерти Гроссмана Атаров в предисловии к книге «Добро вам», в которой помещен «Тиргартен», умело хвалит рассказ, называя его антифашистским. В сентябре 1956 года Гроссман написал мне в Душанбе:

«С Казакевичем все это дело принимает чудовищные формы. Я наконец позвонил Никитиной * и сказал: «Передайте Каз[акеви]чу, пусть позвонит мне сегодня же: я привык к редакционному хамству, но это превосходит то, к чему я привык». Думал, что он позвонит мне через час, но идут дни, и опять мертвое молчание. Фантастическое хамство. Я уже письмо написал ему, да не знаю, стоит ли стрелять по воробью из пушки. Вот тут бы с тобой посоветоваться. Семушка, мне твое пребывание в Ср[едней] Азии на этот раз с первых дней кажется особо тягостным».

В конце концов редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание. Альманах, однако, подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование. Гроссман понять их не хотел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдать из себя раба.

Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В. М. Кожевников попросил его дать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс — под произведение, которого не читал. Гроссман согласился не сразу, он попробовал испытать Кожевникова, предложил ему «Тиргартен». Журнал пожелал рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ, увидев в произведении о немцах аллюзии с советской действительностью. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать. Гроссман в этом убедился. По крайней мере, Кожевников сумел его убедить. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». Надо учесть

* Секретарь альманаха.

и то, что Гроссман в свое время был близок этому журналу, несколько его вещей увидело свет на страницах «Знамени». А журнал был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга — «За правое дело» — пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший — по сравнению с блеском «Нового мира» — авторитет журнала.

К этому надо добавить, что несколько (два или три) отрывков из «Жизни и судьбы», напечатанных в разных газетах (один отрывок, странно сказать, в «Вечерке»), взбудоражили литературную среду, о них заговорили, и в то же время, читая их, нельзя было угадать всей сути романа. Предполагаю, что определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии «Знамени»: после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать «За правое дело». А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Кривицкий — это орешек. Во время войны он благодетельствовал Платонову. Однажды, заранее условившись, мы с Гроссманом пришли к Платонову и вдруг в темноте узкого коридорчика приблизился к нам Платонов и прошептал: «Братцы, у меня Кривицкий, так что...» Но быстро вслед за Платоновым появился Кривицкий и сказал, заикаясь: «Здравствуйте, я вышел к вам, чтобы Андрей Платонович не успел меня обругать».

30 июля 1960 года Гроссман мне писал:

«В Москве жара невероятная, держится упорно. Переносу ее с трудом — в двойном смысле, но, к сожалению, не в тройном. Дело в том, что „Труд“, которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.

„Знамя“ насадет, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи».

Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем, как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован. 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что их даже показывать нельзя.

И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной не

замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. «Что же е , — спросил о н , — ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?» — «Есть такая опасность», — сказал я. «И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?» — «Нет такой возможности. Не то что Кожевников — Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек». Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна *, пока меня били и топтали, спокойно переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе».

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экumenические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся.

Наступило тяжкое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: «Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?» Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного — все в романе было о п а с н ы м , — скажем, 15—20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда — нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что

* Выражение «прал против рожна» — из рассказа Сергеева-Ценского «Пристав Дерябин».

посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: «Когда мы смотрим в лицо друг друга, мы смотрим в зеркало... Наша победа — это ваша победа». Обратил я внимание Гроссмана на несколько строк — не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца». Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых легко угадывается Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк.

Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским, и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в «Знамя», а полного, без сокращений. В книге имеются, по техническим, как сообщают издатели, причинам, пропуски разной величины. Если память мне не изменяет, пропуски эти небольшие.

Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: «Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я пытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры». Гроссман обозлился, вспылил: «Ты кроме знаков препинания ничего в романе не разглядел». Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» — ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем. Мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова — и писателя, и человека.

А месяцы идут, а «Знамя» молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский.

Он стал членом редколлегии «Знамени». Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях — встречаться все же реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: «Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: «Подвел нас Гроссман», — и перевел разговор на другую тему».

Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил заехать к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена, Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру. Две маленькие комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты за квадратным столиком Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китайскую игру маджонг (не уверен, что правильно транскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пересказал сообщение Николая Чуковского. «Повтори», — сказал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: «А Люся играет в маджонг». Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие большие и малые грехи и прегрешения Ольги Михайловны, — он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном. Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.

Между тем через знакомых, имевших какое-то отношение к журналу, стали просачиваться слухи, что «Знамя» не хочет печатать роман. Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Он не пошел и правильно сделал. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых Малюты Скуратовы чередовались с Тартюфами, единодушно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительское. Николай Чуковский в заседании не участвовал.

Гроссман уже давно стал понимать, что совершил непоправимую ошибку, отдав «Жизнь и судьбу» в руки Кожевникова и Кривицкого. Он попытался возобновить отношения с Твардовским. Вот что он мне написал в Малеевку 1 февраля 1961 года — еще до рокового заседания редколлегии

«Дорогой Сема, получил твое письмо. Вольный сын кефира, поэт и переводчик! Я снова заболел, но на сей раз обошлось дело, кажется, без воспаления легких.

Поздравляю тебя с тем, что твоя дочь Зоя Семеновна вступила в законный зарегистрированный брак. Дай им бог всего хорошего.

Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встретились у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Так-то».

Однако на этом отношения Гроссмана с Твардовским не оборвались окончательно. Поздней осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополю, помирили мужей. Твардовский сказал: «Дай мне роман почитать. Просто почитать». И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо, с некой тайной надеждой, роман в редакцию «Нового мира». После ареста романа к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас писать правду, нет свободы». Говорил: «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». По его словам, рукопись романа была передана «куда надо» Кожевниковым.

Смеясь, Гроссман мне рассказывал: «Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: «Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, — до этого тебе дела нет». И тут он стал мне пересказывать мои же слова из «Жизни и судьбы». «Саша, одумайся, об этом я же написал в романе». Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка».

В феврале 1961 года роман был арестован. Гроссман

мне позвонил днем и странным голосом сказал: «Приезжай сейчас же». Я понял, что случилась беда. Но мне в голову не приходило, что арестован роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов. Только недавно я узнал, что еще в 1926 году изъяли рукопись у Булгакова.

Заявились двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь Открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: «Кажется, нехорошие люди пришли». Предъявили Гроссману ордер на изъятие романа. Один, высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот, второй, постучался к Ире и сказал: «У него что, большое сердце? Дайте что-нибудь сердечное». Ира дала капли и спросила: «По какому поводу вы пришли?» — «Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так вот, изымаем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо».

Этот же, званием пониже, вышел на двор и вернулся с двумя понятыми. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятые — не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незванные гости. Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали. Например, несколько рассказов, повесть «Все течет» (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание — изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал. Были вежливы. Тот, кто помельче званием, обратился к Гроссману: «Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет?»

Обыск длился час с чем-то. Полковник, когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: «У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы получше вычитать. Другой — в «Новом мире». Был еще в «Знамени», но тот, наверное, у вас».

С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи. Гроссман дать подписку отказался. Полковник не настаивал.

Гроссмана увели. Сказали Ире: «Не волнуйтесь, часика через полтора он вернется, мы едем с ним к машинистке».

Поехали не только к машинистке, но и на Ломоносовский проспект, где Гроссман был прописан: вследствие семейных обстоятельств он временно получил через Союз писателей комнату в коммунальной квартире по этому адресу. Там ничего не нашли.

Гроссман вернулся, сказал, что у машинистки забрали ее экземпляр. Потом стало известно, что пришли в «Новый мир», приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись... Я никогда не видел, чтобы Гроссман был так подавлен, как после ареста романа.

Борис Ямпольский верно передает его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи).

Когда в 1953 году ударили по роману «За правое дело», когда мы каждый день ждали ареста, когда была реальная опасность, что Гроссмана приобщат к делу врачей-убийц, он был менее подавлен, чем сейчас. Конечно, он предполагал, что вслед за романом могут арестовать и его самого, но не это его мучило, а ужасная судьба — он это понимал — его самого главного, самого серьезного произведения. «Как быть, как быть?» — повторял он, и что я мог ему сказать? Разве что горько-шутливо: «Беги на Дон к Каледину», и он улыбался, но улыбка не прогоняла тоску из его глаз.

Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить «Жизнь и судьбу» какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране? Ведь уже был пример, уже разразилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман «Доктор Живаго». Почему Гроссмана, по его собственному выражению, «задушили в подворотне», почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?

Затрудняюсь ответить на эти вопросы. Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал. Впрочем, мне вспоминается следующее. Однажды в больнице за месяц-полтора до своей смерти Гроссман спросил у меня: «Ты читал Жореса Медведева о шарлатане Лысенко?» Я не читал. «Говорят, что автор отправил свою рукопись за границу, а она вернулась к нам уже в виде книги, по Москве ходит. Мне об этом на днях рассказали. Как ты думаешь, и я мог бы так поступить?..» Ответа моего он не дождался, впал в забытие, закрыл глаза...

У Гроссмана вышел отдельной книжечкой рассказ «Жизнь» в Югославии, кое-что печаталось в Польше. Из Чехословакии он получил роскошное издание романа «За правое дело», один его рассказ был переведен в Китае, какие-то вещи переводились на английский, немецкий, испанский. Но все это происходило самотеком, без какого-либо контакта с издателями, переводчиками. Мне известно, что даже в годы более поздние, даже после выхода в свет повести «Все течет» иностранные корреспонденты не проявляли к судьбе Гроссмана никакого интереса. Странный народ, нам их не понять, как и им нас.

При всей своей подавленности Гроссман втайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, «этюды оптимизма» документы XXII съезда партии. Он решил поговорить с Д. А. Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, потом Поликарпов опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу. Поликарпов, однако, как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: «Многократный орденоносец, член правления Союза писателей, а что написал!» Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК. Если не ошибаюсь, он же посоветовал поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними.

Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей РСФСР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым. По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250. Мягче других был Щипачев, слову «вредный» он предпочитал «субъективный».

Гроссман написал письмо Хрущеву. Копия письма сохранилась. Письмо составлено в том духе, в каком, начиная от Пушкина, составлены все письма писателей на вы-

сочайшее имя, и исполнено собственного достоинства, бесстрашной веры в свою правоту, в то, что немыслимо новое общество «без непрерывного роста свободы и демократии».

Вот это письмо:

«Первому секретарю ЦК КПСС
Никите Сергеевичу Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич!

В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала «Знамя». Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский.

В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи «Жизнь и судьба», рукопись была изъята из редакций журналов «Знамя» и «Новый мир».

Таким образом закончилось обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.

После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д. А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС.

Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, происшедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.

Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в моей книге есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.

Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.

В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, — писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.

Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.

Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.

Редактор журнала «Знамя» Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: «Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть». Другой сказал: «Однако печатать книгу можно будет через 250 лет».

Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга «Жизнь и судьба» не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.

Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу это то же, что отнять у отца его детище.

Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.

Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее

радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства — Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.

Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.

Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?

Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя — клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции «Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.

Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?

Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.

Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне непрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется невысказанным.

Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.

Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочным ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год-полтора назад — до XXII съезда.

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотrudники Комитета Государственной Безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.

Глубоко уважающий Вас В. Гроссман.

Москва, Беговая, 1-а, корп. 31, кв. 1.

Тел. Д-3-00-80. доб. 16».

Гроссман надеялся на то, что сумеет убедить Хрущева, что если книгу не напечатают, то хотя бы вернут ему рукопись. Он не видел «смысла в нынешнем положении» Но

разве мощь насилия не заключается в его бессмысленности?

Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро — через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Суслову.

Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу. Когда Гроссман умер, вдова передала эту существовавшую в единственном экземпляре запись беседы с серым кардиналом в спецхран ЦГАЛИ. Ольга Михайловна с удовлетворением мне сообщила, что секретарь московского отделения Союза писателей генерал В. Н. Ильин одобрил этот ее поступок. Святая простота.

Увы, я помню из этой записи, крайне интересной, — что легко себе представить, — далеко не все. Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как «Народ бессмертен», «Степан Кольчугин», военные рассказы и очерки. «Что же касается «Жизни и судьбы», — сказал Сулов, — то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу». Сулов спросил, на что Гроссман теперь живет. Узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал: трудновата, мол, такая двухступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату — выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без «Жизни и судьбы». Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Сулов сказал: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести — триста лет».

Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу — от писателей-функционеров к Сулову или сверху — от Сулова к ним. Разговаривая, Сулов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа. По словам Гроссмана, рецензии были довольно большие, на глаз — по 15—20 страниц каждая.

Недавно выяснилась примечательная подробность.

Два дачных соседа Черноуцана, некогда ответственного работника отдела культуры ЦК, сообщили мне каждый в отдельности, что Черноуцан им сказал, что он был одним из рецензентов «Жизни и судьбы» и посоветовал изъять роман, а Гроссмана не трогать: последнее ставит себе в заслугу.

Чтобы покончить с пятитомником. Собрание сочинений Гроссмана так и не вышло в свет, обещание Суслова осталось невыполненным. В Гослитиздате долго мурьжили, в одном из писем ко мне Гроссман жалуется на то, что директор издательства Владыкин «крутит, уваливает от ответа». В другом письме, в конце 1961 года, Гроссман писал:

«Сегодня позвонили из «Нового мира», Дементьев * сообщил, что рассказ у них не пойдет. Разговор противный.

Не поздравляй меня пока с собранием сочинений, ведь план издательства еще не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него — стою на подножке».

Как Гроссман предсказывал, его вышибли из плана. После его смерти я как член созданной правлением Союза писателей комиссии по литературному наследству Гроссмана имел по поводу собрания его сочинений (Гроссман успел составить подробное содержание каждого тома) разговор с новым директором издательства В. А. Косолаповым, который при всей своей официальной тертости мог увлечься литературным событием. Косолапов отнесся к делу сочувственно, посоветовал, чтобы я выступил с предложением издать пятитомник Гроссмана на ближайшем заседании редсовета, но чтобы перед этим в издательство обратились с письмом видные писатели. Было подготовлено письмо. Его подписали Эренбург, Твардовский, Паустовский, и с помощью Косолапова собрание сочинений Гроссмана снова вставили в план редакционной подготовки. С Ольгой Михайловной заключили договор на составление пятитомника, она сдала в издательство первые два тома, даже получила мелкие (для нее крупные) деньги, но издание отпихивали из года в год, пока эту позицию (такое слово они употребили) не вычеркнули из плана навсегда — после выхода за рубежом повести «Все течет».

Гроссман старел на глазах у близких. В его курчавой голове поприбавилось седины, появилась на макушке лысинка. Астма, которая отпустила его на некоторое время,

* Заместитель Твардовского в «Новом мире». Не помню, о каком рассказе пишет Гроссман. Думаю, что о «Тиргартене».

вернулась к нему опять. Походка его стала шаркающей. Телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули. Болезненно воспринял он поведение детского писателя Р. И. Фраермана, давнего своего друга, которого он любил. Гроссман мне писал: «Звонил Рувим, разговор длился долго — четыре минуты. Но все же позвонил, хорошо и это».

А Гроссману нужны были друзья, приятели, собеседники. Чего эти люди испугались? Ведь Сталина уже не было. Я с особенной силой понял положение Гроссмана в последние годы, когда после моего выхода из Союза писателей нечто подобное, в меньшем объеме, произошло со мной. Два моих школьных товарища, а мне пошел 73-й год, не трудно прикинуть, сколько лет мы были дружны, перестали со мной общаться. Я даже не знаю, живы ли они. Но у меня появились и здесь, и там новые чудесные друзья. А Гроссман этим судьба не баловала. Правда, в Коктебеле он познакомился с критиком Л. Лазаревым и поэтом Н. Коржавиным. Они были к нему внимательны, понимали значение его таланта. Оба пришли к нему по душе, особенно его поразила Коржавин с его поэтическим мышлением и непоэтической внешностью. Гроссман был обоим благодарен за доброе к нему отношение.

Не печатающийся, изгнанный из литературы, он продолжал не только писать, но и живо интересоваться всем новым, что появилось в печати. Его удивил своим озорством «Звездный билет» Аксенова. Он обрадовался повести Войновича «Мы здесь живем», «Большой руде» Владимова. Он говорил, что у этих писателей большое будущее. Он не дождался до того, чтобы узнать знаменитого Чонкина, верного Руслана, магаданские страницы «Ожога», двор посреди неба, но я уверен, что высоко оценил бы эти прекрасные фундаментальные вещи. Он увидел по телевидению вечер поэзии в Лужниках и с большим удовлетворением сказал мне, что задорные молодые имели у многочисленной публики гораздо больший успех, чем стихотворцы-чиновники, одетые в броне званий и должностей.

Однажды он позвал меня к себе и с ликованием, неожиданным для меня, дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером зека. Я сел читать — и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких помятых страничек. Читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был «Один день Ивана Денисовича». Гроссман говорил: «Ты понимаешь,

вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый, огромный талант. Кто у нас равен ему?»

О Солженицыне более подробно Гроссман узнал от сотрудницы «Нового мира» Анны Самойловны Берзер. Он почему-то ждал, что Солженицын придет к нему, хотел встречи с ним. Но им так и не суждено было встретиться.

Гроссман дал мне прочесть и другую попавшую к нему рукопись — «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург. Он с похвалой отозвался об авторе, считал, что книга написана очень талантливо, удивлялся памяти незнакомой ему писательницы.

В письмах ко мне разных лет есть замечания Гроссмана о литературных произведениях. Думаю, будет уместно, если я эти замечания здесь приведу.

«Прочел роман Кочетова „Братья Ершовы“. Подлое, ничтожное произведение, построенное по схеме столь примитивной, что она может возникнуть в голове петуха, судака, лягушки. Тираж 500 000. Одно утешение — бездарно. Знаешь, ведь особенно больно, когда имеешь дело с Гамсуном, тогда возникает сложность. А здесь этой сложности нет, все просто и ясно, как в пословице о пчелах и меде *».

«Читал ли ты Эренбурга в № 1 „Нового мира“? Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость в понимании того, что лязя, а чего нельзя».

«Прочел я книжку Лема „Вторжение с Альдебарана“. Редко книга нагоняла на меня такую тоску, как э т а , — тоску не от скуки. Книга интересная, и автор с искрой в голове, но от книги тоска и противно».

«Прочел Моруа „Жизнь Флеминга“, — прочти, если попадется тебе, довольно интересно, а местами и вовсе интересно, шотландец он, характер — вещь в себе, но вещь».

«Читаю мало, прочел книжку Датта „Философия Махатмы Ганди“. Читал ли ты ее? Если нет — дать тебе ее, интересная очень».

«Прочел книгу Юрия Давыдова „Март“ — о народо-вольцах. Прочти ее непременно. Что-то в ней есть очень хорошее. Хотя автор не крепкий, а в книге много хорошего. Там интересно и много о Плеханове, без „но“. Впервые, пожалуй, так у нас о Плеханове написано без „но“».

«Прочел в „Огоньке“ рассказ маленький Казакова. Мне кажется, автор талантлив. Не зря шум. Он несколько ма-

* Гроссман любил эту пословицу: «Г... пчелы, г... мед».

нерен, сильно влияние Чехова. Но, слава богу, есть на кого влиять. Елизару Мальцеву такого упрека не сделаешь».

«Прочел в „Огоньке" перевод поэмы Турсун-Заде. Переводчик — Семен Липкин. Читая, вспомнил и перефразировал одесскую формулу: „Форма — во! Но морально тяжело". Хорошо поет проклятая цыганка!» *

«Прочел Дудинцева в двух номерах — хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) реальные. Это очень важно, т.к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо — любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых. Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы, как-то: чет — нечет, черное — белое, брехня — правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос. Им будет интересно заняться, когда таких произведений — реальных — станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала и всяческой удачи».

«Прочел очень прелестные и пустые стихи Пастернака „Быть знаменитым некрасиво". Я думаю, что если бы Бор[ис] Леон[идович] хоть полчаса думал, что он не знаменит, то он подобно другому поэту «повесился бы на древе» **, не смог бы жить. Но и он въехал в прерию, удачи ему! Путь его нелегок, долгий, трудный».

«Читал ли ты рассказ Войновича в „Новом мире"? Прочти, талантливо. Талант в правде. Об авторе с симпатией рассказывала Анна Самойловна».

«Продолжаю читать Ямпольского. Странное дело. Талантливо написано, все мило и все не то. Как песок».

«На днях прочел у Вольтера: „Надо быть новым не будучи странным, часто высоким и всегда естественным". Как хорошо сказано!»

Конечно, не все гроссмановские высказывания о литературе заключены в его письмах, мы ведь разлучались не очень часто, а встречались, когда не были в разъездах, каждый день и беседовали и о литературе, о людях, и о многих других превосходных вещах — от археологических раскопок Бактрийского царства до новейших открытий физики.

* Слова матери Тургенева о Полине Виардо.

** Единственные стихи моего младшего сына, когда ему было 12 лет: «Когда б я увидел древо, повесился бы на месте». Строки эти рассмешили моих друзей, их не раз в тяжелую минуту повторяла А. Ахматова.

Читателя может покори́ть замечание Гроссмана о стихах нашего великого поэта. Необходимо разъяснение.

Гроссман хорошо чувствовал, понимал силу стихотворного слова. Напомню, что в «Жизни и судьбе» он полностью приводит насыщенное страстной, страдающей мыслью стихотворение Волошина или удивительное стихотворение безымянного поэта «Мой товарищ, в смертельной агонии...» Он любил, отлично знал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, из более поздних — Бунина, Есенина, но то, что теперь принято называть «магией», не завораживало его, если в «магических» стихах не было ясного смысла, важного для людей. Отсюда его отношение к Пастернаку, Мандельштаму, ко всем поэтам серебряного века, начиная с Блока. Он брал у них только то, в чем нуждались его душа и разум. Поскольку зашла речь о Пастернаке, мне вспоминается такой эпизод.

Где-то в середине пятидесятых, будучи в доме творчества в Дубултах, на Рижском взморье, мы познакомились с писателем Д. Я. Даром, очаровательным человеком. Дар был мужем В. Ф. Пановой. Он покидал Дубулты раньше нас и приглашал в Ленинград, обещав забронировать для нас номер в гостинице. По его словам, Панова давно мечтает познакомиться с Гроссманом. Вот мы и приехали из Риги в Ленинград, позвонили Дару и были приглашены в гости. Панова оказалась женщиной острого ума, с ней интересно было беседовать. Гроссман заметил — нельзя было не заметить, — что чуть ли не полстены в ее кабинете увешаны фотоснимками Пастернака. Гроссман удивился. Панова объяснила: «Пастернак — самый любимый, самый дорогой мне из современных русских поэтов, он мой кумир». Когда мы покинули гостеприимный дом и пошли пешком до гостиницы «Октябрьская», Гроссман мне сказал с раздражением: «Не верю ей. Что ей, с ее беллетристкой, трудный, сложный Пастернак? Выкомаривается».

Проходит несколько лет, начинается тотальная травля Пастернака, его собираются исключить из Союза писателей, и вот из Ленинграда приезжает в Москву Панова, чтобы как член правления участвовать в «процессе исключения». «Для чего она это сделала? — бушевал Гроссман. — Ведь даже писатели-москвичи, сохранившие немного порядочности, сидели дома, объясняли, что больны. А эта из Ленинграда приехала, чтобы исключить самого дорогого, самого любимого своего поэта, своего кумира. Помнишь, как Коля Чуковский с придыханием в своем гуттаперчевом голосе читал нам стихи Пастернака, и вот он выступил, подал этот самый

голос за исключение поэта. Господи, почему так огромен твой зверинец!»

Сам он в эти тяжкие для русской культуры дни написал Пастернаку письмо. Насколько я помню, в письме он не касался трагических событий, только с большой сердечностью пожелал поэту здоровья и покоя.

Я долго пытался познакомить Гроссмана с Ахматовой, но безуспешно. Ни он, ни она не проявляли особого желания. Я не уверен, что Ахматова читала Гроссмана, хотя, когда случилась с ним беда, участливо расспрашивала меня о нем. Что же касается Гроссмана, то я думаю (это звучит малоубедительно), что он разочаровался в ней, узнав от меня, что она терпеть не может Чехова. А Гроссман боготворил Чехова, знал наизусть многие страницы его произведений, даже многие его письма. «Как может русский писатель не любить Чехова», — возмущался он. Гроссман часто в бытовой речи цитировал расхожие строки Ахматовой, вроде «Как ты красив, проклятый» или «У разлюбленной просьба не бывает». Он понимал прелесть ее поэзии, но не постиг величия этой поэзии. Анна Андреевна подарила мне экземпляр рукописи «Поэмы без героя». Я позвал Гроссмана к себе, прочел эту поэму. Потом он стал читать ее сам, подняв на лоб очки, но восторгов моих не разделил.

Из писателей-современников Гроссман выше всех ценил Булгакова, Платонова, Зощенко, Бабеля, восхищался «Печалью полей» и некоторыми рассказами Сергеева-Ценского, в особенности его «Приставом Дерябиным», «Ибикусом» и «Детством Никиты» А. Н. Толстого, как я уже писал, «Тихим Доном». Были у него и неожиданные пристрастия, например, высоко ставил рассказ Никандрова «Во всем дворе первая». Он почитал Вересаева как человека, запомнил его роман «В тупике». Однажды спросил меня, читал ли я вересаевский перевод «Илиады». Я сказал, что в этом переводе нет музыки, нет той мощи, которая есть в переводе Гнедича. «Знаешь, — сказал Гроссман, — я „Илиаду“ не читал. Неужели ты ее осилил?» Я ответил, что с детства самые любимые мои книги после Библии, конечно, «Илиада» и «Одиссея», что Толстой изучил древнегреческий, чтобы прочесть «Илиаду» в подлиннике. Через некоторое время он поделился со мной впечатлениями от прочтения «Илиады». Он был ею восхищен: «Мы спешим прочесть современников, а многие ли из них останутся? Какая живая книга „Илиада“, она о нас».

Гроссману нравилась «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Растратчики» Катаева, он считал, что истинное призвание этого блестящего писателя — юмор, что на-

прасно Катаев, житейского успеха ради, пошел не своей дорогой.

Сурово-прямой, непримиримо требовательный, аскет-францисканец в литературе, он то с горечью, то негодуя наблюдал, как постепенно теряют свой облик крупные таланты, например А. Н. Толстой. А о тех, у кого, по его мнению, Божьего дара не было, а только литературные способности, говорил без горечи, презирал их.

Он пытливо, сосредоточенно выслушивал мои рассказы о знакомых мне писателях, погибших в сталинское время, о Мандельштаме, Бабеле, Булгакове. Гораздо меньше других я знал Марину Цветаеву, с которой впервые встретился у ее подруги ранних лет поэтессы В. К. Звягинцевой. Марина Ивановна пожелала со мной познакомиться, потому что редактировала тогда перевод на французский язык главы из калмыцкого эпоса «Джангар», мной переведенного на русский. Я провел с ней целый памятный день, от девяти часов утра до поздней ночи в ноябре или в начале декабря 1940 года. Больше с того дня я с ней не виделся. Мы только разговаривали несколько раз по телефону. Странно, что Цветаева, более туманная, чем бывал Пастернак, не говоря уже о прозрачной Ахматовой, была близка душе Гроссмана, который упорно следовал вольтеровской максиме — «надо быть новым, не будучи странным». «Как просто, — радовался он, — Цветаева спрашивает: „Мой милый, что тебе я сделала?“ Просто и сильно». Возможно, что Гроссмана восхищала наступательная ярость Цветаевой, ее открытость, буйно разрывавшая синтаксические завесы.

Мне трудно отказать себе в желании привести здесь кое-что из моих рассказов — хотя бы потому, что в моей памяти жива реакция Гроссмана на эти рассказы.

После многочасовой прогулки по Замоскворечью понадобилась Цветаевой уборная, о чем она мне сказала с руссоистской непринужденностью. В Москве, вдали от центра, это и сейчас проблема, а до войны она стояла особенно остро. Я вспомнил, что недалеко, на Большой Полянке, я как-то заприметил вывеску райисполкома, и уверенно повел туда Марину Ивановну. Мы вступили в здание, и я быстро нашел то, что нужно было моей спутнице. Когда мы вышли, Цветаева спросила: «Все москвичи так поступают?» Я ответил, желая вызвать ее улыбку: «Только те, кто понимает значение райисполкомов», но улыбки не вызвал. Марина Ивановна не обратила внимания на мою шутку, разве что пожала плечами. На ней был не по сезону тоненький заграничный плащ.

Она рассказывала мне о своем друге Бальмонте, полунищем и почти утратившем память, о Мережковских, отвечала на мои жадные расспросы о Ходасевиче. Говорили и о советских поэтах. Запомнилось о Кирсанове, о его версификации: «Мотор грузовика дан игрушечному автомобильчику».

Мы направились в музей, созданный ее отцом, пробыли там часа два. Марина Ивановна проголодалась. Я предвкушал наслаждение угостить ее роскошным обедом в «Национале», деньги у меня тогда водились. Но Марина Ивановна, несмотря на свою близорукость, рассмотрела рядом с музеем столовую на улице Грицевец. Это была столовая строителей метро. Как я ни уговаривал Марину Ивановну, упирая на то, что здесь — обжорка, а «Националь» — в двух шагах, она не хотела меня слушать. Столовая была полутемная, душная, нас обдал стойкий, кислый запах суточных щей. Едоки обслуживали себя сами, раздатчица налила эти самые щи в плохо вымытые тарелки — двигались в очереди с подносами в руках, — и мы сели за грязный столик, но Марина Ивановна с удовольствием уплетала и щи, и хлебномышные котлеты с разваренными, слипшимися макаронами. Она вынула из кармана в плаще страничку и дала мне ее со словами: «Рецензия Зелинского на мой сборник для „Советского писателя“». На страничке было напечатано несколько строк. Недавно я узнал, что это была лишь заключительная часть рецензии. Вся же рецензия была настолько гнусная, что в издательстве ее не решились показать Марине Ивановне (тогда рецензии авторам показывали). В строках же, которые я прочел, указывалось, что ничего политически вредного в стихах Цветаевой рецензент не усматривает, но наша советская поэзия так далеко ушла вперед, что стихотворные опыты Цветаевой покажутся читателю давно пройденным этапом, анахронизмом, поэтому нет нужды издавать ее сборник.

Когда я рассказал об этом Гроссману, у него под роговыми очками заблестели глаза. Он сказал: «Все ужасно, и не только эта б... Зелинский. Ты знаешь, мелочи, конечно, плащик зимой, кислые щи, а есть в них нечто чудовищное. Цветаева — тонкий, изысканный поэт — и метростроевская обжорка. Я думаю, что судьбы Цветаевой, Ахматовой труднее судьбы княгини Волконской, вот о них, о таких, как они, и создать бы поэму „Русские женщины“. Написал бы, а?»

«Мне было восемнадцать лет, — в другой раз рассказывал я ему, — когда поселился в Кунцеве недалеко от Багриц-

кого. Он-то и приискал мне пристанище. Обычно я проводил у него вечера. Однажды — это было в апреле тысяча девятьсот тридцатого года, к Багрицкому приехал Бабель. Я впервые увидел его: невысокого роста, плотного, с мудрыми равнинскими глазами. Из слов Бабеля я понял, что он давно не был в Москве, жил где-то в деревенской „глубинке". Он произнес фразу, которую я запомнил навсегда: „Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей"».

Гроссман сказал: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он, умница, талант, высокая душа, произнес эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Правда ли это? Почему таких необыкновенных людей — его, Маяковского, твоего Багрицкого — так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти? И почему Бабель водился с темными личностями на бегах, с приставленным к нему Кожевниковым? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное».

Во время «великого перелома» в Москве заканчивал свое существование альманах «Недра». Станный это был альманах! Им завладели «кузнецы» — пролетарские ортодоксы Гладков, Новиков-Прибой, Ляшко, Бахметьев, Никифоров, высокий, усатый, похожий на пожилого рабочего из плохого кинофильма, его все называли Жора, он был впоследствии репрессирован, но активно продолжали сотрудничать в альманахе и такие писатели совершенно из другого мира, как Вересаев, Замятин, Булгаков.

«Недра», по рекомендации заведующего стихами С. А. Обрадовича, приняли к печати мою юношескую слабую поэмку об убийстве селькора на Одессине: убил его земляк из ревности, но в газетах загудели, что по идейным соображениям, — классовая ненависть. Прихожу я в редакцию (она помещалась на Варварке, в старинном ветхом доме), а секретарь редакции, писатель-кузнец Дмитриев, говорит мне, что цензура зарезала мои стихи: «Возьми на память гранки». Так, девятнадцатилетний, я впервые столкнулся с цензурой. Я был в замешательстве, не знал, что мне делать. Уйти или чего-то ждать. В глубине комнаты сидел человек, лицо которого мне показалось не только красивым, но и значительным. Что-то было в этом лице необычное, несуетское, что-то из прежней жизни. Посмотрев на меня, он дернул головой в сторону, и я подумал, что этот человек почему-то мной недоволен. Не потому ли, что цензура запретила мою поэму? Позднее я узнал, что он страдал

нервным тиком. Незнакомец был в мятом, заношенном, кургузом пиджаке, в накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потертыми краями виднелись старорежимные твердые манжеты. Он мне сказал: «Выше голову, мой юный пиит, вы начинаете в лучших русских традициях — с цензурного запрета». Это был Булгаков. Он великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актера у Страстной. Мы направились к площади Ногина, чтобы сесть в пятнадцатый номер трамвая. На площади чернела большая толпа: давно не было трамвая. «Видно, давно нет трамвая», — тонко заметил я, а Михаил Афанасьевич сказал: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Гроссману мой рассказ (дальнейшее продолжение которого здесь неуместно) запомнился. Подобно всем нам, Гроссман еще не знал «Мастера и Маргариты», но всегда воспринимал Булгакова как чудо русской литературы. «Подума й , — говорил о н . — Габрилович * был его соседом по Нащокинскому, у них был общий балкон, разделенный перегородкой, но ни разу не попытался поговорить с Булгаковым, видно, были дела поинтересней. Не дела — делишки». Когда возникали не совсем понятные события, Гроссман любил повторять: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Несмотря на арест романа, несмотря на горестные обстоятельства в личной жизни, несмотря на материальные затруднения, несмотря на ухудшение здоровья, Гроссман продолжал ежедневно работать. «Графоманы все же упорны». Он написал несколько великолепных рассказов — только часть их напечатана. Новово переписал повесть «Все течет» — увеличил ее почти вдвое. Сохранилась магнитофонная запись одного его рассказа. И мы, близкие, чтобы услышать его голос, включаем 12 декабря, в день рождения Гроссмана, магнитофон. Рассказ называется «В большом кольце». В основе рассказа лежат впечатления дочери его друга студенческих лет, Вячеслава Лободы.

Подмосковная дача. Девочка, дочь высокоинтеллектуальных родителей, только и слышит в семье «Дмитрий Дмитриевич» (Шостакович), «Лев Давыдович» (Ландау). Она обожает отца, видимо, известного искусствоведа, такого умного, ироничного. И вот у нее приступ аппендицита, ее отвозят в ближайшую районную деревенскую больницу.

* Известный сценарист. Гроссман во время войны служил с ним в «Красной звезде».

А там — другая жизнь. В палате — старуха-матерщинница, злая и одновременно, как часто у Гроссмана, добрая, роженица — безмужняя девушка, работающая на стройке, которая сама точно не знает, от кого у нее должен родиться ребенок. И чего только не наслушалась в палате девочка из советского истеблишмента! Оказывается, не в ее доме, а в деревенской больнице — правда жизни, грубая, нищая и прекрасная. Слышит она и такую утешительную притчу. Лежат в одной больнице две роженицы: жена лейтенанта из расположенной поблизости военной части и простая девушка, на которой отец будущего ребенка не хочет жениться. Обе рожают в один день. Жена лейтенанта не хочет кормить ребенка, ей надо сохранить красивую грудь, и обоих детей кормит простая девушка. Об этом узнает лейтенант и, когда наступает день выписки, увозит к себе не жену, а безмужнюю девушку с двумя детьми — с ее ребенком и своим. Дочь искусствоведа, вернувшись домой, начинает иными глазами смотреть на своего отца, на знакомых, видит их ложь, пустоту, черствость. Пронзительный рассказ, хорошо бы его напечатать, чтобы читатель узнал первоисточник, а не мое топорное изложение.

Так и вижу Гроссмана, выгуливающего вечером на дворе пуделя Пуму, порой собака вырывается из его рук, поскольку он подолгу стоит на месте, заглядывая в чужие окна на первом этаже, — его писательское любопытство было выше условностей. Бывая в гостях, любил он заходить на кухню коммуналки, хотел узнать, что совершается в глубине квартиры, в ее сокрытом от гостей тылу. Точно так же, когда он писал книгу об Армении, он заходил во внутренние дворы, потому что там открывалась «людская жизнь»: и нежность сердца, и нервные вспышки, и кровное родство».

Однажды ко мне подошла в Доме литераторов непременная, многочасовая его посетительница Асмик (фамилию забыл), армянка, похожая на черный колобок, и сказала мне, что она перевела с армянского большой роман Рачия Кочара на военную тему, но автор считает, что ее перевод лишь подстрочник (так оно и оказалось), нужен для обработки хороший писатель, желательно с именем и фронтовик, так не могу ли я кого-нибудь порекомендовать. Писателя-переводчика пригласят работать в Армению, республика оплатит дорожные расходы, местное издательство заключит с ним договор. Я подумал, что неплохо бы Гроссману поехать в Армению, да и гонорар за перевод романа нужен сейчас Гроссману позарез, и обещал обрадованной Асмик с ним поговорить.

Впоследствии, в «Добро вам», Гроссман выведет Асмик под именем Гортензия («Асмик» по-армянски — жасмин).

Я не был уверен в удаче своего предприятия. Гроссман, даже когда с деньгами было туго, не любил писать на заказ. Давно, после неожиданного удара по пьесе «Если верить пифагорейцам», он спросил у жены: «Что же мне теперь делать?», а Ольга Михайловна ответила: «Пиши сценарии», он часто вспоминал и не мог ей простить эти слова. На моей памяти он только один раз откликнулся на предложение заказчика — театра имени Вахтангова — написать пьесу. Он инсценировал один из своих военных рассказов. В центре пьесы — старый учитель Розенталь, который полагает, что истребление евреев было «арифметикой зверства, а не стихийной ненавистью... но счетоводы просчитались». Пьеса получилась печальная, умная, по-моему, очень сценичная, однако Вахтанговский театр от нее отказался: уже в 1947 году еврейская тема вызывала отталкивание. Гроссман отдал пьесу С. М. Михоэлсу — с тем, чтобы ее перевели на идиш. Соломона Михайловича пьеса «Учитель» восхитила. Я с ним был хорошо знаком (нас еще до войны познакомил Самуил Галкин, в поэтическом переводе которого театр Михоэлса поставил «Короля Лира»), мы вместе с Гроссманом несколько раз посетили Михоэлса в его квартире около старого здания ТАСС, он делал автору замечания, в которых блестящий ум неназойливо сочетался с прирожденным чувством театра, пили вишневку, приготовленную женой Михоэлса — единственной, кажется, в нашей стране представительницей знатного польского рода.

Мы провожали Михоэлса в его последний путь, он уезжал в Минск по пустяковому делу — для просмотра какой-то пьесы, выдвинутой на соискание Сталинской премии. Помню перрон Белорусского вокзала, помню прекрасное уродливое лицо Михоэлса, его глаза каббалиста и колдуна, сардонически выпяченную нижнюю губу — и неспешные слова, произнесенные на великолепном, по-актерски артикулированном русском языке: «Я уверен, что сыграю роль учителя. Это будет моя последняя роль». Помню и другого неповторимого актера — В. Л. Зускина. Мы втроем махали рукой отъезжающему Михоэлсу. Он так и не сыграл свою последнюю роль. Нет, он сыграл ее, но не на сцене. Как и герой пьесы Гроссмана, он умер от руки убийц. Минской темной ночью его сбил грузовик, его убили те же силы, которые убили учителя Розенталя.

Провожали мы Михоэлса и в последний земной путь. Огромная толпа двигалась по Тверскому бульвару и по бо-

ковым улицам от здания ВТО *, где Михоэлс лежал в гробу, до Малой Бронной, где помещался ГОСЕТ, Государственный еврейский театр. Михоэлса хоронило Государство, хоронило торжественно — иначе, совсем иначе хоронило оно ближайших друзей великого артиста — поэтов, писателей, актеров. Настоящая фамилия Михоэлса — Вовси, он двоюродный брат знаменитого врача Вовси, профессора, одного из главных обвиняемых по процессу врачей-убийц. Врача после смерти Сталина освободили, он остался жив.

Я не думаю, что отклонился далеко в сторону. Перейду от еврейской темы к армянской. Гроссману понравилась возможность поездки в Армению. Он сказал: «Если роман не подлый, буду переводить. Хорошо, что он, как ты говоришь, большой. И деньги нужны, и на душе скверно, может быть, поденщина поможет».

Асмик принесла свой толстенный подстрочник, роман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: «Подстрочники всегда такие безграмотные?» Первого ноября он сел в поезд. Из Армении он мне часто писал. Я хочу, чтобы читатель познакомился с некоторыми из этих писем. Интересно будет сопоставить последнюю книгу Гроссмана «Добро вам» с его непосредственными армянскими впечатлениями. И какая жизненная сила заключена в письмах писателя, «задушенного в подворотне». Я привожу эти письма с сокращениями, касающимися обстоятельств — его и моих — сугубо личного характера.

4.XI.1961

Дорогой Сема, вот я приехал в Армению. Мне кажется, что именно ты с особой силой ощутил бы то, что составляет душу этой совершенно удивительной страны, это соединение невероятной суровости каменной земли, синего базальта, тысячелетних храмов, дивной древности и сегодняшней жизни. Знаешь, я все думаю, что ты удивительно глубоко ощутил бы Армению — с ее библейским совершенно прошлым, с ее библейским пейзажем и с ее живой сегодняшней, южной, смуглой, трудной, шумной жизнью, — с невероятным трудом вырубаящих хлеб из базальта крестьян и мощных ереванских деляг, звенящих от личной инициативы.

Боже, если бы ты знал, сколько в Ереване армян! Самыньки армяны...

* Всероссийское театральное общество.

В Ереване меня должен был встретить Кочар, но перепутал сроки прихода поездов, и я оказался на перроне один. Вспомнил наше прибытие в Тифлис и твои команды: «Цветы вперед, дети к вагону, он это любит, оркестр отойдите, речей не надо, он это не любит» *.

Вот я и стоял с довольно-таки горьким чувством на опустевшем перроне, потом сдал вещички на хранение, потом пошел садиться в автобус, искать Кочара. Что скажешь, кроме того же: он это любит.

В Грузии тепло, зелено, проехали Гори, там огромный портрет Сталина в форме маршала, по бокам скромные портреты Ленина и Хрущева. В Тбилиси вокзал веселый, оживленный. Окон там не стеклили. Ереван хорош, хороши дома из розового туфа, площадь грандиозная. Но нет той прелести, что мы видели в Тбилиси. Над городом могучий монумент на холме в военной шинели — Сталин. Он настолько величественен, огромен, что в памятнике какая-то мистическая, нечеловеческая мощь. Сегодня Кочар возил меня на Севан. Но знаешь, Иссык-Куль все же сильнее **, все горы вокруг него белее. Но зато на Иссык-Куле нет ресторана «Минутка», где подают розовую, выловленную только что из воды форель. Завтра по твоему завету еду в Эчмиадзин — резиденцию католикаса. Напишу тебе об этой поездке. Живу в гостинице «Армения» на втором этаже, комната маленькая, но с ванной и — да простит меня Шолохов *** — с добрым клозетом индивидуального пользования. Вероятно, 10—12 поедем работать в дом отдыха под Ереваном...

9.XI. 1961

...Я живу в Ереване, город мне нравится. Погода хорошая, днем тепло, солнце, а ночью дожди. Позавчера лил такой ливень, что я подумал — хорошо, что Арарат рядом.

* В 1956 году мы с Гроссманом совершили поездку по маршруту Москва — Нальчик — Махачкала — Баку — Тбилиси — Сухуми. Всюду нас хорошо встречали благодаря моим крепким связям, за исключением Баку, там связей не было, устроиться в гостинице мы не могли, поехали в Тбилиси. Гроссман был огорчен, и в поезде я сочинил и играл сцену его предполагаемой торжественной встречи в Тбилиси.

** В 1948 году мы поехали в Киргизию, были на высокогорном озере Иссык-Куль. Гроссман об этой поездке написал очерк.

*** Шолохов в своей речи на одном из партийных съездов призывал писателей для подъема творчества покинуть столицу с ее санитарными удобствами и жить на селе.

Арабат перед моим окном. Утром он розовый, днем сияет белизной, вечером тоже розовый. А иногда его закрывает облаками дым ереванских фабрик.

Был в Эчмиадзине, храмы огромной древности сохранились до наших дней. Конечно, они обновляются. Архитектура их поражает — гениально простая. Под главным, ныне действующим собором в земле скрыт языческий храм 1-го века, и прямо под алтарем находится жертвенник языческий, страшный, темный котел. А в храме при мне крестил девочку молодой армянский священник.

Принял меня католикос — Восген Первый — в патриарших покоях. Это светский человек в черной шелковой рясе, лет 50-ти, с добрыми красивыми глазами и с губами Куаньяра, любившего «хвалить господа в творениях его». Католикос выпил за мое здоровье рюмку коньяка. Мы беседовали о литературе и пили черный кофе. Обслуживал это дело монах, молодой человек, невероятно красивый. Любимый писатель Восгена Первого — Толстой, тот, которого церковь предала анафеме. Восген — автор работы о Достоевском, он сказал мне, что без Достоевского невозможно человекознание. Все было хорошо, интересно, но бога в Эчмиадзине я не видел.

Едят тут вкусно — все, что должно нравиться человеку. К еде подают много пряных приправ. Пьют коньяк — три звездочки. Цены на рынке высокие, московские, фрукты дорогие. Но в магазинах много продовольствия. Видел драку — молодой армянин хотел зарубить топором толстую даму, тоже армянку, видно, жену свою. Его окружили старухи, но он и на них занес топор. Все обошлось без крови, но крику было много. И произошло это на фоне Арабата, знаешь, это какое-то особое впечатление — снежная святая гора и топор в руках жгучего брянета.

Я работаю, твоему совету в данном случае следовать не могу — уж очень нервы у меня напряжены, спешу, спешу... Не отдыхается. Да и тоскливо бывает очень, хотя впечатлений много...

Я прерву выписки из армянских писем В. С. Гроссмана, чтобы сказать несколько слов о Ваггене (так правильно — не Восген, как у Гроссмана, — пишется имя католикоса всех армян).

Я тоже имел честь быть представленным католикосу, когда мы вместе с Инной Лиснянской приехали весной 1972 года в Эчмиадзин. В один день с нами католикос принял известную актрису из Латинской Америки Лолиту Торрес.

С ней католикос говорил по-испански, со мной — по-немецки. Он сказал, что мы хорошо поступили, приехав в Армению в печальную годовщину геноцида 1915 года. Он обворожил нас своей приветливостью, его прекрасные глаза лучились умом и добротой. В отличие от Гроссмана, я увидел в нем человека, глубоко и простодушно верующего. Истинное религиозное чувство всегда явственно, всегда открыто собеседнику.

Он заботливо сказал нам, что сейчас он проследует в храм и чтобы мы пошли вслед за ним, иначе не пробьемся сквозь толпу. И вот по длинному коридору двинулся католикос в сопровождении высших иерархов армянской церкви, все — в фиолетовых рясах, а за ними — мы, безвестные гости.

Началась молитва поминовения усопших. Во время богослужения католикос молчал, проповедь произнес необычайной, благородной красоты священник. Никогда не забуду стройного, многоголосого пения хора, овладевшего мною чувства соединения с вечной правдой, чувства живого торжества жертв над палачами. Инна Лиснянская, армянка по матери, плакала и крестилась. Но в храме больше никто не плакал.

Когда кончилось богослужение, к ногам католикоса бросилась маленькая, худенькая армянка, приехавшая из США. Католикос благословил ее.

Все вышли из храма радостные, просветленные. Не было уныния, была радость всечеловеческой общности, какая-то детская радость. Толпа на площади расступилась перед католикосом, матери протягивали к нему своих детей, и он благословлял их.

То была одна из самых славных минут в моей жизни. Я написал стихотворение «Годовщина армянского горя», в котором говорил о всеобщем храме людей.

Продолжаю выписывать строки из писем Гроссмана.

15.XI. 1961

...Сегодня днем и вечером, после заката солнца, все без пиджаков — мягкая, ясная, чудная погода. Платаны стоят в золоте... Я много работаю — ямщик гонит лошадей. Живу в Ереване до сих пор, через несколько дней переберемся с Кочаром в писательский дом под Ереваном, не знаю, как буду там себя чувствовать, он высокогато, 1800 метров. Там начнем перепечатку 1-го тома. Я тут не очень здоров, но теперь вроде лучше. Совершил две чудные поездки — на развалины

языческого храма в Гарни, ему 2 тысячи лет, и в скальный, пещерный храм Гегард. Эти скальные храмы поражают — представляешь, в сплошной скале пробиты туннели, а из туннеля внутри скалы создан храм — алтарь, колонны, купол — все совершенно и все внутри камня. Только вера могла создать это зрение мастера внутри горного камня. «Помяните мастера» — высечено древними армянскими буквами на камне. А возле входа стоит старый священник в черной рясе и продает открытки — одну из них посылаю тебе. Священник приехал из Палестины, служил в Иерусалиме в армянской церкви. И вот он стоит среди базальтовых камней и улыбается добрыми карими глазами. А камни у входа в храм забрызганы свежей кровью — это верующие люди приносят жертвы, режут овец и кур.

Был в хранилище древних рукописей, показали мне такие чудеса, такую тысячелетнюю жизнь мысли, слова, краски... Есть и древнейшие, тысячелетние, еврейские рукописи, и сочинения армянина Давида Непобедимого, названного так, потому что он победил в диспуте греков. Есть огромная книга — для создания ее пергаментных страниц было убито 600 телят.

И есть жизнь сегодняшнего Еревана — шумная, живая. Утром я завтракаю в кафе при гостинице, обычно в 8 ч. утра — ем творожник, а рядом мои смуглые кузены едят ранний шашлык и вместо чая чинно, спокойно выпивают бутылочку утреннего коньяка. Город европейский во многом, а на главной улице, залитой светом, среди машин, мимо роскошной гостиницы Интуриста и здания Совмина, по тротуару идут овечки, их гонят на заклание, идут охотно, стучат копытцами, а рядом стучат дамские каблучки, гуляют местные стилиаги. А у прокуратуры — она рядом с гостиницей — стоят печальные толстые старики, женщины с горем в глазах — родичи тех, кто нарушали.

Что касается опыта Звягинцевой и Петровых, то могу подтвердить своим небольшим опытом — точно, товарищ техник-интендант! * Но при этом стоит подумать — может собственных Алиханянов и быстрых разумом Амбарцумянов армянская земля рождать.

Милы моему еврейскому сердцу базары, особенно фруктово-овощные. Горы, арараты синеньких, айвы, перцев, яблук, гранатов, виноград тут янтарный, необычайно слад-

* Так он меня часто называл после того, как я ему прочел свою поэму «Техник-интендант»: название принадлежит ему. В. К. Звягинцева и М. С. Петровых — поэтессы, переводившие с армянского.

кий. Но царит на рынке редис, редька, горы — пудовые, мощные, красные, полуаршинной длины, и притом толстые. Какое-то порождение огородного культа фаллоса.

А вечером я включаю армянское радио, не дикторский, слышный в Москве текст, а музыку. Утром, в полутьме, подхожу к окну, смотрю, виден ли Арарат. Еще темно, а воробьи кричат со страшной силой, голосят как нигде — армянские воробьи. И в небе узенькая турецкая луна.

Из наблюдений Козьмы Пруткова могу поделиться следующим — заметил, что многие жители, даже и самые нарядно одетые, вдруг, на ходу, яростно царапают зад, полагаю, это от обилия волос.

Ну, вот, дорогой мой, выполнил твою просьбу, написал побольше о своей ереванской жизни, и хоть отъехал далеко, а проболтал с тобой весь вечер, почти по-московски...

Жаль мне, что Ахматова тяжело больна...

22.XI. 1961

...Я уже четыре дня живу в горном поселке Цахкадзор, над Ереваном, около часу езды, здесь дом творчества. Поселок красивый, дома, дворики — все лепится по склону горы. Но погода чудовищно плохая — день и ночь льет холодный дождь, смешанный со снежной крупой. Тучи сидят на горах, закрыли все вокруг. Говорят, что такой дождь может лить месяц. А в Ереване дождя почти нет и гораздо теплее. Я работаю очень много, с утра до позднего вечера, сильно устаю. Вечером мыслей нет, одна усталость.

В доме живут Кочар с женой, они почти каждый день уезжают в Ереван, гуляют на свадьбах, сплошные свадьбы: затем — толстая Асмик, у нее лишних 40 килограммов, переводчик Гроссман — у него лишних семь кило, весит он 85 кило. Ты спрашиваешь, чем питается переводчик Гроссман? Шашлыками, форелью, которую привозят с Севана в ведре, душистыми травами, овечьим сыром, мацуном, редиской, армянским супом спас, лавашем, сметаной. В общем, рацион у переводчика Гроссмана как у орангутанга в столичном зоопарке — разнообразный, из многих компонентов. И представь, при этом переводчик не прибавляет в весе, очевидно, характер у него неважный. По дурости Гроссман не взял черного костюма, хотя ему советовали взять его. А оказывается, в Ереване это любимый цвет, все солидные люди ходят в черных костюмах.

Два первых дня в Цахкадзоре была хорошая погода, и я много гулял, очень мне понравилось здесь. Все построе-

но из камня, пустынный храм XIII века, удивительной простоты и ясности постройка, — и кровь, и куриные перья на камнях: верующие приносят жертвы. Коровы, телята, овечки ходят по тротуарам, ослики по мостовой. Людей почти не видно. Встречаясь с тобой, старики и молодые здороваются, улыбаются. Дети милые, живые, задорные. Ночью при луне во дворах на веревках сохнет белье. — говорят, воров нет. Кроме армян во дворе живут молокане — бородатые. У каждого медный самовар, норма — 25—40 стаканов в день. На свадьбах ставят самовары — пьют чай. Цахкадзорские молокане не прыгуны, прыгуны, главным образом, в Ереване. А теперь двое суток льет дождь, Кочары уехали на очередную свадьбу, толстая Асмик отбыла с ними, и я один в большом двухэтажном доме на горе. Где-то внизу ночной сторож старик Ованес, его сын осужден за убийство, зарезал в драке человека. Ованес носатый, небритый, порусски не знает, но, когда я прохожу мимо, он поднимает палец и смеется: «Один ты остался, на свадьбу не взяли». Среди армян часто встречаются сероглазые, голубоглазые. Русские все прекрасно говорят по-армянски. Армяне многие совсем не знают по-русски, а если говорят, то большей частью неправильно.

Пишу тебе, а дождь гудит, а час назад прогремел несколько раз гром. Спасибо, что выписал длинную цитату из «Иностранной литературы», меня она удивила и внесла оживление в мою жизнь, знаешь, я за эти недели совсем забыл о своих прежних занятиях, может быть, оттого, что с утра до вечера работаю и сильно устаю, да и вообще — ходить в ремесле по жизни, как в хомуте. Зато форелью кормят...

26.XI.1961

Сегодня съездил в Ереван, получил письма, представь, в Ереване тепло, по-прежнему ходят в пиджаках многие, на платанах золотится листва. А у нас в Цахкадзоре скрипит под ногами снег, дети катаются на санях, на лыжах.

Семушка, милый, как тут красиво, по белому снегу ходят бесчисленные овцы, туман молочный, синее небо, сахарные горы, и Араратище из облаков выходит, сияет своей белой головой.

Порадовался и я, что будет передача телевизионная по твоей книге переводов, напиши мне, как она прошла, не забудь. Неужели ты поедешь к 18 декабря в Казань, — ты ведь знаешь, как я не выношу твоих отъездов, даже когда

сам нахожусь в Ереване. Но теперь, видимо, ты поедешь на 2—3 дня, это еще терпимо.

Получил письмо от своей редакторши московской — Ивановой. Книгу * пустят без задержки, письмо милое, но все хочет снять те же четыре рассказика, на которые покушался и Федор Левин, и Вера Панова в своих рецензиях. Да что уж тут а м , — могу сказать, как мужик из «Кому на Руси жить хорошо»: «...Да нас бивал Калашников» **. Теперь у меня нет уже здесь сплошного набора новых впечатлений, перестал ездить, сижу с утра до ночи за столом (не обеденным), устаю. И в то же время все накапливаются совсем иные впечатления — это скорее мысли, а не впечатления, — нечто о природе вещей, о природе л ю д е й , — знаешь, как Чехов написал в своей записной книжке, статья под заглавием «Тургенев и тигры»...

11.XII.1961

...Ты спрашиваешь о моих делах. Работа моя сильно двинулась вперед, думаю закончить в конце декабря. Теперь ее сроки определяются не только мной, а деятельностью машинисток. С ужасным, безграмотным подстрочником я покончил, довел дело до последней — 1420-й страницы. Сейчас буду читать и править рукопись после машинисток. Первые 100 страниц уже прочел, — после подстрочника это примерно то же, что работа литсотрудника журнала «Красноармеец» по сравнению с пребыванием у Горохова на Рынке в октябре 1942 года. Буквально «отдыхаю душой». Только сейчас понял всю мудрость истории с козой, взятой в дом. Блаженствую — коза уже не в комнате, а в сенях. Каково-то будет, когда она уйдет из сеней и я поеду недели на 2, на 3 к морю. А впрочем, может быть, я скажу, что в помещении скучно без козы. Нет, нет, этого не будет. Мне ясно — хочу к своему разбитому корыту.

Я уже привык к тому, что автор безразлично и как-то сонно относится к тому, что пожилой господин работает над его книгой с таким усердием, что по вечерам у него лицо и лоб покрываются фиолетовыми пятнами. Две недели назад меня это поразило, а сейчас я искренне был бы удивлен, услышав слово — мерси. Но, говоря по-рабочему, — харчи хорошие, общежитие чистое, теплое, платят справно, бель-

* Небольшой сборник «Старый учитель», повести и рассказы, с трудом вышел в «Советском писателе» в 1962 году.

** Неточная цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Савелий говорит: «...нас дирал Шалашников».

ишко постельное меняют раз в 7 дней. Грех жаловаться. Я и не жалуясь...

Я уж тут старожил: здороваюсь с десятком людей. Дышится тут легко, и хорошо очень гулять утром, идешь по горной дороге, — по склону гор овечки, леса, монастырь, часовни, небо синее. Встретишь старика, поздороваешься, — улыбнется, и я ему говорю: «барев цез» — добро вам. Знаешь, армяне христиане с IV века, но мне кажется, что они все язычники — добрые, трудолюбивые, вспыльчивые язычники. Христианского я не чувствую...

12.XII.1961

...На днях ездили мы в Дилижан. Знаешь, когда человеку исполняется 55 лет, ему нужно жить в Дилижане, после 50 это тоже хорошо, самый раз. Боже, какая это прелесть — вдаль от железной дороги в горной котловине среди сосен лепятся по склону горы домики, обнесенные открытыми террасами. Какой мир, какая тишина. Да и воздух, говорят, целебный для сердечников и астматиков. А ехать в Дилижан нужно мимо озера Севан, по горам через Семеновский перевал, и по дороге снежные вершины, сосны, армяне, молоко, овечки, ишачки, горные речушки.

Это был мой коротенький отдых. Продолжаю работать очень напряженно. Если б.ж. *, то закончу работу в декабре. Начали поступать чистые страницы от машинисток, мой клиент читает их с кислым лицом, а мне кажется — все в порядке, — работа сделана большая, и сделана добросовестно. Меня раздражает и огорчает сдержанность клиента, право же, мог бы сказать рабочему — спасибо. Ну да что, — это ведь эпизод в моей жизни, прожитой жизни. Как я уже тебе сказал — «меня бивал Калашников». Какое уж там спасибо.

Рад я, что смогу отдохнуть, — знаешь, я очень устал. Столько сижу за столом, что не только внутри головы усталость, а на лице пятна выступают, и спина, и плечи болят. И так мне кажется хорошо отдохнуть после этих нештучных трудов.

Боюсь, что от прочтения статейки, которую обо мне написал Жоржик Мунблит **, будет ощущение, как от таранчика съеденного. Может быть, есть такая еврейская фа-

* «Если буду жив» — любимое присловье Льва Толстого.

** Речь идет о посвященной Гроссману статье критика Г. Н. Мунблита для «Литературной энциклопедии».

милия — Тараканчик? От Рувима * Тараканчика нет вестей, звонил ли он тебе или все еще на прогулке? Вот и от него у меня чувство, как от съеденного таракана, а ведь с Фраерманчиком-Тараканчиком дружили мы четверть века. Ну, ничего, «меня бивал Калашников».

25.XII.1961

Я снова переехал в Ереван, в гостиницу, простился с чудным Цахкадзором, что означает «Долина цветов». Но так складывается, что на последнем этапе работы жить в горном поселке нельзя — приходится иметь дело с издательством, редактором. Надеюсь, что к концу месяца справлюсь со всеми делами, меня, правда, тревожит, не задержит ли меня получение денег, без коих, как ты легко можешь понять, до Сухуми не доедешь... Но надеюсь, что если и будет задержка, то на 2—3 дня.

У меня тут вновь появились значительные впечатления — в вечер накануне отъезда из Цахкадзора. Я был в гостях у пресвитера молоканской общины деревенской — бородатого старика, и знаешь, какое-то хорошее, светлое, ясное чувство от его веры. Куда образованному, просвещенному, блестящему католикосу всех армян Восгену Первому до этого косноязычному, почти неграмотному мужику Михаила Алексеевича. Верит! Знаешь — чувствуется сразу: верит по-настоящему, слив свою судьбу, судьбу жены, детей, внуков со своей верой. Верит в добро, в доброту, в то, что нельзя обижать людей и зря, для забавы, убивать животных. Пили мы чай и говорили, и я увез хорошее чувство от человека этого и от его речей.

А потом я поехал уже из Еревана, вчера, в деревню Сасун, на склоне Арагаца: сестра Кочара, старуха, женила сына-шофера. Эта поездка, конечно, самое сильное мое армянское впечатление. И знаешь, дело даже не в замечательном, поэтичном, грубом, сложном и многоступенчатом свадебном обряде и не в красивых старинных песнях, которыми славится Сасун, деревня, связанная с Давидом Сасунским. Дело, Сема, в чудных людях, деревенских армянских стариках, в армянских мужиках — чудных людях. На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человеческих, добрых речей — впервые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиков, баб, говорили горячо, страстно, со слезами. А говорили пастухи, шо-

* Писатель Р. И. Фраерман.

феры, землекопы, каменщики сельские. В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне, — я все думал, что ты бы стоял тут и плакал, и написал бы стихи, читая которые, люди бы тоже плакали.

И все это среди суровых груд камней, на фоне синего неба и сияющей вершины Арарата, того самого, на который смотрели люди, писавшие Библию. Ох, Сема, сильно это берет за душу... А увидимся, я тебе расскажу все это подробно, а может быть, ты и сам увидишь все своими глазами, стоит, надо...

Что Мунблит ограничился датами и названиями, то меня можно Поздравить. А касаясь Вали и Рувочки *, то надо сказать, я нахожусь на той низкой (или высокой) ступени смирения, что эти звонки к тебе меня порадовали, вот и трубку наконец Рувим взял, сам поговорил с тобой. Думаю, что на ступени смирения я все же не удержусь...

30.XII.1961

...Сема, вот я и окончил работу, — «доругаюсь» с автором, получу деньги и поеду в Сухуми, куда ты мне пиши по адресу «До востребования». Очевидно, выеду третьего. Я так устал, что, кроме нервного расстройства и бессмысленного желания плакать, ничего не чувствую, совсем что-то разболтался. С клиентом идут острые разговоры. Он человек очень неглупый, понимает, что ему сделано хорошо, но в то же время невольно меня ненавидит, как зверь, попавший на остров в лапы доктора Моро. А доктор Моро, действительно, его сильно резал и мял и несколько приподнял его на лестнице литературной эволюции. Но знаешь, очень больно: «Где моя шерсть, зачем отрезан мой хвост? Я не хочу быть голым, без шерсти». А в то же время и приятно. Ты ведь тоже старый, стажированный доктор Моро, признайся, что тебе стоит **. Понимаешь эти ситуации лучше меня. Вчера я кончил эту костоломную работу, а сегодня стал писать, записывать армянские впечатления. Как Жорж Занд — в 4 утра кончила роман и, не ложась спать, начала второй. Правда, есть разница, — ее печатали, а меня уж совсем трудно понять. Куда спешить?

* Чета Фраерманов.

** Последние несколько слов нуждаются в разъяснении. В 37-м году на открытом партийном собрании прорабатывали критика Елену Усиевич. В перерыве к ней подошел поэт Михаил Голодный и сказал: «Усиевич, признайся, ты же враг народа, что тебе стоит».

Хочется тебя видеть, время идет, и все больше накапливаются разговоры, и перо, как принято выражаться, бес- сильно. Возможно, что до отъезда поедем с Кочаром в Ара- ратскую долину к его родственникам. Там совсем не так, как на Арагаце, очень богато живут, долина эта райская.

30.XII.1961. вечером

...Получил деньги в издательстве, конечно, потираж- ных не заплатили, их платят по выходе книги, как и в Моск- ве. Очевидно, автор решил, что я буду резвее работать, по- лагая получить деньги за тиражи по сдаче рукописи. Все же интересно — за 2 месяца жизни здесь *ни один* писатель не пришел ко мне, не позвонил, не позвал, а при случайных и неминуемых встречах на улице даже не спросил — здоров ли я, впервые ли в Ар м е н и и, — такого собачьего равнодушия я никогда не видел, да больше и не может быть. Да это уже не равнодушие, а неприличие, потому что спросить пожило- го приезжего человека о его здоровье и нравится ли ему на новом месте — это вопрос, диктуемый элементарным приличием. А автор мой сегодня при последнем нашем раз- говоре предлагал, и притом крайне настойчиво, чтобы в ру- кописи слово «люди» было заменено словом «человеки», он поражается, как же я это не понимаю, что «человеки» зву- чит более мягко, сердечно, тепло.

Ну, ладно, зато я видел чудную Армению...

11.I.1962

Дорогой Сема, вот мы и дожили до 1962 года и пишу тебе в этом Новом году из С у х у м и, — море, вечная зелень, то теплый дождь, то теплое весеннее солнце... Перед отъездом из Армении, вернее, в день отъезда, получил последний зар- яд впечатлений, — с утра поехали на знаменитый коньяч- ный завод «Арагат», где усердно дегустировали коньяк, а затем — в благословенную Араратскую долину, в деревню, а я уж точно выяснил для себя, что больше армянских хра- мов и гор мне нравятся армянские деревенские люди, очень с ними хорошо, сидя в сложенном из больших камней доме, пить виноградную водку и разговаривать, смотреть на милые стариковские лица...

Очень мне хочется, чтобы с «Новым миром» у тебя за- вязались отношения, — ну, год впереди, но тянуть нельзя, ведь годы позади. А у меня Новый год начался, как вся моя жизнь: и хорошо, счастливо, и горько, тревожно, путанно,

с радостью на сердце, с желанием труда — таким же неразумным, как инстинкт жизни, таким же бессмысленным и непреодолимым. Ну ладно, обо всем хорошем и светлом, тяжелом и трудном расскажу тебе при встрече, а встреча не за армянскими горами...

Получил я очень тяжелое письмо с Беговой от О. М. * Я написал ей, что знал о том, что Катя ** едет в Сочи, но что я поехал в Сухуми и хочу перед отъездом в Москву побывать в Сочи и повидать всех. Ох, горькая это путаница.

Вспоминаю наши с тобой походы за хачапури, прогулки. Думаю в районе 20-го двинуться в Москву. Тебе сердечно кланяются море, пальмы, но не только они... ***

Гроссман вернулся в Москву в начале нового, 1962 года. То, что он похудел и сильно загорел, не делало его моложе. Он казался больным. Когда он даже шутил, смеялся я, — боль стояла в его глазах и было видно, что боль мучительная, не физическая, а душевная. Он переехал в однокомнатную кооперативную квартиру недалеко от моего дома, но ему трудно, тоскливо было жить одному, и, когда я его утешал, — мол, заманчива холостая жизнь, рисовал ее прелести, — он слабо и беспомощно улыбался. Живший за стеной сосед Гроссмана, ему не знакомый, постучался к нему, сказал, что пришли электрики, спрашивали, действительно ли именно Гроссман его сосед, — не оборудовали ли они подслушивающую аппаратуру. Гроссман отнесся к сообщению без особого интереса.

Сила духа его была велика: он работал, он написал несколько рассказов, создал поэму — иначе не назову его армянские записки — «Добро вам». Повторяю, если в России найдется читатель моих воспоминаний и если к тому же он окажется литератором, то я думаю, что он с любопытством прочтет армянские письма Гроссмана и увидит, как они преобразовались в создании художника. Последнее произведение Гроссмана — неожиданное для характера его письма. Никогда он не писал с такой откровенностью о себе, обнажая не только свою душу, но и физиологию, плоть. Никогда он не был так близок себе и никогда с таким наслаждением не приближался к лицу человека: «Казалось, не свечи, а глаза людей светились мягким, милым огнем».

Я позволю себе задержать читателя на одной мысли.

* Ольга Михайловна.

** Е. В. Заболоцкая.

*** Намек на мою поэму «Нестор и Сария», действие которой происходит в Сухуми.

После смерти Сталина произошло оживление в нашей литературе. Вместе с произведениями реалистическими, без которых литература задыхалась, появились стихи, о которых говорили, что в них есть самовыражение, и проза, которую назвали исповедальной. Не странно ли — какой художник не самовыражается, какое его творение не является исповедью? Но дело в том, что после придворной сталинской литературы, унаследовавшей и развившей каноны придворной поэзии Востока, читатель имел все основания заметить нечто новое, и действительно, некоторые вещи послесталинского периода в области самовыражения и исповедальности носят на себе отпечаток таланта, — но далеко не все. Стали самовыражаться, а выразить было нечего, стали исповедоваться, а получилось, что и грешили-то примитивно и все — одинаково. И тогда-то, чтобы как-то отличиться один от другого, прибегли к метафоричности, к орнаментальности. Точно так же поступали и придворные персидские поэты средневековья. Одни и те же причины привели к одинаковым следствиям. Исповедь, самовыражение интересны и глубоки только тогда, когда глубок и интересен художник.

В «Добро вам» есть все то прекрасное, печальное, светлое, мощное, что было и в прежних книгах Гроссмана, но есть и новое, оно, это новое, бросается в глаза, и все же не так просто очертить его пером критика. Да я и не пытаюсь высказывать свои размышления об армянской поэме Гроссмана, мне кажется, гораздо важнее рассказать историю ее публикации, тоже печальную, но не светлую.

Закончив работу, Гроссман отдал ее «Новому миру». Твардовскому она понравилась, на полях рукописи есть только одна его пометка. Там, где Гроссман пишет: «Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, какво это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи», — Твардовский сбоку заметил карандашом: «Еще бы!»

Других замечаний не было, очерк-поэму набрали, и цензура поставила на верстке свой жизнедательный штамп, но предложила-приказала — выбросить один абзац... Пусть читатель вспомнит то место из письма от 25 декабря, где Гроссман говорит: «Эта поездка (в Сасун), конечно, самое сильное мое впечатление... Я наслушался человеческих, добрых речей, — впервые в жизни». Вот в какие строки, испугавшие цензуру, вылилось это самое сильное впечатление:

«Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно за-

говорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали чело-веконенавистники слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил». До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе».

Гроссмана оскорбило, обожгло решение цензуры. По его настоянию Твардовский пытался уговорить своего при-журнального главлитчика, но безуспешно, в этих строках тот бдительно усмотрел опасность для государства, упрямо настаивал на своем. Гроссман отказался печатать «Добро вам» в журнале.

Я его понимал. Давняя подпись под письмом Сталину мучила его, он не хотел еще раз поступаться своей честью. Да и противно было его душе после ареста романа идти на уступки, принести в жертву то, что помнил до конца жизни. Я надеюсь, что не принадлежу к тем писателям-рабам, кото-рым непримиримость Гроссмана кажется глупостью, прояв-лением вздорного характера, но все же я тогда считал, и те-перь считаю, что Гроссман совершил ошибку. Конечно, до-роги, очень дороги были Гроссману 10 или 12 строк ново-мирского набора, окаймленные красным запретительным карандашом, но в «Добро вам» около ста страниц, и какие бесценные мысли нашел бы в них читатель, какое глубокое чувство охватило бы его...

Об армянских записках узнали в литературной среде. Верстку читали. Вот что написала Гроссману писательница, человек высокого сердца Ф. А. Вигдорова:

«Я прочитала „Добро вам“. Это так прекрасно, как только может быть. Горько, нежно, пронзительно. Вы писа-тель замечательный, и эти сто страниц принадлежат к луч-шему, что Вами написано. Всех видишь. Вместе с Вами ду-маешь. Плачешь. Смеешься. И такая радость их читать, эти сто страниц, хоть это чтение нелегкое».

После смерти Гроссмана с версткой «Добро вам» по-знакомилась поэтесса Сильва Капутикян. О многом поведа-ние, посвященное ее народу, на родину, чтобы попробовать там его напечатать, поскольку, за исключением несколь-ких строк, это произведение получило разрешительный

штамп московской цензуры, весьма, естественно, почитаемой в Армении. Проходит около года, о записках ни слуху ни духу. Выполняя завет Гроссмана, я поехал в Армению. Выяснилось, что верстка находится в журнале «Литературная Армения», выходящем на русском языке, но из-за строк, выброшенных цензурой, редакция опасается печатать «Добро вам», хотя и очень этого хочет. С помощью моего знакомого, профессора-литературоведа Левона Мкртчяна, удалось убедить редакцию в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана — о записках уже заговорили в Ереване, — и в 1965 году «Литературная Армения» опубликовала «Добро вам», конечно, без запрещенного абзаца. Я понимаю, что нарушил волю Гроссмана, но думаю, что поступил правильно, такую прекрасную вещь не надо было прятать от читателей.

Мой приезд в Ереван совпал с пятидесятилетием со дня геноцида, когда турки вырезали миллион армян. Газеты никак не отметили это страшное событие, русская газета вышла с передовицей о своевременном поднятии зяби, а армянская — о дружбе народов, в городе начались волнения, с утра не расходилась огромная толпа на площади у театра имени Спендиарова, молодежь требовала присоединить к Армении Карабах, населенный армянами, отторгнуть эту территорию от Азербайджана, и я вижу нечто символическое в том, что переговоры с редакцией о записках Гроссмана велись под отдаленный гул все разрастающейся, несмолкающей, разгневанной толпы.

Когда «Литературная Армения» появилась в Москве, давний друг Гроссмана, сотрудница «Нового мира» А. С. Берзер, посоветовала мне пойти к Твардовскому с предложением — перепечатать «Добро вам» в разделе «По страницам журналов»: был такой раздел в «Новом мире», в нем помещались небольшие произведения, взятые из провинциальных журналов. Твардовский, как и я, был членом комиссии по литературному наследству Гроссмана, и моей обязанностью, среди прочих, было информировать Твардовского о наших заседаниях, которые он не посещал. Как раз комиссия поручила мне просить Твардовского о том, чтобы он, используя свой большой авторитет, помог добиться разрешения передать рукописи «Жизни и судьбы» с Лубянки в спецхран ЦГАЛИ, несравненно более доступный для членов комиссии. Твардовский обещал помочь, только сказал, что не надо его торопить, он должен для успеха дела выбрать подходящий момент встречи с кем-нибудь из руководителей государства.

Тут я перешел ко второй просьбе. Твардовский наотрез отказался перепечатать «Добро вам». Он сказал, что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмани, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем, только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу.

История «Добро вам» на этом не кончается. Нашей комиссии удалось добиться в «Советском писателе» издания небольшой книжки Гроссмана, в которую вошло несколько его рассказов разных лет (в том числе и поздних, написанных после ареста романа) и «Добро вам», давшее название всей книжке, вышедшей в 1967 году. Редактор, покойная В. Острогорская, хорошая женщина, сказала мне, что главная редакция свирепствует, выбрасывая из «Добро вам» уже не строки, а страницы, даже главы. Замечу — свирепствует редакция, в которую входили писатели, а не Главлит.

Я доложил об этом на заседании нашей комиссии, и члены ее постановили не спорить с издательством. Я сначала намеревался добиться от комиссии решения — отказаться от публикации «Добро вам» в искаженном виде, но после долгих раздумий решил этого не делать, во-первых, по соображениям, уже изложенным выше, во-вторых, — вряд ли я пересилил бы комиссию. И теперь я чувствую и радость от того, что большая часть «Добро вам» все-таки стала достоянием русских читателей, и свою вину перед умершим другом: ведь нарушена его воля.

Главка, помеченная в книжке цифрой «2», есть, в сущности, третья, а вторая выброшена целиком. Вот кусок из нее:

«Над Ереваном, на горе, стоит памятник Сталину. Откуда ни посмотришь, виден гигантский бронзовый маршал.

Сталин одет в длинную бронзовую шинель, на голове его военная фуражка, бронзовая рука его заложена за борт шинели. Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавен — он не спешит. В нем странное, томящее соединение — он выражение силы, которой может обладать лишь бог, так огромна она; и он выражение земной грубой власти — солдатской, чиновной. Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры Сталина семнадцать метров. Фигура вместе с постаментом — пятьдесят два метра. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела

лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полой ноги Сталина.

Этот памятник установили в 1951 году.

Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, в дни, когда проспект Сталина, красивейшая улица города, обсаженная чинарами, широкая и прямая, ночью освещенная фонарями, вчekanенными в асфальт мостовой, — была переименована в проспект Ленина.

Мои ереванские собеседники говорили изящно: „Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность...“

Мне рассказывали, что в одной деревне в Араратской долине на общем собрании колхозников было предложено снять памятник Сталину. Крестьяне заявили: „С нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч“.

Кажется, один только старый Андреас, сошедший с ума после массовых убийств армян, совершенных турками, гневается на то, что разрушили памятник Сталину: „Он потрясал посохом, он бросался на шофера, на детей, на студентов-лыжников, приехавших из Еревана. Для него Сталин был победителем немцев. А немцы были союзниками турок. Значит, памятник Сталину разрушили агенты турок“.

Из главы пятой (в книге — четвертой) выброшены четыре страницы. Там, между прочим, есть рассказ о старике Саркисяне. Был он в молодости большим партийным деятелем, встречался с Лениным в эмиграции. Затем объявили его турецким шпионом, били смертно, послали в сибирский лагерь, где он прожил девятнадцать лет. Мы читаем:

«Он рассказал мне, как в тесной маленькой камере ереванской тюрьмы сидели восемьдесят человек, все это были ученые люди: профессора, старые революционеры, скульпторы, архитекторы, артисты, знаменитые врачи, и как мучительно долго, каждый раз сбиваясь со счета, пересчитывали их стражники. А однажды стража вошла вместе со старым угрюмым человеком, он оглядел человеческий сплошняк на нарах, на полу быстрым взглядом и вышел. Так стало повторяться каждый день. Потом выяснилось, что этот старик — чабан. Администрация тюрьмы использовала при проверке заключенных его феноменальную способность мгновенно подсчитывать сотенные и тысячные стада овец.

Он рассказывал, как, приехав из лагеря, некоторое время продавал газированную воду на улице Абовяна и как

пришедший из района старик колхозник, попивая шипучую водичку, обстоятельно беседовал с ним. Саркисян рассказывал старику, что участвовал в подпольной работе, потом в 1917 году свергал царя, потом строил Советскую власть, потом сидел в лагере. «А вот теперь продаю газированную воду».

Старик подумал и сказал:

— И зачем ты сбрасывал царя, разве он мешал тебе продавать газированную воду?»

Далее следовала трогательная история о том, как недавно две большие молоканские русские семьи перешли вброд ночью через Аракс из Турции в Армению, как их сердечно встретил начальник нашей заставы, как из пограничного поселка прибежали жены офицеров, неся одежду для женщин и детей. Не понимаю, почему этот эпизод вырезали редакторы, ведь не от нас бегут, а к нам, даже лестно.

Предисловие к книге написал Н. Атаров, написал неплохо, кое-что увидел. Читаем о Гроссмане: «В жизни он был нелюдимый, угрюмый и грозный, как правосудие... И только сейчас, перечитывая его посмертный сборник рассказов, понимаешь, как этот нелюдимый человек неутомимо искал дороги и тропинки к людям, как этот порою обижавший близких человек ненавидел предательство дружбы».

Правильно, Гроссман был неудобный человек для легкой дружбы, ненавидевший предательство дружбы. Но что это за дружба, если она легкая и способна на предательство? Знакомство, завязавшееся в редакции, в доме творчества, во время пирушки, всегда ли превращается в дружбу? Гроссман требовал от дружбы честности, стойкости, самоотверженности. Разумное требование в разумном обществе. Ему нужна была дружба «в упор, без фарисейства».

Беда Гроссмана заключалась в том, что он был доверчив, и в этой доверчивости жила одна слабость: он привечал тех, кто восхищался им. Немало легких друзей приобрел он в военные годы, когда он был в чести, когда разных людей временно объединили общие горести и трудности, и они, эти люди, тоже на время, стали лучше, честнее. Но вот военные трудности сменились другими, и люди стали другими, то есть прежними. Тот же Атаров льнул к нему, приходил к нему, как ученик к учителю, и Гроссман встречал его благосклонно, но, вступив в партию, Атаров стал функционером, его назначили редактором журнала «Москва», он постепенно отстранился от преследуемого Гроссмана, и, конечно, когда они случайно встречались, Гроссман смотрел на него «угрюмо и грозно».

Фронтовые дороги свели Гроссмана с Борисом Гали-

ным, этот правдивый очеркист гордился тем, что они с Гроссманом на «ты», и Гроссману, я видел, льстило такое поклонение, но и Галин, как теперь выражаются, «слинял», когда Гроссман попал в беду, и если бы Гроссман узнал, как уже после его смерти подло повел себя Галин, когда за рубежом вышло в свет «Все течет», то, бесспорно, говорил бы о Галине «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана друг детства, ставший профессором-математиком. Во время борьбы с космополитизмом он сказал: «Во имя идеи коммунизма допустимо пожертвовать целым народом». У профессора были поздние дети, как все отцы такого рода, он обожал их, а между тем говорил: «Во имя коммунизма я готов пожертвовать своими детьми». Что это было — лицемерие раба или глупость раба? И, наверно, он удивлялся тому, что Гроссман смотрит на него «угрюмо и грозно».

Гроссман хорошо относился к критику Федору Левину (в скобках не побоюсь сказать: потому что тот высоко ценил творчество Гроссмана), он жалел Левина, когда тот, по навету сослуживца-стихотворца Коваленкова, был судим и арестован на Северном фронте за необдуманно откровенные речи, но тот же Федор Левин, когда Ермилов выступил в «Правде» со статьей, уничтожающей пьесу «Если верить пифагорейцам», сказал Гроссману: «Поручили бы это мне, я написал бы мягче, деликатней», — так удивительно ли, что с тех пор Гроссман стал смотреть на него «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана приятель-поклонник Осип Черный. Он был Гроссману по душе не только как поклонник, но и как знаток музыки, которую Гроссман не столько знал, сколько любил. Однажды Черный сказал Гроссману: «Вы Веньяминчик», т. е. любимчик, тем самым объясняя невезением свое собственное положение в литературе. Гроссман ему ничего не ответил, но мне пересказал, значит, запомнил, обиделся. И вот Черный выпускает роман о музыкантах, в котором вслед за Сталиным нападает на формалистов, создающих сумбур вместо музыки, в героях романа легко угадываются прототипы — Шостакович, Мясковский, Прокофьев. Эти композиторы не были близки Гроссману, он предпочитал им Моцарта или Бетховена, но Черный, лягающий их, вызвал его гнев, он и на него стал смотреть «угрюмо и грозно».

Не помню, кто рассказывал мне, что в Коктебеле в одно время с Гроссманом отдыхал Ардаматский, автор нашумевшего фашистского фельетона «Пиня из Жмеринки», напечатанного в «Крокодиле». Никто из порядочных людей

не здоровался с Ардаматским, кроме Гроссмана, и на недоумение этих порядочных людей он отвечал: «Не вижу, почему Ардаматский хуже других, он такой же, как все, что же я, по-вашему, со всеми должен перестать здороваться?» — и эти слова крепко задели его собеседников.

Однажды жертвой непримиримости Гроссмана оказался я. Это было в 1948 году. На одном заседании, посвященном проблемам перевода и созванном высокой инстанцией, поэт-переводчик Л. Пеньковский выступил против Пастернака. Присутствовавший на заседании Асеев, карточный партнер Гроссмана, сказал ему, что против Пастернака выступил я: очевидно, он потому спутал меня с Пеньковским, что оба мы переводили киргизский эпос. И вот до меня дошло, что Гроссман разбушевался, всю меня ругает. Я перестал с ним встречаться. Прошло несколько месяцев, — и мы с Гроссманом в одном зале, нам вручают медали 800-летия Москвы. Гроссман ко мне подошел, улыбаясь. Оказалось, он уже узнал от Николая Чуковского о своей ошибке. Мы помирились, поцеловались. Я ему сказал: «Можно же было спросить у меня, как в действительности обстояло дело», а Гроссман повинно ответил: «Я поверил. Такие времена, что плохому всегда веришь».

Гроссману приятно было отношение к нему Эренбурга — внимательное, ласковое, уважительное. Гроссман ценил его талант, особенно ярко, по его мнению, выразившийся в «Хулио Хуренито», Ценил его военные статьи, его образованность, превосходное знание живописи, ценил, как я заметил, то, что его хвалит писатель старше его годами, с мировой славой. Гроссман пожал плечами, когда я сказал, что Эренбург настоящий, хотя и небольшой поэт, недурной переводчик, средний прозаик и выпренье-беспринципный журналист, — мое мнение показалось ему парадоксальным, бездоказательным, — за исключением последнего пункта. Однажды, где-то в начале пятидесятых, мы с Гроссманом были в гостях у Каверина, заночевали у него на даче в Переделкине, об этом узнал Эренбург, живший тогда на соседней даче у Лидина, и пригласил нас к себе. Гроссман шел к нему раздраженный, — Каверин скупо выставил водку, и вот, когда мы пришли к Эренбургу, Гроссман на него обрушился, как на борца за мир, выложил все, что он думал о его политической деятельности. Эренбург держался мужественно, оскорбительные слова Гроссмана выслушивал спокойно. Я был согласен с Гроссманом, но, признаюсь, не одобрял его поведения: со многими Гроссман рассорился, теперь рассорится с Эренбургом, который так любил его как писателя,

да и как человека. Общество наше особенное, нового типа, и трудно, порой невозможно в обществе нового типа жить с людьми как в прежнем, пусть несовершенном, но нормальном обществе старого типа.

Нет, Гроссман не был угрюмым, нелюдимым. Таким его сделали. Он любил веселье, шутки, дружеские беседы и застолья, карточную игру (иногда покер или преферанс длились всю ночь напролет, целыми сутками). Он был обращен к людям всей душой своей, но его доверчивость, грубо и много раз обманутая, превратилась в недоверчивость. А те, кем он был обманут и предан, чтобы как-то оправдать себя в собственных глазах, объявляли его угрюмым, грозным, нелюдимым, трудным в общении.

12 декабря 1984 года ему исполнилось бы 79 лет. Понятно, что большинство его сверстников ушло из жизни. Осталось в Москве лишь несколько литераторов, которые знали его. В связи с выходом в свет книги «Жизнь и судьба» интерес к нему возродился. Те, кому посчастливилось книгу прочесть, взволнованы ею и, встречая меня, говорят и о книге, и об ее авторе, — и опять: «Он был человек нелегкий, нелюдимый, обозленный». Я напоминаю им, как они избегали его в тяжкую годину, привожу постыдные для них случаи, и так как высказываюсь без злобы, улыбаясь, потому что своих собеседников не уважаю, то они на меня не обижаются. Ошибка Гроссмана, по-моему, состояла в том, что он литераторов нового типа мерил старой меркой русской интеллигенции, принимая их всерьез.

В конце 1962 года Гроссман сказал мне, что у него в моче появилась кровь. Лечащий его литфондовский врач Райский посоветовал ему обратиться к урологу, но посоветовал не настойчиво. Гроссман лечиться не любил, к урологу не пошел.

Мы оба думали, не результат ли это той невыразимо острой пищи, которой он ублажал себя в Армении. Неприятное явление прекратилось, и Гроссман успокоился. Врачи-онкологи мне потом говорили, что, если бы он не запустил болезнь, его можно было бы спасти или, по крайней мере, продлить ему жизнь на 5—6 лет.

Он как бы забыл о случившемся, много, с увлечением работал, но на здоровье иногда жаловался, что раньше было ему несвойственно. Однако, несмотря на недомогание, читал газеты, ловил «вражеские» голоса, отзывчиво и любовно следил за литературными делами своих друзей. Вот что он мне в это время написал в Малеевку:

«Дорогой Сема, получил твое письмо. Рад, что чувст-

внешь себя лучше. Рад, что твое стихотворение наконец опубликовано в «Литер[атурной] газете». Неожиданно ли это для тебя? Ведь перед отъездом ты говорил мне, что редакция решила не публиковать этих стихов. Так или иначе — очень рад этому, девятому, по-моему, из опубликованных твоих стихотворений. Рад, что ты гуляешь сам с собой и сообщаяешь, что «такой спутник мне никогда не может наскучить». Как бывает тяжел этот спутник, как мучительно бывает общение с ним. Помнишь «...читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуясь, и горько слезы лью». Ох, уж этот нескучный, он человек обоюдный, как с ним поведешь себя. У меня совершенно нет нового, — «тишина немая и не слышно лая псов сторожевых». Кстати, Катя * рассказала мне, что Диккенс (она сейчас переводит его письма) разошелся с женой, когда у них было 10 детей; Пишу это без страха вызвать в ком-либо опасные мысли по этому случаю, так как знаю, что заразительны лишь дурные примеры...»

Письмо от 4 февраля 1963 года:

«...Меня очень порадовала заметка-статья Дорофеева ** о тебе. Прочел ее несколько раз. Лучше не напишешь. Все вспоминаю, как ты часто повторял: «Хоть бы 5 строчек за 30 лет». Ну вот, наконец, и пришли эти строчки. Мне кажется, что они много помогут и в издательских делах, хотя, конечно, особого оптимизма проявлять не следует. Но есть в них и нечто большее, чем практическое их приложение, они хороши и важны сами по себе, важны в первую очередь для тебя, а не только для тех, кто прочтет их. И потому-то я радовался, читая и перечитывая их. Между прочим, я подумал, что в газете можно опубликовать отрывок из поэмы, если всю целиком они не решат дать...

Гехту *** лучше, температура упала, врачи настроены оптимистически. Гехт стал проявлять интерес к внешнему миру, просил газеты. Но опасность еще не прошла полностью.

У меня ничего нового нет, молчавшие продолжают молчать...»

Письмо от 13 февраля 1963 года:

* Дочь Гроссмана.

** Я впервые в жизни читал на совместном заседании секций поэтов и переводчиков собственные стихи. Об этом «Литературная газета» опубликовала сочувственную заметку.

*** С. Г. Гехт — наш приятель, о котором я писал выше. Ему сделали операцию аденомы, но сказались восемь лет лагерей, он сильно ослабел, вскоре после операции умер в больнице.

«...Меня радует, что есть продвижение «Нестора» * в «Литер[атурной] России». Но, конечно, еще много, много препятствий впереди. Как со сборником — ты не написал мне, как Слуцкий ** отнесся к нему и какой ему предсказывает гороскоп? Почему ты не пишешь, кто в Малеевке, мне всегда интересно читать твои перечисления с комментариями.

О своих делах не пишу, так как ничего значительного ни со знаком плюс, ни со знаком минус не произошло. Даже Анна Самойловна как-то неопределенно разок позвонила и сказала, что пока рассказа не возьмет, повременит. Меня это немного удивило, ведь прочесть его она во всяком случае могла, независимо от редакционной ситуации.

Березко *** не подает признаков жизни.

«Сам себя» чувствую не очень хорошо, вновь подскочило давление. Был у меня вчера Райский — дон Померанцо все пишет и пишет».

Письмо от 21 февраля 1963 года:

«...Катя **** приехала вчера из Ленинграда. Там дело совсем плохо, у мужа ее сестры оказался рак, от операции врачи отказались, считают, что ничего не даст, его выписали из больницы. Представь, он сам хирург-онколог, но не понимает, что болен раком. Новости все такие печальные. Когда люди стареют, им кажется, что весь мир полон гипертонии, склероза, злокачественных опухолей, стенокардии. А было нам по двадцать лет, и казалось, что ничего, кроме триппера, нет на белом свете.

Анна Самойловна взяла рассказ у меня — шансов нет, мне кажется. Этот жанр определяется — для «редакционного чтения».

Пиши, когда приедешь. Тебе что, катаешься, как датский сыр в вологодском масле, кругом астрономы да Соколовы-Микитовы...»

В апреле дурные симптомы повторились. Врачи решили уложить Гроссмана в больницу. Накануне майских пра-

* Речь идет о моей поэме «Нестор и Сария». «Литературная Россия» собиралась было ее напечатать, но после выступления Хрущева на выставке в Манеже ее отклонила. Поэма впервые напечатана в журнале «Время и мы».

** Поэт Б. А. Слуцкий решил отнести сборник моих стихотворений в издательство «Советский писатель». Этот первый мой сборник «Очевидец» вышел в 1967 году.

*** Г. С. Березко, литератор, впоследствии председатель комиссии по литературному наследству Гроссмана.

**** Е. В. Заболоцкая.

здников его устроили в Боткинскую, в палату на двоих. Его соседом был политический обозреватель «Правды» Маринин, чуждый Гроссману, но отвлекавший его от тяжелых мыслей интересной информацией. Оперировать Гроссмана должен был опытный хирург-уролог Гудынский. Врач нам сказал, что болезнь запущена — рак почки, что он удалит почку, но не уверен, что нет метастазов. Перед операцией Гроссман чувствовал себя неплохо. Мы каждый день сидели на лавочке в больничном садике, Василий Семенович был какой-то тихий, примиренный. Раздражали его только больные, их грубость, пустые разговоры, чавканье за столом, — в общем, он уже не смотрел на таких людей, как раньше, «превозмогая обожанье».

Мы ему сказали, что у него нефрит, вещь неприятная, но не опасная, почка не действует, придется ее удалить. Он слушал настороженно, но верил, по крайней мере, мне показалось, что он нам верил. Посещали его Ольга Михайловна, Е. В. Заболоцкая, писатель А. Г. Письменный, дочь Катя. Один раз пришла приехавшая из Харькова в Москву первая его жена, Галина Петровна, он был этим недоволен.

Операция прошла благополучно. Гудынский сказал: «Может быть, обойдется». Через несколько дней я должен был срочно вылететь на две недели в Душанбе, я договорился с Е. В. Заболоцкой, что она мне будет подробно писать. Вот ее письмо от 11 мая 1963 года:

«...Васе разрешили встать на ноги, сделать несколько шагов и сесть в кресло. И сегодня его выкупали в ванне. Рассказывает, что в ванне он испытал блаженство, хотя очень боялся купаться. Вечером, при мне, он продемонстрировал все свои достижения: прошел по палате к окну и, сидя в кресле, поужинал. Передвигается он медленно, с трудом, но старается без поддержки. Стало видно, как он похудел и какой у него плохой цвет кожи.

Деятого у него были три дамы — Анна Самойловна, Мариам Наумовна* и Асмик, — говорят, сильно шумели, обсуждали редакционные новости и сильно утомили его. Десятого долго не делали перевязку, и перевязка была в плохом состоянии. Вася говорит, что по лицам врачей он видит, что им не нравится его рана. По-прежнему из нее много выделений. Говорят, что теперь, когда он сможет сидеть и немного ходить, кровообращение станет лучше и все будет заметно улучшаться.

* М. Н. Черневич, переводчица с французского.

Объективно как будто все лучше, но он стал еще печальней, подавленней. Сегодня, когда впервые после операции подошел к окну, сказал: «Подошел вдохнуть воздух и посмотреть в окна онкологического института» *.

Вася просил передать Вам сердечный привет. Мы собирались вместе писать Вам, но сегодня он так устал от путешествий, что не смог даже продиктовать несколько фраз...»

Из письма Е. В. Заболоцкой от 16 мая 1963 года:

«Дорогой Сема, пишет Вам бабушка. Внучка родилась вчера в 10 ч. 50...»

У Васи все хорошо, и, кажется, дело идет на поправку. Он выходит на улицу. Спускают и поднимают его на лифте, а ходит один без поддержки. Я застала его сидящим на скамейке на улице. Настроение у него получше, хотя говорит, что ничто его не радует — ни весна, ни зелень, которую он так хотел увидеть...»

После выписки из больницы Гроссман заметно окреп. К нему вернулся хороший цвет лица. Можно было бы радоваться, если бы не знать о грозящей ему опасности. Мы каждый день гуляли вдвоем недалеко от дома, иногда по влечению, свойственному обоим, садились в трамвай и проделывали весь маршрут его длинный от начала до конца, наблюдая меняющихся пассажиров. Если против него сидели дети на руках у матерей, Гроссман строил им рожицы, и дети смеялись. А иногда мы в такси отправлялись к речному вокзалу, сидели в парке, любовались рекой, пароходами. Со слезами в голосе он мне рассказывал, что молодой писатель Овидий Горчаков пришел к Гудынскому, предлагал для Гроссмана свою почку.

Кажется, в августе он прочел мне окончательный вариант повести «Все течет», — все эти месяцы, выйдя из больницы, над ней работал. Я уверен, что «Все течет» — новое слово в русской прозе. Ее незавершенность кажущаяся. Соединение художественных страниц с публицистикой — результат обдуманного решения, а не поспешности, как полагают некоторые. Гроссман в этой повести рассказал о том, о чем до него никто не писал. Я никогда не видел ее напечатанную. Прототипы ее главных героев мне хорошо известны.

Ранней осенью с помощью Литфонда устроили Гроссмана в военном подмосковном санатории Архангельское. Он мне писал оттуда 11 сентября 1963 года:

* Онкологический институт им. П. А. Герцена, рядом с Боткинской больницей.

«Здравствуй, дорогой Сема!

Вот я пишу тебе из санатория Архангельское, сидя в отдельной, не проходной комнате. Санаторий хороший, богатый, природы очень много, и вся она красивая — парк старинный, с огромными деревьями, под обрывом Москва-река. К красоте природы относятся кино и бильярд, а особенно столовая.

Знакомых не видно, дух воинский, от коего я отвык с осени 1945 года. В первый же день очень много гулял, хо-роши на фоне зелени мраморные статуи — античные. Прелестна фигура 22-летней Юсуповой умершей — работы Антокольского. Куда Павлу * до дядзи... Уехал из Москвы в плохом, тяжелом настроении...»

Из письма от 16 сентября 1963 года:

«...Я тебе дважды звонил (отсюда можно, сюда нельзя), в пятницу, но телефон молчал...»

Погода, к сожалению, день ото дня портится, немного донимает меня астма — вероятно, от сырости, большого количества зелени. Но не страшно, да и врачей тут много — медицина сильная... Хожу тут каждый вечер в кино, знакомых нет. Тут отдыхает Яблочкина **. Не развлечься ли, не поухаживать за актрисой? Звонил Анне Самойловне, в «Неделе» меня похоронили, видимо...»

Из последнего письма ко мне — от 6 октября 1963 года:

«...Чувствую себя лучше, окреп, астма почти не тревожит в последние дни, похудел на 2 кило. Через 2—3 дня отправлюсь к Гудынскому. Отвык от больницы, и она стала пугать меня...»

Но в больницу он лег не сразу после санатория, а в начале зимы. Он стал очень плох, видно было, что не жилец. Причины раковых заболеваний мало исследованы, но нельзя игнорировать одну: тяжелое нервное потрясение. Не сомневаюсь, что он заболел оттого, что арестовали «Жизнь и судьбу». Он мог бы жить долго. Его отец умер, когда ему было за восемьдесят. В расцвете творческих сил Гроссман был выброшен, извергнут из литературного процесса. Накануне войны такая же судьба постигла другого корифея русской литературы — Михаила Булгакова. Истории болезни у них разные, а болезнь одна и та же. Вспомним, что и у Булгакова арестовали «Собачье сердце».

* Поэт П. Г. Антокольский, племянник скульптора.

** А. А. Яблочкиной было в то время 97 лет.

И вот Гроссман опять в Боткинской больнице. На этот раз он один в палате, а палата узкая, длинная, как гроб. Оперировать не стали: у больного нашли рак легкого. Дальнейшее его пребывание в больнице врачи сочли бессмысленным. Один из них сказал: «Пусть умрет в домашней обстановке».

Наступили тоскливые месяцы. Гроссман пробовал работать, читать. Он стал угрюм, раздражителен, уже не верил нашему обману, что поправится. Узнали мы, что в Баку имеется лекарство — какое-то производное от нефти, которое исцеляет от рака легкого. Через руководителя азербайджанских писателей Имрана Касумова удалось достать это лекарство. Гроссман стал его принимать под наблюдением врача, — улучшения оно не дало. Заговорили о другом лекарстве, французском, тоже якобы чудодейственном. Оказалось, что немного его есть у Лили Брик. Она была знакома с Гроссманом, поделилась с ним заграничным снадобьем, но и оно не помогло. Профессор-консультант литфондовской поликлиники предложил попытаться лечить Гроссмана с помощью химиотерапии, для чего применялось экспериментальное лекарство, изобретенное профессором Эмануэлем.

Корпус химиотерапии представлял собою одноэтажное деревянное здание, расположенное на задворках первой Градской больницы. Гроссмана поместили в отдельной палате, за стеной лежал поэт Светлов, тоже умиравший от рака. Светлова навещали ежедневно десятки людей, было лето, многие из них дожидались очереди во дворе. К Гроссману приходило несколько человек — одни и те же. Он лежал на высокой кровати, слушал посетителей, старавшихся развлечь его всякими новостями, а в глазах его светился один вопрос: «Буду ли жить?» А он хотел жить, он опять стал верить нашему обману, что врачи обещают хороший исход.

Однажды, когда мы с ним остались наедине, он показал мне маленькую таблетку и спросил с безнадежной улыбкой: «Ну скажи, разве такая крохотуля может спасти человека?» Тогда я вынул из кармана стекляшку с нитроглицерином, высыпал на ладонь таблеточку и сказал: «Посмотри, эта еще меньше, а меня она спасает», — и я почувствовал, что мне удалось хотя бы на минуту успокоить Гроссмана, убедить его в пользе лечения, потому что он хотел, чтобы его убедили, хотел жить.

Беда не приходит одна. В это же время заболела раком моя мать. Ее положили в Яузскую больницу по Ярославской железной дороге. Приходилось делать большие концы от одной больницы до другой. Гроссман спрашивал о моей

матери, но как-то безучастно, внешний мир отделялся от него. Седьмого августа мы похоронили мою маму на Востряковском кладбище. Е. В. Заболоцкую поразила суровость еврейского обряда омовения покойницы (мужчины при этом не присутствуют). Екатерина Васильевна рассказала об этом Гроссману. Он слушал внимательно, но думал о своем.

Он скончался в ночь на 15 сентября 1964 года.

Начались похоронные хлопоты. Писателей у нас хоронят по шести (я сосчитал) разрядам. Первый, самый высший: с усопшим прощаются целыми делегациями в Колонном зале Дома Союзов. Так хоронили Фадеева. Разряд последний, шестой: гроб стоит в доме покойника (так хоронили в Переделкине Пастернака) или — еще хуже — в больнице (так возле морга больницы им. Склифосовского говорились речи над гробом А. Ахматовой). Гражданскую панихиду по Гроссману, как и по Платонову, провели — таково было решение — по пятому, предпоследнему разряду: в одной из больших комнат Союза писателей. Но и этого надо было добиваться: Союз писателей определяет не только обстоятельства жизни, но и обстоятельства смерти своих членов. Дать или не дать объявление о смерти в «Вечерней Москве»? Дать или не дать некролог в «Литературной газете»? И каких размеров? И какой тональности? С портретом или без портрета? Со статьей видного писателя под некрологом или без такой статьи? Кому выступить на гражданской панихиде? На каком кладбище — по степени могильной престижности — хоронить? Например, на Немецком кладбище теперь хоронят только тех писателей, которые 50 лет пробыли в рядах КПСС. Все надо тщательно обсудить, а в особых случаях посоветоваться с вышестоящими инстанциями.

Конечно, это суета сует, бесчувственному телу все равно где истлевать, но человек так устроен, что ему — живому — нужна такая суета сует, чтобы утихла боль утраты.

Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не так-то прост. Я по старой памяти обратился за помощью к Николаю Чуковскому, который к тому времени высоко взобрался по бюрократической лестнице. Он сразу согласился мне помочь и повел меня к Тевекеляну. Не помню, кем был Тевекелян, то ли одним из секретарей московской писательской организации, то ли ее главным партийным. Будучи человеком восточным, он в отличие от русского на его месте умел казаться приветливым, сердечным, но я неплохо знал Восток.

С первых слов моего прежнего товарища в кабинете Тевекеляна я понял, что мне от Николая будет мало толку. Он сказал: «Видите ли, в последнее время я с Василием Семеновичем не встречался, мы разошлись», — и Тевекелян ответил с одобрением в голосе: «Да, да, я вас понимаю».

Я представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин. «А вы?» — спросил Тевекелян, обращаясь к Николаю Чуковскому. Тот отказался. Тевекелян не настаивал. Записав три фамилии, он мне сказал: «Мы подумаем, а по остальным вопросам обратитесь к Воронкову, я ему позвоню, чтобы он сейчас же вас принял».

Воронков был оргсекретарем Правления так называемого Большого Союза. Я отправился к нему один. Николай сказал мне, что он больше мне не нужен. И был прав. Воронков — важный, вернее, важничающий, чиновник — принял меня сухо, но я знал, что приветливость Тевекеляна равняется сухости Воронкова. Я положил на стол некролог, составленный мной и Эренбургом. «Оставьте, мы отредактируем и пошлем в „Литературную газету“», — сказал Воронков. Я спросил: «Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?» — «Его-то и надо», — отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно. И я еще раз понял, что все эти функционеры, в сущности, крепостные актеры, играют каждый свою роль, чтобы умиловить господина, а не то — под ярем барщины, на скотный двор. Понял и то, что под этими гольдониевскими масками надо искать человеческие черты.

На другой день рано утром мне позвонил Тевекелян, сказал, что гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей, что выступать будут Евгений Воробьев, Эренбург и Александр Бек, что в крематории могу выступить я, но я должен свою речь написать и предварительно показать ему, Тевекеляну, что отредактированный некролог уже отправлен в «Литературную газету» и в «Советскую культуру», что я должен принести как можно скорее портрет Гроссмана и текст своего выступления, что вопрос о кладбище будет решен позднее, это не к спеху, поскольку речь идет об урне. Я спросил, все ли должны принести ему тексты своих выступлений. Тевекелян не ответил, сказал: «Жду вас к двенадцати».

Я набросал текст своей речи, заехал к Ольге Михайловне за фотоснимком, отправился к Тевекеляну. Хотя я явился в назначенный час, Тевекеляна не было, его секретарша сказала, что она в курсе дела, фото Гроссмана надо оставить ей, о тексте моего выступления — ни слова.

На гражданскую панихиду пришло, на глаз, около ста человек, все больше литераторы и их жены, читателей было мало. Евгений Воробьев (книг его я не знаю) говорил сердечно, взволнованно. Чувствовалось, что он любит и почитает Гроссмана. Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. «В некрологе, — сказал Эренбург, — напечатано, что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения — лучшие?» Все поняли, что имел в виду Эренбург.

Речь талантливого Александра Бека произвела на меня и на друзей Гроссмана неприятное впечатление. Он крутил. Более того, как бы подмигивал слушателям: мол, смотрите, кручу. Он хотел сказать то, что думал о Гроссмане, а думал он о нем высоко и в то же время боялся, трепетал. Он как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого руководства, забыв, что мертвому это уже не нужно. Литературное начальство представлял один Тевекелян, он же поехал с нами в крематорий, простые люди — в двух автобусах, — он в персональной машине.

В крематории я читал речь, как мне было велено, по записи. Среди прочего я сказал следующее: «Мы, читатели Гроссмана, уверены, что в ближайшее время будут изданы все его сочинения, как уже опубликованные, так и пока еще не опубликованные». Когда я произнес эти слова, Тевекелян при всеобщем молчании покинул зал крематория.

Родственники Гроссмана, Е. В. Заболоцкая и я хотели захоронить урну с пеплом на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой отца Гроссмана, близко от Беговой, где Гроссман жил долгие годы, близко от центра Москвы. Но Ольга Михайловна настаивала — и упорно — на Новодевичьем, самом престижном кладбище страны. Там похоронили Михаила Светлова, умершего почти в одно время с Гроссманом, и она хотела той же участи для останков своего мужа. Союз писателей отказался ходатайствовать о Новодевичьем: не положено.

В Москве на посту заместителя председателя Верховного Совета РСФСР находился кабардинский поэт Алим Кешоков, стихи которого я переводил. Впоследствии, в качестве главы Литфонда, он исключил меня и мою жену, поэтессу И. Л. Лиснянскую, из этой крайне полезной организации.

Но тогда мы с Кешоковым были в добрых отношениях, и с его высокопоставленной помощью удалось добиться разрешения захоронить урну с прахом Гроссмана на Троекуровском кладбище, за Кунцевом. И название звучное, и кладбище многозеленое, оно было задумано как филиал Новодевичьего. Там и стоит теперь гранитный бюст Гроссмана работы скульптора Письменного (сына писателя).

Рядом с Гроссманом покоятся Светлов (другой, не Михаил — цыганский писатель) и мать бывшего министра МВД Тикунова.

Доступ к Троекуровскому труден, автобус к нему идет от станции метро «Кунцево» нечасто и нерегулярно, в последние годы кладбище решили законсервировать, филиалом Новодевичьего стало находящееся поблизости Ново-Кунцевское кладбище, а Троекуровское запущено, там никого не хоронят. Безмолвный городок мертвых, редко посещаемый живыми. Читатели не знают, где лежит Гроссман...

По решению руководства московского отделения Союза писателей в комиссию по литературному наследству Гроссмана вошли Георгий Березко (председатель), Твардовский, Борис Галин, Александр Письменный, Миральда Козлова (от ЦГАЛИ), Ольга Михайловна и я. Предложили было председательское место Твардовскому, мы этого горячо желали, много значила бы его подпись под различными ходатайствами, но Твардовский, согласившись стать членом комиссии, от председательствования отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора «Нового мира». Кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами, были отклонены писательским руководством.

Березко имел те основания возглавить комиссию, что был хорошо знаком с Гроссманом, ценил и любил его талант. Гроссман посещал с ним рестораны, ему импонировали светскость и непринужденность Березко в этих славных учреждениях. Однажды в машине приятельницы Березко мы поехали в Ясную Поляну, и Березко сказал у могилы Толстого: «У меня сейчас такое чувство, будто я целую край гвардейского знамени». К его литературной деятельности Гроссман относился насмешливо, но добродушно.

Поначалу комиссия работала довольно слаженно, даже энергично, особенно если вспомнить, что мы занимались литературным наследием автора арестованного романа. Что нам удалось? Опубликовать в журналах несколько рассказов Гроссмана, его дневниковые записи военных лет, «Добро вам» — увы, в искаженном виде. Не удалось главное:

издать пятитомное собрание сочинений, изъять из Лубянки и передать в ЦГАЛИ «Жизнь и судьбу».

Мы решили просить сталинградское (волгоградское) начальство о присвоении имени Гроссмана, как храброго участника великой битвы, одной из улиц или библиотек города, решили для этой цели отправить меня в Волгоград. Союз писателей не одобрил, видимо, решения комиссии, отказался оплатить командировку, я поехал за свой счет, добился приема у секретаря обкома по пропаганде Небензи, он знал произведения Гроссмана, обещал подумать о присвоении имени писателя одной из новооткрывающихся библиотек, но, видимо, хорошенько подумав, с кем надо посоветовавшись, отцы города отказались от этого намерения.

Большой урон нашей комиссии нанесли две смерти: Твардовского и Письменного, людей разной степени литературной авторитетности, но одинаково порядочных. То, что их не стало, я особенно остро почувствовал в один памятный день, когда мы собрались на очередное заседание в маленькой комнатке Дома литераторов. Я не могу сказать о себе, что отличаюсь интуицией, электрической силой предчувствия, во всех обстоятельствах жизни предпочитаю опираться на факты, но в тот день, пока мы рассаживались, в воздухе чудились отрицательные ионы, которые прыгали от Березко и Галина. Наконец Березко высказался, нервно и неуверенно, больше чем обычно заикаясь: «В моей голове не укладывается, — сказал он, — что писатель-патриот, каким я всегда считал Гроссмана, написал грязную, враждебную нам повесть «Все течет», теперь изданную за рубежом и прославляемую всяким охвостьем. Я предлагаю поместить от имени всей нашей комиссии письмо в «Литературной газете», в котором мы должны с гражданственным гневом осудить и самого Гроссмана, и буржуазных писак, его хвалителей, заявить, что считаем нашу комиссию распушенной». Галин присоединился к предложению Березко, тоже выразил недоумение — как это Гроссман, создавший нужные нашему народу произведения, написал клеветническую повесть, и добавил с надеждой, обратившись ко мне: «Может быть, не Гроссман ее написал? Вы читали?» Я ответил вопросом: «А вы читали? А вы, Георгий Сергеевич, читали?» Березко и Галин молчали, видно было, что они здорово напуганы.

Я спросил у Березко, получил ли он указания о письме в «Литературную газету» и о самороспуске нашей комиссии от секретариата московского отделения Союза писателей, в частности от секретаря по оргвопросам В. Н. Ильина. Выяснилось, что такого указания не было, Березко и Галин

стремились опередить события, они были, как любил выражаться Платонов, — забегальщиками. «Ярость к врагам, — признался Березко, — не нуждается в указке».

Я сказал, что, как учит нас Лебедев-Кумач, пусть ярость благородная вскипает, как волна, однако я не понимаю тех, кто рассуждает о произведении, даже не прочитав его, что решение о роспуске нашей комиссии должно исходить от секретариата, а, поскольку этого нет, мы обязаны спокойно продолжать работу, порученную нам секретариатом, — заниматься изданием и популяризацией литературного наследия Гроссмана.

Неожиданно меня поддержала сотрудница ЦГАЛИ Миральда Козлова. Я давно заметил, что она, как многие деятели такого рода, высказывается всегда толково, чуждается демагогии. Она сказала, что опубликование в «Литературной газете» предлагаемого Березко письма будет только на руку врагам, что мы должны сохранить Гроссмана как советского писателя, не отдавать его нашим недоброжелателям. Там, за рубежом, считают, что «Все течет» есть вторая часть романа, и пусть продолжают так считать, хорошо, что ничего они не знают, пусть треплются.

Мы разошлись, не приняв никакого решения, но с того дня наши заседания прекратились. Березко понимал, что поступил гадко. Встретив однажды меня, он спросил: «Вы не подадите мне руки?» Я подал ему руку. Ничтожный, слабый, он мог бы в другом обществе быть приличным человеком. Комиссия наша распалась сама по себе, без указания сверху: Березко и Галин умерли, я вышел из Союза писателей.

Произведения Гроссмана перестали издаваться. Его имя все реже, нехотя упоминалось в печати. Угасал читательский интерес к его книгам: ведь читатели читают то, что им дают. И вдруг приходит весть, что после многих лет заточения роман вырвался на свободу, что отдельные его главы напечатаны то в том, то в другом журнале. А полностью? Идут годы, о полном издании романа ничего не слыхать. Молчат и радиоголоса. Знающие люди объясняют: роман большой, а капитализм есть капитализм, трудно найти издателя, пожелавшего рискнуть — вложить деньги в предприятие, не сулящее скорой прибыли. К тому же не каждому издательскому рецензенту роман может понравиться. Не завораживает никого и имя Гроссмана, даже на родине постепенно утратившее свою громкость.

Что думал по этому поводу я? Горькими были мои думы. Судьба романа Гроссмана как была связана с его жиз-

нюю, так и осталась связана с его смертью. Если такое великое произведение, как «Жизнь и судьба», десятилетиями томившееся в темнице, не может выйти к читателю на Западе, то Запад достоин слез и смеха, уважать его нельзя.

Я ошибался. Я забыл булгаковское правило — удивляться не тому, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи ходят. И медленно, не сразу, мне на удивление, трамвай пошел. Умные, даровитые люди, всем сердцем любящие родную литературу, посреди трудностей своего эмигрантского бытия не пожалели усилий, чтобы найти бескорыстного издателя для Гроссмана и, найдя его, со всей мыслимой в таких необычных условиях тщательностью подготовить книгу к печати, книгу, израненную на долгом и тяжком пути от неволи к воле.

И вот роман напечатан. Пусть радиоголоса о нем не говорят или говорят скороговоркой и, кажется, нет понимания того, что произошло важное событие в духовной жизни России — изгнанной и неизгнанной, — время направлено в сторону правды, все станет, верил я, на свои места. Как чудно сказал один второстепенный русский поэт, Бог не устал, Бог шествует вперед. Пусть с продолжительными, внезапными задержками, а трамвай ходит. Наконец он дошел до нас.

Разумеется, немногие на родине попали на его подножку, немногим удалось прочесть «Жизнь и судьбу», но из тех, кому это удалось, никто, насколько я знаю, не остался равнодушным к книге, ее художественную силу, величавость ее красоты, ее русскую боль, ее русскую правду приняли в свою душу все.

Запад есть Запад, он не торопился с переводом книги на язык своих наций. Да и то сказать, книга большая, в ней свыше сорока печатных листов, и повествует она о событиях сорокалетней давности, поневоле задумается издатель.

И все же книгу перевели, и прежде всего — на язык вечного романа, на французский. Говорят, во Франции она стала бестселлером. Какое счастье, какое возвышающее нас счастье! Когда я узнал об этом, сердце мое, больное мое сердце забилось по-молодому, и слезы на глазах загорелись не старческие, а молодые, счастливые. Неужели мой друг оттуда, из элизиума, не видит, не радуется вольной поступи своего детища?

Вспоминается полное поэтической мысли, удивительное место из его романа:

«Сталинград перестал жить своей обычной жизнью — в нем умерли школы, заводские цехи, ателье дамского пла-

тя, самодеятельные ансамбли, городская милиция, ясли, кинотеатры... В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город — Сталинград войны... Каждая эпоха имеет свой мировой город — он ее душа, ее воля. Вторая мировая война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград... Мировой город отличается от других городов тем, что у него есть душа. И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода».

Таков, скажем и мы, Сталинград Василия Гроссмана, такова сияющая многоцветным огнепадом победа Гроссмана над духовно поверженным злом, победа свободы.

Соплеменники Стендаля и Бальзака, Флобера и Пруста хорошо понимают, что такое роман. И стоит прислушаться к французским критикам, когда они свои статьи, посвященные «Жизни и судьбе», озаглавливают так: «„Война и мир" нашего времени», или «Великий русский роман», или «Роман, продолжающий великие русские традиции», или «Титан в сердцевине тьмы». Поразительные слова нашел Петру Думитриу, видимо, верующий католик. Он так глубоко проник в самую суть Гроссмана, что излишне спорить со второстепенными частностями. Читатель должен узнать эти поразительные слова, пусть в необработанном переводе:

«Гроссман писатель и ученый по натуре. Есть великий, потрясающий миг в духовной жизни человека науки: восторг перед грандиозным внутренним миром материи и одновременно перед загадочным соответствием между духом человеческим и таинственной реальностью Вселенной.

Тут Гроссман останавливается. Его герои тоже. Они — на пороге молитвы. Всего лишь один шаг остался на пути потрясающего восторга перед двойной тайной — тайной познания бездонной рациональности мира и тайной Бога, который есть Слово-Смысл, Логос, Бог-сын Иисус Христос. Всего лишь один шаг остался, но Гроссман этого не ведает.

Крайне важна рукопись Иконникова. Это — заповедь, философия Гроссмана. Скажем кратко: человеческая доброта, подземная, инстинктивная, слепая, непреодолимая. Христиане знают, что это адаре, на иврите — ахава, Любовь Бога, Любовь Христа, который сам есть не что иное, как Любовь, эта Любовь присуща человеку с первого дня творения.

Гроссман-Иконников не называет эту Любовь по имени. Хотя он еврей и русский, он слишком долго был марксистом-ленинцем, слишком долго был слепым... Невежество, предрассудки, глухота мысли. Он так и не узнал ни Христа,

ни даже Будды, и еще меньше — их воплощение в миллиардах людей, следующих за ними. Однако я надеюсь, что Христос сжалится надо мной и простит мне, если я осмелюсь сказать: Гроссман был недалеко от Царства Божия».

Эти слова принадлежат человеку, который лично не знал Гроссмана, никогда его не видел, но постиг его сущность гораздо глубже, чем многие, видевшие и знавшие Гроссмана. В русской — да и в мировой — литературе не так-то просто найти писателя, чей нравственный идеал был бы сопряжен его человеческим чертам, был бы с ним слит. Мы это не можем сказать даже о Пушкине, даже о Толстом, основателе одного из направлений христианства. В России полное слияние человеческих черт с нравственным идеалом художественных творений я нахожу только у Короленко, Чехова, Гроссмана. Но первые два жили во времена, которые кажутся нам баснословно чудными, а не теперь, когда простая житейская порядочность, вследствие своей редкости, воспринимается как нечто удивительное, сверхпрекрасное.

Может быть, поэтому и считали Гроссмана неуживчивым, угрюмым, резким, что не был он похож на своих приятелей-писателей, год за годом терявших человеческое начало (такие, как Платонов, — исключение, потому-то так трудно сложилась его судьба). Никто не требовал от писателей, чтобы они, как некогда Пушкин, написали послание заключенным во глубине сибирских руд, но как могли эти художники слова печатно заявлять о том, что надо строго покарать их собратьев, исключить, осудить, заточить, изгнать? Никто не требует от академиков, чтобы они, как некогда Чехов, протестовали против того, что преследуют их собрата, но почему они трусливо отказываются от общения с ним? Потому что они, эти художники слова, эти академики — темные, в них нет света жизни.

Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:

Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом — корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдьё в споре,
Творил он из тысяч историй,

И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет бывшего,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.

Вслед за верующим румыном я прошу у Господа простить меня, если скажу, что Гроссман был святым.

1984

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книгу, которую читатель сейчас прочел, я написал пять лет назад, но мне кажется, что прошло не пять лет — прошла целая эпоха. Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В. С. Гроссмана.

Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе «Метрополь». Авторы альманаха подверглись жестокому нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, исключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и моя жена, поэт Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей.

На нас обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица.

В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас.

Как я уже писал, Гроссман предложил «Жизнь и судьбу» журналу «Знамя» летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета. Однажды, а дело уже приближалось к зиме, Е. В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте. Гроссман внимательно, долго и хмуро посмотрел на нас и спросил:

— Вы оба опасаетесь чего-то дурного?

Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее:

— Во время войны, когда Англию бомбили немцы, Черчилль говорил в парламенте: «Худшее впереди».

— Что же ты предлагаешь?

— Дай один экземпляр мне.

Так за полгода до ареста романа в моем распоряжении оказались три — по числу частей «Жизни и судьбы» — светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далеко от литературы.

В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне:

— Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан — хотя бы за рубежом.

Первые два завещания не были выполнены, потому что Ольга Михайловна хотела для мужа и панихиды в Союзе писателей, и более элитарного кладбища. Третье завещание моего друга я выполнил, хотя и не сразу.

Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: «Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше».

Это был упрек самому себе.

И все же в конце 1974 года я принял серьезное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да еще и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом.

Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благоразумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу.

Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда,

был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахарова.

Роман вырвался из оков.

Впоследствии, когда роман был издан на русском языке, выяснилось, что по техническим причинам оказались пропуски — иногда отдельных слов, фраз, иногда целых страниц. Пропуски эти — результат несовершенных фотоснимков и ни в коем случае не касались идейного содержания романа.

Пять лет зарубежные издатели русской литературы отказывались опубликовать «Жизнь и судьбу», как мне стало известно, потому, что, по их мнению, роман о второй мировой войне теперешним читателям будет неинтересен, а о лагерях уже написал Солженицын. Наконец владелец швейцарского некоммерческого издательства «L'Age d'Homme» («Возраст человека») опубликовал роман на русском языке небольшим тиражом.

Не сразу роман привлек к себе внимание переводчиков и книгоиздателей на европейских языках. Пионерами, как я уже писал, оказались французы. Потом, после небывалого успеха книги во Франции, появились переводы на английском, немецком языках и, кажется, на испанском.

Редактор журнала «Октябрь» А. А. Ананьев, ознакомившись с романом, увидел, что книга эта великая. С необычайной смелостью, я бы сказал, с литературной дерзостью он решил напечатать «Жизнь и судьбу» в своем журнале. Благодаря А. А. Ананьеву книга Гроссмана стала национальным достоянием советских читателей.

Будучи членом новосозданной комиссии по литературному наследию Василия Гроссмана, я сдал А. А. Ананьеву как председателю комиссии все три папки. Теперь читатель получит уже полюбившееся ему произведение без пропусков.

Недавно, 12 декабря прошлого года, когда мы в семье Гроссмана отмечали день его рождения, я узнал, что черновик романа Гроссман отдал своему другу (ставшему и моим другом) В. И. Лободе. Мне неизвестно, как и когда это произошло, Гроссман об этом мне не сказал — и правильно сделал. В те годы человек не должен был знать больше того, что ему знать полагалось.

Я увидел этот черновик: машинопись, густо исправленная хорошо знакомым мне мелким почерком. Сопоставление некоторых — на выбор — страниц с сохраненным мною черновиком показывает, что черновик окончательный.

АННА БЕРЗЕР

ПРОЩАНИЕ

«ПАМЯТИ ПАВШИХ»

«Неужели мы уступим писателям будущих поколений честь рассказать об этом миру?» — сказал Василий Семенович Гроссман в день окончания войны.

Буквально в этот день... Слова эти напечатаны в «Литературной газете», в номере, посвященном Дню Победы. Накануне парада. В небольшой статье «Труд писателя» он рисует командный пункт командира стрелковой дивизии, где ему удалось побывать.

«Противник, злой и сильный, бил всей мощью своей артиллерии, молотил авиацией, таранил танками наш передний край. Кое-где оборона наша дрогнула.

Напряжение на командном пункте было необычайное, лица людей суровы и пасмурны. Беспрерывно звонил телефон — тревожные вести шли из полков. Внезапно позвонил командующий армией. Сидя на нарах, неподалеку от командира дивизии, явственно слышал я раскаты злого начальнического голоса — командарм распекал моего хозяина. Едва командарм закончил разговор, как прибежал офицер связи с новым тревожным донесением, и тут же снова зазвонил телефон: командир полка просил поддержки. Полковник, командир дивизии, не мог ему этой поддержки оказать — на участке соседнего полка положение оказалось еще серьезнее, еще тяжелее».

Гроссман сидел рядом и «следил за лицом полковника — оно казалось спокойным. Но, видимо, спокойствие это было внешним».

И дальше: «Мне представилось на минуту, что испытал бы я, если бы вот сейчас весь огромный, тревожный груз ответственности за исход этого боя некто внезапно тут же, в этом блиндаже перевалил с плеч этого полковника на мои...»

Потом добавляет: «Но тут произошла любопытная вещь. Командир дивизии, который, казалось, забыл о моем присутствии, точно подслушав мою мысль, внезапно повернулся в мою сторону и улыбнулся, улыбнулся с некоторым злорадством. „Ничего, ничего, — сказал он, — теперь я па-

рюсь, но вот кончится война, придется попариться писателям, все это объяснить да описать"».

В день окончания войны Гроссман не случайно вспоминает «этот маленький разговор». Чтобы после этого сказать: «Вот оно и пришло, время нашей ответственности. Отдаем ли мы себе отчет в размерах и тяжести этой ответственности? Понимаем ли огромность благодородной и совсем не легкой работы? Понимаем ли мы, что нам, никому иному, пришло время вступить в сражение с силами забвения, с медленным и неумолимым течением реки времени. Надо сохранить в памяти людей великое время. Мы — очевидцы и свидетели того, как черное, мировое зло вырвалось на простор Европы, сокрушая, испепеляя добро, мораль и самую жизнь».

С первого же мирного дня отчетливо понимал Гроссман великие задачи великой литературы. Точно так, как и в последние дни своей жизни. И этот переход от мастерски написанного боевого эпизода к сокровенной лирике души — вечен в творчестве Гроссмана.

Огромная ответственность перед правдой жизни и правдой войны... Перед настоящим и будущим... Перед литературой и собственным своим творчеством.

Характерно, что в маленькой этой заметочке он находит место и таким словам: «Но наш литературный труд — достоин ли он великой литературы прошлого? Может ли он служить образцом для грядущего? Сегодня мы на этот вопрос должны ответить отрицательно. И потому особенно больно наблюдать подчас встречающиеся в нашей литературной среде чванливую самоуверенность, сытое, ленивое довольство убогими результатами торопливых и поверхностных трудов».

Кончает Василий Семенович Гроссман так: «Все это, чем победил народ в войне, должны мы написать на знамени нашего маленького литературного войска, начиная наш долгий послевоенный труд. Иначе не стать нам достойными русской литературы прошедших поколений, иначе не стать нам полезными народу в настоящем, не стать достойными его будущего».

Так понимает Гроссман свои задачи, начиная свой долгий послевоенный труд, определяя будущий путь, его нравственный и общечеловеческий смысл, отбрасывая с этого пути все чванливое, самодовольное и сытое... В этот 1945 год... Будто прозревая всю толщу десятилетий.

И мне хочется еще раз повторить его слова из этой статьи: «Неужели мы уступим писателям будущих поколений честь рассказать об этом миру?»

Надо ли отвечать на этот вопрос?

С самого начала мне хотелось бы сказать о его постоянности, верности своему писательскому труду и ясном понимании того, чего он хочет от литературы и от самого себя в момент окончания войны.

Проходит ровно год... И снова наступило 22 июня, но 1946 года — годовщина войны, первый раз прожитая нами без войны.

«Памяти павших» — называется статья Василия Гроссмана, написанная специально к этому дню.

«Величайшая из войн повлекла великие жертвы, победа далась нам не даром; могла ли даром даваться нам победа в этой невиданной по ожесточению борьбе», — этими, даже чуть скуповатыми строчками начинает он свою статью.

И чуть дальше:

«Мы знаем — жизнь щедра и богата. Мы знаем — на место павших пришли новые борцы и свершили победу. В бессмертии великого дела, в вечности жизни народа — утешительная мудрость, давно уж познанная людьми. Павшие живут в делах живых. Эта мудрость утешает нас...»

И вдруг на этом слове резко обрывается его голос: «Но к чему утешаться мудростью! Мы достаточно сильны духом, чтобы не искать утешения в своей печали. Пусть печаль не ищет себе утешений, пусть она живет в нас...»

Он вспоминает войну:

«Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму».

Такова география войны в жизни Василия Гроссмана...

И все-таки он уверен, что города поднимутся из пепла... «Но почему и теперь, — спрашивает он, — в пору победы жизни над смертью, вспоминается мне красноармеец, которого видел я под Ельней в декабре 1941 года. Он лежал на молодом, только что выпавшем снежке, под молодой, тоненькой яблонькой, лежал маленький, как воробушек, и на мальчишеском лице его была лукавая и робкая улыбка. Он прижимал к груди котелок с замерзшей кашей, и невинные длинные ресницы, казалось, вот-вот поднимутся над глазами, такими эти ресницы были тонкими и длинными, такими шелковистыми и легкими».

И — главное чувство, главная боль:

«...нет силы, которая могла бы чуть-чуть поднять эти легкие шелковые ресницы над сомкнувшимися глазами юноши в красноармейской шинели. Этим глазам не увидеть осенних желтых листьев и блеска ручья, и пивной пены в кружке, и ласкового взора матери, и лунного света, и звезд на небе, и свежего ржаного хлеба. Эти глаза закрылись навеки веков».

И опять повторяет он:

«Так не будем же утешать себя мудростью, мы, ведшие войну ради человека, святости человеческой жизни и человеческой свободы».

Эта гуманистическая лирическая тема звучит патетически: «Нет ничего драгоценней на земле жизни человеческой, потеря ее безвозвратна. Потеря эта безвозвратна и невозместима... Каждый человек вплетается нитью в ткань жизни. Выдернута, порвана нить... Ткань жизни становится бедней и, как бы тонка, как бы хрупка и непрочна ни была эта нить, оборвавшись, исчезнув, она обедняет ткань. Новые, вплетенные в ткань жизни нити уж никогда не заменят исчезнувшую — она единственная и неповторимая в своей пышности, в скромности своей, в прочности, тонкости, хрупкости».

Гроссмановское понимание неповторимости человеческой жизни — одной-единственной, живой, именно этой — как реквием над могилами павших.

«Вряд ли за всю историю человеческого рода, — восклицает он, — были два человека, полностью похожих друг на друга».

И опять, как музыкальный повтор, звучат его слова: «Нет ничего драгоценней человеческой жизни, потеря ее безвозвратна и невозместима».

Это великая гуманистическая программа... И естественно, что, возвращаясь к только что окончившейся войне, именно Гроссман сказал тогда: «На фронте приходилось слушать рассуждения о том, что война уничтожает ощущение ценности человеческой жизни, что там, где погибли миллионы, люди перестают верить в ценность жизни, перестают ощущать ее».

Что же ответил в тот год на это Василий Семенович Гроссман?

«Среди больших и малых задач, стоящих перед литературой, есть одна поистине великая и вечная задача. Эта задача — утвердить человека в его простых и священных человеческих правах, в его праве жить на земле, мыслить и быть свободным. Вечная и главная задача литературы!»

Ей служили самые великие писатели нашей земли — Пушкин и Толстой. Право жить на земле, право мыслить и быть свободным, независимо от того, какого цвета кожа человека, какая кровь течет в его жилах, независимо от того, беден он, бос ли, в мозолях ли его руки. Раскрыть и измерить духовное богатство и величие человека, познать в человеке человека!»

Право жить... Право мыслить... Право быть свободным... Вот заповеди, сформулированные прямо именно тогда.

Душа писателя — доверчивая и добрая — распахнута перед нами и на этих страницах. Так понимал он будущее свое творчество, свою, если можно так сказать, «писательскую задачу».

В конце статьи — в потоке слов и чувств слышен удивительный его голос:

«Нам не нужна утешительная мудрость, когда мы вспоминаем наших друзей, наших товарищей, погибших на полях войны».

В лирическом движении, в повторении слов и образов — мысль обнажается с особенной скорбью: «Пусть печаль наша будет глубока, безутешна, вечна. Эта потеря безвозвратна и невозместима. Пусть вечно живет в нас гордость победы человека в величайшей из войн истории, пусть вечна будет печаль о человеке, убитом на поле сражения. В безутешной печали по павшим — истинная вера в силу и святость человеческой жизни».

И образ убитого мальчика в красноармейской шинели с его длинными, шелковистыми и мягкими ресницами, с его лукавой и робкой улыбкой, — писатель не просто оплакивает его, он вплетает его неповторимую, остановившуюся навсегда жизнь в общую ткань земной жизни и показывает, как без нее эта ткань становится беднее.

Вот глубинные корни его гуманизма и его демократизма.

Если бы он не верил в то, что литература спасет человеческую жизнь от одичания, — разве мог бы он писать?

Чувством огромной ответственности проникнуты эти страницы.

Так понимал Василий Семенович Гроссман смысл своего писательского труда, когда, вернувшись с фронта домой, он начинал писать роман «За правое дело».

Чем был еще он занят именно в эти месяцы и дни? После войны.

Первый раз наши пути скрестились случайно, может быть, но очень для меня значительно и даже символично.

Я только что поступила на работу в редакцию «Литературной газеты» — после института и войны, не зная, что ждет меня впереди. И вдруг меня посылают к Гроссману, чтобы взять «интервью», хотя тогда у нас не было этого названия. Поговорить и записать... Сначала я не поняла о чем, думала — просто о писательских планах. Мы часто делали такие беседы.

Но в редакции знали, как мне нравятся его книги и статьи, и, относясь ко мне хорошо, послали к Гроссману именно меня, хотя я была моложе всех и по возрасту и по стажу работы, исчисляемому несколькими месяцами.

Я так волновалась, когда звонила, шла к нему и потом сидела у него, что запомнила только его тесно заставленную комнату (это было до Беговой), синие его глаза и голос — голос я запомнила навсегда.

Я сидела, уткнувшись в листы бумаги, и записывала то, что он говорил мне, стараясь не упустить ни слова. Потом спрашивала его по ходу беседы и добавляла в текст. И 22 января 1945 года в «Литературной газете» появилась заметка, которую с его слов написала я.

Она называлась «Черная книга». Потом, с годами, я поняла, заметка эта — очень важный документ и даже в своем роде — единственный. Приведу ее полностью.

«ЧЕРНАЯ КНИГА»

«Комитет писателей, ученых и общественных деятелей Америки, возглавляемый Альбертом Эйнштейном и писателем Шолом Ашем, обратился к Еврейскому антифашистскому комитету в Москве с предложением принять участие в издании «Черной книги» — книги о фашистских зверствах над мирным населением оккупированных немцами стран и районов СССР, где поголовно было истреблено все еврейское население.

В создании этой книги принимают участие общественные организации СССР, США, Англии, Палестины и других стран.

В «Черной книге» будут опубликованы документальные материалы, приказы немецкого командования об истреблении мирного населения, рассказы очевидцев, песни, стихи, дневники мучеников гетто, предсмертные письма, показания пленных немцев, акты, фото.

Создана редакционная коллегия из представителей общественных организаций разных стран. От СССР в нее входят представители Еврейского антифашистского комитета — С. Михоэлс, Д. Заславский, Ш. Эпштейн, И. Фефер, С. Галкин, Д. Бергельсон, Л. Квитко, П. Маркиш, доктор Б. Шимилиович, С. Брегман. От общественных организаций Америки — Альберт Эйнштейн, Лион Фейхтвангер, Шолом Аш и другие, председатель Всемирного еврейского Конгресса Н. Гольдман, доктор Стивен Вайс и другие.

От общественных организаций Англии в коллегия вошли: поэт Иосиф Лефтович, проф. Бродецкий, главный раввин Великобритании доктор Герц и другие.

В Америку уже отправлены первые двадцать пять печатных листов документального материала, литературно обработанного писателями.

«Черная книга» выйдет из печати в 1945 году. Она будет издана в СССР, в Англии, в США и Палестине на русском, английском, еврейском, испанском, немецком и других языках».

Название поставила я сама, ничего не сказав Василию Семеновичу. Потому что не верила, что оно устоит на своем месте. Невозможно было представить...

И даже по газетным канонам (в принципе вполне правильным) — название книги нельзя было делать названием статей и заметок.

Но два эти слова «Черная книга» — ведь не название, а целый мир, полный мрака, черноты и боли. Его нельзя было заменить ничем. И я поставила кавычки и вписала эти слова. И все прошло и было напечатано в газете — «Черная книга»... Единственный раз в нашей стране.

И вероятно, то были невнятные и неосознанные чувства тревоги, когда я ловила гранки, а потом сверстанную полосу (первый раз так активно в моей профессиональной жизни!), чтобы убедиться, что название стоит. Именно название. А утром в день выхода газеты я увидела эту заметку точно в таком виде, в каком сдавала ее.

Когда я сидела у Василия Семеновича Гроссмана, слушала его и записывала, была какая-то приподнятость и гордость от этих слов, что Альберт Эйнштейн, стоящий во главе Комитета общественных деятелей Америки, обратился к нам с предложением принять участие в создании «Черной книги».

Факт, мне кажется, потерянный в нашей истории. Даже сейчас, когда заговорили о «Черной книге», пишут

об Еврейском антифашистском комитете, не упоминая о его мировых связях.

Василий Семенович Гроссман рассказал о Международном объединении общественных организаций вокруг издания. Он назвал все главные имена во всем мире. И это объединение гуманистических сил всего мира вселяло надежду и высоту чувств.

К этому моменту была готова первая часть. Потом, через много лет, я прочитала у Эренбурга, что он тоже принимал участие в создании «Черной книги» и что работа пошла особенно активно с конца 1944 года.

Но главным собирателем, редактором, организатором, чернорабочим в буквальном смысле этого слова был Василий Семенович Гроссман.

Много лет спустя он сказал мне, что готовый макет книги пошел под нож — это подлинные его слова. Это случилось еще до разгрома Еврейского антифашистского комитета и ареста Фефера, Галкина, Бергельсона, Квитко, Маркиша и многих других в 1948 году.

То, что рассказал мне Василий Семенович, нужно считать главным документом в истории создания «Черной книги» — ее замысла, размаха, участия общественных сил всего мира. Ее характера и формы. Мне неудобно к этому добавлять, что единственным человеком, который получил за нее гонорар, — была я. Сама я не помню, но понимаю, что было так. И вообще, заметку мою хвалили...

Заслуга, конечно, не моя, а Василия Семеновича Гроссмана.

Так работа Гроссмана, начатая фактически под руководством Альберта Эйнштейна, в объединении со многими прекрасными людьми мира — «пошла под нож». Конечно, этот разгром «Черной книги» и ее деятелей шел от Сталина.

А Гроссман должен был пережить первое уничтожение рукописи. Об этом он не забывал никогда. Но не отступил от своего пути ни на шаг. Ведь антифашизм Гроссмана вырос из гуманизма русской литературы. Как у Виктора Некрасова, первую повесть которого в эти именно годы с радостью встретил Гроссман. «Бабий яр» Некрасова и «Треблинский ад» Гроссмана вели свою линию от одних — короленковских — истоков нашей литературы.

«Треблинский ад» Гроссмана имел почти такую же судьбу, как «Черная книга». Не в точности, конечно, потому что не пошел под нож, но не переиздавался никогда в те-

чение долгих лет. И до сих пор я не слышала, чтобы в какой-нибудь сборник был включен «Треблинский ад»

Но в те дни, когда я приходила к нему в 1945 году, по рукам ходил журнал «Знамя», в котором только что был напечатан «Треблинский ад». Обычными словами нельзя было передать потрясение, которое он принес. И эта прядь мягких женских волос... навсегда осталась в памяти тех, кто читал.

Тоже — «памяти павших» — так, как понимал Гроссман свою писательскую задачу.

«Треблинский ад» не имеет жанрового определения. Не повесть, не очерк, не статья. Просто «ад»...

Гроссман первым вступил на станцию Треблинка вместе с частями наступающей армии и первым написал о том, что увидел и узнал.

«...На восток от Варшавы вдоль Западного Буга тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. И пешеход и проезжий избегают песчаных узких проселков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок. Здесь на Седлецкой железнодорожной ветке расположена маленькая захолустная станция Треблинка в шестидесяти с лишним километрах от Варшавы...»

Так сухо, чуть сдавленно и по-особенному точно начинает Гроссман свой рассказ. Сосны, песок, песок... Пустырь, окруженный соснами, — «почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают ее». Пустырь, окруженный соснами, не случайно приковывает к себе взгляд Гроссмана. Потому что дальше идут слова: «Этот убогий пустырь был выбран и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи. Здесь была устроена главная плаха СС...»

Гроссман отлично понимает, что фашисты хранили в страшной тайне совершенные здесь преступления. И, вступив на эту землю, он, не теряя ни минуты (в буквальном смысле этого слова), организованно, умно и очень энергично ведет свое расследование-исследование.

Он ищет оставшихся в живых свидетелей, он опрашивает крестьян соседних деревень, рядом живущих людей — всех, кого можно было найти. В тот момент, когда еще были живы люди. Он собирает, сопоставляет, изучает, анализирует. И живая эта работа запечатлена в произведении — уникальное свидетельство уникального человека. В неповторимый и очень конкретный час истории, который был бы в ближайшие годы утерян навсегда. Ведь, по замыслам и

планам нацизма, о существовании этого лагеря никто не должен был знать.

Вот что написал тогда Гроссман: «В этом лагере ничто не было приспособлено к жизни, а все было приспособлено для смерти... Ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже во внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоящий обычно из шестидесяти вагонов, расчленялся в лесу перед лагерем на три части... Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, — таким образом, ни машинист, ни кочегар не переступали лагерной черты».

Так страшна эта педантичная организованность уничтожения жизни, так невыносимы ее подробности, найденные и увиденные Гроссманом. Они потрясали тогда, как потрясают сейчас...

Страшная станция под названием Треблинка занимала «выгодное положение» как железнодорожная станция, и поэтому «эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех стран света — с запада, востока, севера и юга».

Гроссман узнал от разных людей, что эшелоны шли в течение тринадцати месяцев, крестьяне деревни Вулька (самый близкий к лагерю населенный пункт) и железнодорожные служащие рассказали, что в каждом эшелоне было шестьдесят вагонов и «на каждом вагоне были написаны цифры 150—180—200».

Гроссман приходит к выводу, что эта цифра означала количество людей, находящихся в вагоне. И добавляет страшные подробности, которые в тот момент мог собрать только он. Оказывается — «железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам». Он собрал десятки показаний, называя свидетелей по именам.

Именно Гроссман написал в те дни, анализируя цифры и сопоставляя факты: «Если мы даже уменьшим все цифры движения эшелонов к Треблинке, показанные свидетелями, примерно в два раза, то все же количество людей, привезенных туда за тринадцать месяцев, выразится цифрой примерно в 3 миллиона человек».

Три миллиона человек! Эта гроссмановская цифра с того момента легла в историю фашизма.

Думая об этом подвиге Гроссмана сейчас, в наши дни, я на минуту представила себе, что было бы, если вместо Гроссмана в эти дни в Треблинке оказался бы другой человек? И уплыла бы из-под ног история... Даже такая подробность: в числе свидетелей, которых нашел Гроссман, был Казимир Скаржинский — шестидесятидвухлетний крестьянин. Их надо было найти там, где, по выражению Гроссмана, «возопили камни и земля».

«Все, что написано н и ж е , — говорит Гроссман, — составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом дополнили рассказы свидетелей».

И снова поясняет: «Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе, — и все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания комендантской собаки Бари и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройства конвейерной плахи».

Затем, как после глубокого вздоха, идет фраза: «Пройдем же по кругам треблинского ада».

В эшелонах в Треблинку везли прежде всего евреев. А потом — поляков и цыган.

Гроссман так написал о них, что кажется, будто он ехал с каждым эшелоном, в каждом вагоне, вместе прошел этот путь.

«Погонщики стада при входе на бойню...» с такой избретательностью «оформили» этот последний тупик для «последнего обмана». Их декорации потрясают... На платформе стояло железнодорожное здание с кассами, камерой хранения и стрелками-указателями несуществующих маршрутов и дорог, которые никуда не ведут. Швейцар отбирал у пассажиров билеты и впускал их на площадь.

Гроссман видит все и глазами человека, впервые вступающего на эту землю, не знающего, что ждет его впереди, и глазами писателя, понимающего каждый знак, каждый шорох на этой ужасной земле, всю стройную (страшно даже написать это слово!) систему, технологию уничтожения человека.

«...Что-то тревожное и страшное было в этой площади,

вытоптанной миллионами человеческих ног», — эти слова звучат тревожно, повторяются снова и снова, передавая то, что могут и одновременно не могут понять люди, вступившие на эту площадь.

Каждый день двадцать тысяч невинных людей вступают на нее, чтобы через считанные минуты быть удушенными в специально изобретенной газовой камере.

Гроссман хочет поймать и запомнить их лица — и толпу и каждого в толпе. Как один из мужчин поправил галстук, как девушки тряхнули волосами, как матери укутывают грудных детей, как дети прижимаются к родителям, как шли старики, присаживаясь на свои чемоданы, как держали подмышкой книги и больные кутали шею.

Видят ли они или еще не видят то, что видит за них писатель? «...Почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь... И тянется трехметровая проволока?» И почему так страшны эти вахманы в черных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры?

Завершается первый этап — всем приехавшим предлагают оставить на площади чемоданы и вещи. Молча и быстро. Зачем? Почему?

Ограбленные, они идут дальше: «Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками наброшенной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапки мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены проволоки».

Что же творится в их душах? «И страшное чувство — чувство обреченности, чувство беспомощности охватывает их: ни бежать, ни повернуться обратно, ни драться, — с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов».

А на площади в это время идет сортировка отобранных у них вещей. И в этом скорбном перечне столько боли и любви к этому разрушенному миру человеческого уюта и добра: «Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала...» Гроссман говорит о «тысяче драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев, — открытках, визитных карточках, фотографиях, бумажках с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом».

Характерно, что бесценными Гроссман называет не кольца и серьги, которые будут выдирать потом из ушей, а именно эти предметы простой, неповторимой домашней жизни. Именно о них он пишет с такой любовью, теплотой, так, будто за каждым встает живой, конкретный человек.

Все это ограбленное, уничтоженное и сожженное сумел разглядеть Гроссман на Треблинской земле. И так написать об этом!

Потом он расскажет, как людей раздевают, как сбривают с голов волосы (в Германии ими будут набивать подушки), а потом женщин и мужчин мгновенно отделяют друг от друга. И начинается самое страшное, потому что «великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга». «Эсэсовские психиатры смерти» знают, что эти чувства надо пресечь. «Конвейерная плаха» продолжает свою работу. Голыми эти многотысячные толпы гонят вперед.

И, глядяваясь в лица этих людей, Гроссман пишет, что они прекрасны. Он хочет это сказать перед тем, как от них останется только «этот зыбкий след на песке». Этот гимн жизни на пороге смерти невозможно и сейчас читать спокойно: «Секунды нужны были для того, чтобы уничтожить то, что мир и природа создавали в огромном и мучительном творчестве жизни».

Путь от кассы до «газовни» занимал две-три минуты. Но каждая доля секунды огромна в описании Гроссмана. У здания газовой камеры, где сейчас, в эту минуту, газом будут удушены люди, он останавливается, не в силах сначала переступить этой черты.

И снова пишет о тех, кто сейчас погибнет. О том, «как живые треблинские мертвецы» до последней минуты сохраняли душу человеческую.

Гроссман рассказывает о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей, совершая «великие и безнадежные» подвиги, о матерях, которые пытались закопать грудных детей в кучи одеял, о мальчишке, кричавшем у входа в «газовню»: «Русские отомстят, мама, не плачь», о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, который чудом спрятал гранату и, уже будучи голым, бросил ее в толпу палачей.

Гроссман рассказывает о сражении, которое шло всю ночь между партией обреченных и палачами. Площадь была покрыта телами «мертвых бойцов, и возле каждого лежало его оружие — палица, вырванная из ограды, нож, бритва».

Он пишет о высокой девушке, вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков эсэсовцев. «...Нагая девушка как богиня из древнегреческого мифа», — восклицает он, найдя такой неповторимый и удивительный образ для выражения своих чувств.

Наступает последний акт трагедии. Захлопнулись двери бетонной камеры. «Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытали люди, находившиеся в этих камерах?» — спрашивает Гроссман. И находит в себе силы...

Но, восхищаясь теми, кто пошел на плаху, не оставляя их ни на минуту одних, Гроссман ведет постоянно анализ системы фашизма в момент преступлений и побед. Он приводит много имен нацистов-палачей, показывая, что «бредовая идеология», «патологическая психика» и «феноменальные преступления» оказываются необходимым элементом фашистского государства.

И одновременно мы видим, что конвейерная плаха была организована «по методу потока, заимствованному из современного крупнопромышленного производства». А Треблинка была подлинным промышленным комбинатом смерти.

Вот какие бездны таятся в фашизме, расизме, антисемитизме, нацизме, любой форме национализма. Это запечатлел и доказал Гроссман в «Треблинском аде».

Писатель в разных местах возвращается к датам. Он подчеркивает, что треблинский лагерь смерти просуществовал тринадцать месяцев. Он был создан летом 1942 года в пору военных успехов фашизма. Эту прямую связь подчеркивает Гроссман. Именно тогда Гиммлер приезжал в Варшаву, отдавая специальные распоряжения о создании лагеря. Дни и ночи шли подготовительные работы... Именно в это время их побед они начали прямое физическое истребление евреев. На станцию Треблинка ехали не только русские евреи, но и евреи из Франции, Болгарии, Австрии, со всего покоренного нацизмом мира.

Что же произошло через тринадцать месяцев? Оказывается, в конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер в сопровождении группы крупных чиновников гестапо. «Группа Гиммлера» прилетела в район лагеря на самолете. Они осматривали лагерь, и Гиммлер — «министр смерти», как называла его Гроссман, подошел ко рву, куда сваливали трупы, к колоссальной могиле и долго смотрел. Ведь «Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера», — добавляет писатель. В тот же день самолет рейхс-

фюрера улетел. Покидая Треблинку, он отдал приказ, который всех лагерных палачей смутил и привел в замешательство.

Что же это был за приказ? В нем давалось указание «немедленно приступить к сожжению захороненных трупов». Всех вырыть из земли и сжечь. А пепел и шлак вывезти из лагеря, рассеивать по полям и дорогам.

Чем был вызван этот приезд и этот приказ, «которому придавали такое значение»?

Только Гроссман, находясь на этой земле, мог дать ответ на этот вопрос. И он говорит, даже возвышая голос:

«Причина была одна — сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате».

И Гроссман снова повторяет: «Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам».

А дальше идет страшная история о выкапывании и сожжении трупов... «Трупы не хотели гореть...»

Но «каких только мастеров не родил гитлеровский режим», — восклицает Гроссман. «И по убийству малых детей, и по давлению, и по строительству газовых камер...» И добавляет — «нашелся специалист по откапыванию и сожжению миллионов человеческих трупов».

Начали строить особого типа «печи-костры», и заработал этот «чудовищный цех», сжав зубы, говорит Гроссман. «Даже читать об этом бесконечно тяжело, — пишет Гроссман. — Пусть читатель поверит мне — не менее тяжело и писать об этом... Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших».

Вот позиция Гроссмана, которой он не изменял никогда.

«Треблинский ад» как выражение расизма страшен не только тем, что в фашистской, плотно сколоченной системе нашли себе место самые страшные садисты, насильники и убийцы. Он страшен особенно тем, что нашел открывателей и изобретателей «конвейерной плахи» — надо вдуматься и понять это выражение, найденное Гроссманом и раскрытое всесторонне в этом произведении. Ведь ни на минуту не опоздал ни один поезд, ни на секунду не остановила свою работу газовая камера, ни разу не нарушилась разработанная Гитлером «технология убийств».

Если бы не Сталинград...

«Треблинский ад» — ни на что не похожая вещь. Тут и факты, и документы, и опрос свидетелей... Обвинительное заключение фашизму. Но оно не вмещается в обычные рамки.

Потому что это горячий, неповторимый монолог Василия Гроссмана, переполненный его мыслями, чувствами. Его острый взгляд. Это поток его любви к гибнущим людям, к следам их ног на страшной земле, к красоте простых, домашних и естественных чувств. Детский башмачок, затоптанный в земле, пряди женских волос, нагая девушка, прекрасная, как древнегреческая богиня, — остаются в нашей памяти, отзываясь постоянной болью. Их живые образы с какой-то необъяснимой мощью сумел запечатлеть Гроссман на этих страницах.

В статье «Памяти павших», вернувшись с войны, Гроссман говорил о бесценности и неповторимости каждой человеческой жизни, когда писал об убитом юноше и его шелковистых ресницах. Об этом написан и «Треблинский ад». Его страшно отработанные машины были остановлены Сталинградом. Эта мысль Гроссмана очень важна для понимания его творческого пути и движения от «Треблинского ада» к романам «За правое дело» и «Жизнь и судьба».

«Треблинский ад» входит в число великих гуманистических произведений Гроссмана. И читающие современники оценили его высоко. И не только современники.

Скажу только, что Виталий Семин, написавший свой собственный «Треблинский ад» — «Нагрудный знак Ost» (о фашистской Германии, куда его угнали мальчиком и где он пробыл в рабстве около четырех лет), именно Гроссмана называет главным своим писателем.

После «Знамени» «Треблинский ад» вышел еще раз. У меня хранится это издание, подаренное мне когда-то, в конце его жизни. Крошечного формата тоненькая книжечка, на серой, плохой, сейчас пожелтевшей бумаге. Переплет — тоже бумажный. Сверху над черной чертой черным курсивом написано — Василий Гроссман. В середине тоже черно и даже страшно — «Треблинский», а «ад» — белыми буквами, но на черном фоне. Художник передал что-то от этой вещи. Посередине эта тетрадоочка проткнута какой-то скрепкой — одной. Так выглядит эта книга, похожая на домашнее издание. Но это не так. На ней написано — «Военное издательство». 1945 год.

Говорили тогда, что книга была выпущена специально к Нюрнбергскому процессу.

ДВА ИНТЕРВЬЮ

Новый год... Последний сталинский год. В «Литературной газете» (и в других газетах — тоже) в новогоднем номере 27 декабря 1952 года над передовой — «Ответы тов. Сталина И. В. на вопросы дипломатического корреспондента «Нью-Йорк таймс» Джеймса Рестона, полученные 21 декабря 1952 года».

Последнее, как мне представляется, прямое появление Сталина на страницах газет.

Кто возьмет на себя смелость сказать, что он умирающий и больной? Он вечный... Прислушайтесь, как привычно роняет он свои величаво-незамутненные примитивные слова — «о будущей войне», о том, что он, Сталин, «продолжает верить...», «согласен сотрудничать...» По-сталински верные себе хозяйские, казенные слова.

Это печатается на фоне изуверских статей об «американских убийцах», о евреях-убийцах, которые хотят «затмить гитлеровцев», диких статей о врачах, сионистах, жуликах, «джойнтовцах» и шпионах-бандитах.

Но были люди (я не принадлежала к их числу), которые радовались этому интервью и считали, что «за этим интервью что-то стоит...».

У Сталина и в это время обычно — по-сталински — работала голова. И кто хотел, чтоб ему морочили голову, тот всегда мог найти для этого пригодный (или малопригодный) материал.

Сошлюсь на два наглядно образцовых примера из этих, последних, месяцев его жизни.

Печатается в газетах Указ Президиума Верховного Совета «О награждении орденом Ленина врача Тимашук Л. Ф.».

«За помощь, оказанную Правительству, в деле разоблачения врачей-убийц наградить...»

Коренной документ времени, определивший его характер, его террор, будущий погром...

Дата под Указом — 20 января 1953 года.

А буквально через неделю мы читаем во всех газетах:

«Как известно, 27 января в Кремле Председатель Комитета по международным Сталинским премиям Скобелев вручил международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами» выдающемуся советскому писателю, известному борцу за мир Илье Эренбургу. В Свердловском зале собрались видные советские и иностранные

писатели... Мы публикуем выдержки из речей Н. Тихонова, А. Суркова, Луи Арагона, Анны Зегерс...»

Все это напечатано в «Литературной газете» 29 января 1953 года. В подшивке газет эти номера рядом. Так разработана эта «международная операция» — эффективная, в присутствии писателей со всех концов земли. Меньше всего, думаю я, за этот сталинский пасьянс отвечает Эренбург. Никто же не отказывался у нас от Сталинских премий. Он, как и некоторые другие, тоже, может быть, надеялся, что «за этим что-то стоит...».

Но кто, кроме Сталина, мог сочинить это чередование указов, смену лиц?

А сейчас, нарушая хронологию, мне хочется вернуться назад, в тот новогодний номер «Литературной газеты», где на первой странице — интервью Сталина, обращенное к Америке и к нам.

А на второй странице — другое интервью... Под рубрикой: «Редакторы рассказывают...»

«— Наши планы на 1953 год обширны, — заявил главный редактор журнала «Новый мир» *А. Твардовский*» (курсив редакции «Литературной газеты»).

Чистый голос... Твардовский планирует наступающий 1953 год. Такая слепота перед лицом будущего и вместе с тем такой неосознанный рывок в него.

Он еще ничего не знает о том, что будет с журналом в ближайшие месяцы, еще не появилась статья Бубеннова, еще не двинулась сталинская рать на Гроссмана и «Новый мир». Все это впереди.

И Сталин, которого он по-настоящему любит (не как лакей, а как сын), еще жив и печатает свое интервью в том же номере «Литературной газеты», что и он. Такая судьба... Здесь они встретились в последний раз. А потом начнется новый путь Твардовского — от Сталина. Но это тоже — впереди.

Что предшествовало интервью Твардовского? Почему так спокойно зазвучал его голос?

Напомню: с июля по октябрь 1952 года печатался роман Василия Гроссмана «За правое дело». Прошло неполных два месяца с момента окончания романа. Журнал рвут из рук, на обсуждениях роман хвалят, в газетах появились положительные статьи о нем.

А в девятом номере журнала рядом с продолжением романа Гроссмана напечатаны «Районные будни» Валентина Овечкина — предмет особой гордости Твардовского и любви.

От этих очерков «Районные будни» через считанные месяцы начнет свой путь наша честная деревенская проза и пройдет все, что ей предстоит пройти. Влияние очерков Овечкина и их роль в жизни интеллигенции огромны. Их просто не успели разнести, потому что, как мне кажется, рядом оказался Гроссман и своеобразно «прикрыл» Овечкина, вызвав весь огонь ненависти на себя. Так обстоят дела к моменту интервью.

Эти номера «Нового мира» (по собственным моим воспоминаниям) читали с восторгом и тревогой.

Все, конечно, исторически обозначено и определено. Но ни Гроссман, ни Твардовский, ни Овечкин не отдают себе отчета в этом, что отличает всегда честных людей от нечестных.

Что же должен напечатать «Новый мир» в наступающем 1953 году? С чего начинается Твардовский?

«Над второй книгой романа «За правое дело» работает В. Гроссман», — сообщает Твардовский спокойно, деловито, и кажется, что уверенно.

Так под Новый год — 1953-й прозвучал первый раз роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Из уст Твардовского.

Значит, именем Гроссмана заканчивался для «Нового мира» минувший 1952 год, этим же именем сразу после окончания романа Твардовский начинает год будущий.

И вся трагическая и героическая, неведомая еще ее участникам история нашей литературы завязывается здесь, теперь, в эту минуту жизни. Вплоть до ареста романа «Жизнь и судьба» и изъятия экземпляра из сейфа «Нового мира». А пока Твардовский, не ведая будущего, говорит об этом романе. Потому что никто, кроме Твардовского, не мог произнести в тот момент эти слова.

Я хотела бы подчеркнуть, что нет в словах Твардовского и намек на то, что роман «За правое дело» он относит к числу неудач. Иначе он не начал бы свое интервью с продолжения романа, не назвал бы Гроссмана первым — на будущий год.

Это особенно отчетливо видно после слов Твардовского о том, что в планах «Нового мира» — и «новый роман о рабочем классе», который «сейчас заканчивает Фадеев». Следовательно, роман Фадеева (руководителя Союза писателей и друга Твардовского) назван после романа Гроссмана. Это тоже свидетельствует об отношении Твардовского к роману «За правое дело».

Да, все трагично в планах «Нового мира». И судьба романа Фадеева. И собственная его судьба.

А Твардовский продолжает свой рассказ:

«Январский номер журнала мы открываем повестью Эм. Казакевича «Сердце друга», посвященной подвигам наших солдат и моряков в дни Великой Отечественной войны».

Сейчас, 27 декабря, январский номер еще не вышел, повесть «Сердце друга» еще никто не читал. Но журнал появится в свой срок, и через несколько недель после его выхода повесть Казакевича будет втянута в страшные вихри погромного террора, поднятые против Гроссмана в начале 1953 года, года, который так слепо, так прозорливо и человечно, с таким душевным равновесием планирует Твардовский.

Еще он обещает напечатать «новые повести из жизни колхозной деревни» Валентина Овечкина и Владимира Фоменко. Обещания эти будут выполнены, но уже в другую эпоху.

Так все значительно в этих планах журнала.

По формальным убеждениям своим, по образу мысли, теоретическому пониманию эпохи и даже по своей прописанности в сталинском царстве Твардовский был тогда сталинистом. Но как настоящий русский поэт и редактор, верный традициям великой нашей литературы, он, как я понимаю, не отдавая себе отчета, оказался со Сталиным в яростном противоборстве, что отчетливо запечатлено в этом номере «Литературной газеты» и в двух новогодних интервью — Твардовского и Сталина, напечатанных на ее страницах.

Увы, это соседство окажется роковым. Если не в буквальном смысле, то в символическом. А может быть, и в буквальном. Скорее всего — в буквальном.

Но сначала мне необходимо еще раз подчеркнуть: Твардовский, напечатав «За правое дело», оценивал роман высоко. Без этого нельзя себе представить, почему он его печатал. Без этого нельзя понять, почему он от него оторкся...

И это отречение будет страшной мезью Сталина Твардовскому. Твардовскому — больше, чем Гроссману.

Мне представляется, что новогоднее интервью о планах «Нового мира» переполнило чашу весов, на которых лежал роман Гроссмана. Выходило, что не только минувший, но и будущий год «Нового мира» будет гроссмановским.

Неосмотрительное, конечно, интервью... Никогда потом (по личным моим воспоминаниям) Твардовский не давал таких опрометчивых интервью.

Не сомневаюсь, что Сталин в день выхода газеты про-

читал слова Твардовского. К тому же доносчики тоже стояли с мечом и пером вокруг. И бурлящие еще под землей темные силы стали в течение января усиливаться, искать пути, чтобы взорвать почву и по указанию Сталина выйти наружу 13 февраля 1953 года в статье Бубеннова.

Отказ Твардовского от романа Гроссмана был не только актом страшной мести Сталина Твардовскому, но и одновременно — последним всплеском слепой любви Твардовского к Сталину, невероятным насилием над личностью Твардовского.

Но был еще страх...

Значит, в 1950 году Гроссман принес свой роман «За правое дело» в журнал «Новый мир».

Какие же обстоятельства помогли ему при напечатании?

Я хотела бы вернуться от интервью Твардовского конца 1952 года назад к 1950 году.

И тут важно подчеркнуть, что именно в этом же, 1950, году начался путь Твардовского как главного редактора журнала.

Мне было странно читать его слова в стенограмме, которую я приведу ниже, о том, что он — «молодой редактор». По существу, конечно, так. Но не любил он это слово — «молодой» — в устах прозаиков и поэтов. Считал не молодость, а зрелость достоинством писателя и литературы. И все-таки в эти отчаянные минуты унижения, разгрома и отречения сказал, что молодой и, значит, заслуживает снисхождения, как подсудимый в последнем заключительном слове на сфабрикованном гнусном процессе.

Почему же накануне Нового года он был так спокоен, уверен и даже доволен?

Потому что в те минуты в сталинском мире он достиг всего, о чем мечтал. Это звучит странно и парадоксально, но это так. И мечтал (что очень важно!) — в самых чистых своих мечтах.

Мечтал стать народным поэтом — так, как понимал это слово. И стал. Позади Смоленск с его унижениями и клеветой, позади раскулачивание семьи. Позади война.

Он создал великолепные поэмы «Василий Теркин», «Дом у дороги», написал и напечатал замечательные стихи. Его популярность, любовь к нему огромна. Его одобряют все — от Бунина до Сталина. От Пастернака — до Фадеева. От солдата — до генерала. И все это подлинное, а не мнимое.

Официальный провал «Родины и чужбины» и проработка ее в 1947 году не слились с волнами террора, не соединили его с Зощенко или Ахматовой, не сделали кулацким поэтом, как казалось тогда, когда начали дубасить эту вещь.

И, как это ни причудливо, именно к 1950 году это отодвинулось в даль истории. Почему? Да потому, что именно в 1950-м он был назначен главным редактором журнала «Новый мир». И исполнилась еще одна его заветная мечта: стать не просто народным поэтом, но и редактором журнала — такого, как «Современник». Быть как Некрасов — редактором и собирателем. Об этом он открыто и очень искренно написал еще до войны, когда учился в ИФЛИ и праздновали юбилей Некрасова.

И эта, тоже главная, мечта в этот именно год была воплощена в жизнь. Прямой подписью Сталина. Другого пути не было, да о другом он не помышлял, не представлял, другого даже не хотел. Другого, к тому же, не было ни у кого.

Надо ли добавлять, что свои редакторские задачи он понимал высоко, светло, что не было в них ничего темного, корыстного, тайного.

Делать такой журнал, какой делал Некрасов... И чтобы Сталин понял и оценил его журнал.

Так, можно сказать, счастливо и удачно было все в жизни Твардовского, когда он приступил к своей работе главного редактора и Гроссман принес ему роман. Он был уверен в себе, в своем пути, в будущем своего журнала и выбрал Гроссмана для него.

И он, и его заместитель Тарасенков, первым прочитавший роман, высоко оценили его.

Конечно, соединить Некрасова и Сталина катастрофически невозможно. Но Твардовский верил в свою миссию уже тогда. Иначе не был бы он Твардовским. В те месяцы он не отдавал себе отчета, что такое журнал в сталинском царстве. Он жил с уверенностью, что именно он, именно в эти годы сумеет сделать настоящий журнал. И это заблуждение — тоже подвиг, потому что журнал был и жил уже в продолжение двух лет.

Конфликт Твардовского со Сталиным был заключен еще и в том, что, любя Сталина, он с высокомерным презрением относился ко всей лживой литературе сталинского мира, рожденной Сталиным. Он просто ненавидел ее — прежде всего ее. Раньше всего ее. И не стихи о Сталине, он ведь тоже их писал — правда, с большим достоинством, чем другие. Нет, он ненавидел искаженную ложью действи-

тельность «Кубанских казаков» и «Кавалера Золотой звезды». Всю эту фальшь и ложь, эту призрачную жизнь, которую писатели по указанию Сталина кроили во славу его в книгах.

Этого он не принимал — всегда, во все периоды жизни.

Но литературу сталинскую еще резко отделял от Сталина.

И потому не мог (в силу своего характера) ощутить мнимость или зыбкость своего положения, не мог представить, как растерзают журнал и за что.

Что было бы с Твардовским, если бы Сталин прожил еще месяц-другой? После того, как журнал был объявлен диверсионно-сионистским центром... Но это уже другой вопрос.

А здесь мне важно было сказать о том, какие черты личности Твардовского и его положения в системе жизни дали ему возможность напечатать роман Василия Гроссмана «За правое дело».

Но был еще один человек, без помощи которого этот роман не вышел бы на свет. Человеком этим был Фадеев. Искушенный, много раз битый, даже тонущий, но снова назначаемый Сталиным во главе писателей.

Когда я много лет назад старалась понять, почему Фадеев так безоговорочно и рьяно ринулся пробивать (в буквальном смысле этого слова) роман Гроссмана, я не сразу смогла разобраться в этом. Я даже перечитала «Разгром» и много других книг, связанных с ним, написала статью (для себя) и небольшие воспоминания. Ведь сама я знала его, встречала, много раз видела и слышала.

И сначала пришла к выводу простому: Фадеев любил литературу, и ему пришлось по душе роман Гроссмана «За правое дело». Это — важнее всего. А кроме того, он презирал антисемитизм и страдал от наступления эры Первенцева — Сухова. И ему обманчиво казалось, что он сумеет их перехитрить, опираясь на обнадеживающие, на его взгляд, реплики и цитаты из Сталина, которые объявлял гуманными и чрезвычайно демократичными. И стала думать: почему же этот человек, который умел ускользнуть, спрятаться и извернуться во многих тяжелых ситуациях сталинского террора, почему же он так открыто двинулся на то, чтобы принять прямое участие в судьбе романа и даже непосредственно в редактировании его?

Может быть, Фадеев, в отличие от Твардовского умеющий каяться и просить прощения, Гроссманом «хотел спас-

тись», как Нехлюдов у Толстого «хотел спастись» Катюшей Масловой. Все, конечно, могло быть.

Но, думая обо всем этом, я все-таки пришла к выводу, что у Фадеева, как и у Твардовского, этот 1950 год, связанный с романом Гроссмана, отмечен личными победами. И если у Твардовского это были победы подлинные, то у Фадеева они были ложными, мнимыми, несли ему падение за падением. Гибель несли...

В чем же были эти победы? Почему отважился он роман Гроссмана пустить на фоне «почты Лидии Тимашук»? А для этого, конечно, нужна была отвага.

По моим представлениям, именно в этот, 1950, год он закончил второй вариант «Молодой гвардии», завершив свой подвиг дикой, античеловеческой любви к Сталину.

Напомню, что роман Фадеева «Молодая гвардия», посвященный комсомольцам Краснодона, был напечатан в 1945 году. Написал он его после долгого молчания, стремительно быстро, был увлечен, читал отрывки вслух в Союзе писателей и дома у друзей. Не буду сейчас писать об этой вещи, написанной, конечно, не по своим, а по чужим, но ставшим потом своими материалам.

Но Фадеев был доволен, ему казалось, что с этим романом он вернулся в литературный строй.

Роман был принят «на ура», и даже люди, любящие литературу, относили его к удачам. А официальная критика назвала роман Фадеева «Молодая гвардия» образцом социалистического реализма. Особенно после того, как в 1946 году он получил Сталинскую премию.

Казалось бы — о чем тут можно думать и чего бояться? При такой ситуации такому человеку, как Фадеев?

Но Сталин всегда заботился о том, чтобы не было победителей, не было покоя никому и никогда. За исключением единиц, о которых, конечно, хотелось бы написать отдельно.

Возможно, были какие-то подпольно-конкретные причины, почему он сменил милость на гнев. Но в декабре 1947 года появилась в «Правде» статья «Молодая гвардия в романе и на сцене». И кончилась благополучно успешная жизнь писателя Фадеева, главы всех писателей Советского Союза.

Спектакль (по моим воспоминаниям, талантливый, где выступили первый раз многие молодые хорошие актеры) дал возможность, уцепившись за него, цинично пересмотреть роман «Молодая гвардия». Его обвинили и в искажении истории, и, главное, — в принижении роли партии и партийного руководства, особенно тогда, когда руководители

райкома бегут из города, бросив на школьников всю подпольную работу в оставленном немцам городе. Страницы самые достоверные в романе.

И внезапно (хотя не очень долго) роман Фадеева стал главной мишенью всех газет, журналов, всех собраний

Надо представить себе, как внезапно это обрушилось на жизнь Фадеева, как исказило, изуродовало состояние его духа.

Все знали (а он, конечно, лучше всех), что эта оценка — лично, прямо и непосредственно вылетела из уст Сталина.

Что должен был делать именно он при таком повороте?

Он начал громогласно каяться и объявил, что принимает все, что написано о нем в газете «Правда».

Я сидела в Дубовом зале Союза на главном таком покаянии. Смотреть на него и слушать было больно. Как он отдирал от себя драгоценные для него куски, образы и эпизоды (будто не он их написал), подставлял благоговейно под сталинские жернова, возмущался ими, негодовал, сдирая с себя кожу. У него вообще лицо всегда было красноватым, с седыми волосами, а сейчас оно казалось совсем багровым. Он не притворялся, не фальшивил, он любил Сталина и мощно, громко, как всегда косноязычно, долго объявлял о своей любви. Он мучился, страдал и обещал, обещал... Обещал, что перепишет собственный роман.

Не написав задуманный давно роман «Провинция», не закончив «Последний из Удэге», бросился на «Молодую гвардию», совершив адское насилие над собой, окончившееся полной победой. Появился новый, изуродованный, на мой взгляд, вариант романа, который, как мне представляется, потешил душу Сталина даже самим фактом своего появления. И был его торжеством над писателем и литературой. Блистательной победой!

И полетели по литературной Москве вести: Сталин чрезвычайно доволен. Тут же восторженные статьи: «Новое издание романа А. Фадеева „Молодая гвардия"». Мне кажется, что он кончил этот адский труд именно в 1950 году и, вероятно, отправил сразу же Сталину, потому что книга — новый вариант — вышла в 1951 году.

Судя по всему, Сталин был не просто доволен, но убажжен. Работа редактора ему приглянулась очень. (Кто у нас не претендует на эту работу — в невежестве и мании величия!) И он спустил на Фадеева новый свой редакторский замысел — роман «Черная металлургия». Лично сам лично ему.

Не знающий материала Фадеев принял гибельную сталинскую ложную концепцию, уродливый его сюжет и положил их в основу романа.

Об этом потом напишет Бек в своем романе «Новое назначение», и роман этот пройдет свой трагический путь в журнале «Новый мир».

А пока сталинская «Черная металлургия» — новое произведение Фадеева, над которым он горячо и истово работает эти годы. Вероятно, роман шел к концу, потому что именно в 1952 году печатались в журнале «Огонек» — глава за главой, глава за главой — отрывки из романа. Читать их было непереносимо.

Но, вероятно, Фадееву не дано было это понять. Он отнесся к роману серьезно, верил в него и надеялся на него — очень надеялся.

И Твардовский в своем интервью, планируя будущий 1953 год, как я уже писала, называет после Гроссмана роман Фадеева «Черная металлургия».

Уверена, что Фадеев знал об этом интервью и хотел, чтобы роман был назван Твардовским и напечатан в «Новом мире» в том перечне имен.

Надо ли добавлять, что через несколько месяцев роман Фадеева рухнет в сталинскую преисподнюю. И безвозвратно.

Но Александру Беку, написавшему правду об этой трагедии черной металлургии, тоже придется умереть из-за своего романа.

Но сейчас, увы, счастливая полоса в жизни Фадеева. Он снова уверен в себе, в своем творчестве, в прямой и прекрасной связи своей со Сталиным.

И можно только добром помянуть его за то, что он решил в своем положении, при таком благополучном стечении обстоятельств потратить немалые силы не на себя, а на роман Гроссмана.

Так складывалась жизнь Твардовского и Фадеева, когда каждый из них — своим путем — пришли к решению печатать роман Гроссмана «За правое дело». Но принципиально важно, что своим путем. Потому что Твардовский никогда не допускал сталинского насилия над своей поэтической индивидуальностью, над личностью поэта Твардовского.

У Фадеева — все наоборот. «Я прожил более чем сорок л е т , — напишет он к концу ж и з н и , — в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту».

Может быть, он предсказал это в «Разгроме», где есть замечательные, знаменательные страницы о том, как уходила почва из-под ног, как страшна эта безбрежная трясина, в которой героям предстоит умереть...

НЕДОЛГО ЕГО ХВАЛИЛИ...

Во всех ныне появляющихся статьях пишут о том, как Фадеев громил роман Гроссмана «За правое дело». Но никто не упоминает о том, что было раньше. До разгрома... Мне хочется восстановить подлинную картину — что было сначала, что стало потом.

Итак, вернемся снова к моменту, когда был напечатан роман, после того как нам стали известны главные силы в истории того, как он появился на свет.

В «Новом мире» роман печатался, как я уже писала, в 1952 году. Его начало — номер 7, его окончание — номер 10, с продолжением в четырех номерах. Таким образом, в октябре мы кончили читать роман. Номер вышел, скорее всего, в начале месяца.

А 13 октября 1952 года собирается секция прозы Союза писателей. Тема — «Обсуждение романа В. Гроссмана „За правое дело“». По прямому указанию Фадеева — для выдвижения на Сталинскую премию. Оперативно и быстро, не теряя ни одного дня (чтобы потом отказаться от этого собрания и исхлестать, четвертовать его участников... Но это впереди, впереди).

Председателем секции был Степан Злобин — автор хорошего, по моим воспоминаниям, романа «Степан Разин». И вообще — достойный человек.

Выступали разные люди, некоторые даже старались, чтобы угодить Фадееву. Бывало и так. Но их — меньшинство.

Вообще-то это — единственное в жизни Гроссмана собрание писателей, на котором его горячо и увлеченно хвалят. Такого не было в его жизни — ни раньше, ни потом. «Безудержно» хвалили — так это квалифицировано будет потом.

Среди выступающих критики и писатели тех времен. Некоторые из них тогда казались мне умными, другие — слабыми, тягучими, неверными, подлыми. У меня нет надобности сейчас характеризовать их.

Перечитывая их речи, я думаю о другом: о том, как искреннее чувство объединило и подняло их, и о том, какие слова может найти критик тогда, когда он говорит то, что думает. Даже в те времена.

Первым взял слово активно печатавшийся в те годы театральный критик Иван Чичеров. Он начал с замечательной цитаты из Толстого:

«Я давно уже составил себе правило судить о всяком художественном произведении с трех сторон. Во-первых, со стороны содержания — насколько важно и нужно людям то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение искусства только тогда произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; во-вторых, насколько хорошо, красиво соответственна содержанию форма этого произведения; и в-третьих, насколько искренне отношение художника к своему предмету, то есть насколько он верит в то, что изображает, где сказывается его любовь и ненависть».

Сейчас, переписывая эти слова Толстого, я думаю о том, что их в тот же месяц прочитал в стенограмме Василий Семенович и как было ему легко и спокойно от этого толстовского зачина при обсуждении романа.

И потому, что он хранил в своей папке стенограмму — даже первой среди других, — мне хочется рассказать о ней. Мне приятно цитировать тех, кто его хвалил, — в эти редкие недели его успеха, не только у передового читателя, но успеха почти официального. Такого для Гроссмана мимолетного, даже не знаю — нужного ли... и все-таки, подумав, скажу, да, нужного.

С этих высоких толстовских позиций Чичеров обращается к роману «За правое дело», с «трех сторон», как сказал Толстой, и делает вывод, что это «высокохудожественное произведение». И такие, вполне искренние, слова: «Многое, что Гроссман очень тонко и умно заметил, я почувствовал, что это то, что и я чувствовал, а сформулировать не мог...»

Он называет роман философским, с большими, глубокими раздумьями писателя, раздумьями о жизни вообще, о больших закономерностях и о трудном и теновом, «что в жизни есть, что во время войны мешало нам лучше воевать».

Так с первых же слов первого оратора взят высокий, даже восторженный тон.

Правда, где-то в конце, перечисляя свои любимые книги послевоенных лет, Чичеров говорит: «Это — «Молодая гвардия» Фадеева, «Счастье» Павленко, «Жатва» Николаевой, «Журбины» Кочетова и новый роман Василия Гроссмана».

Причудливое, конечно, соединение... Да, страшны «обоймы»! Во все времена страшны «обоймы»... И неповторим цинизм времени, запечатленный в таких «обоймах». И цинизм критика — при самых добрых устремлениях.

Слово берет Иван Тимофеевич Козлов — в те годы ответственный работник Воениздата, редактор романа Гроссмана, за что его ждут увольнение и расплата. Он говорит,

что может привести множество примеров, сцен, эпизодов — удивительно верных по их соответствию правде жизни и правде войны. Удивительно точных... И добавляет: «В этом смысле не знаю, в чем можно упрекнуть Гроссмана. Он об этом хорошо написал. По психологии героев, по пейзажам, по военным и батальным сценам, — эта книга удивительно правдива».

И еще одно очень ценное свидетельство. Козлов вспоминает «Повесть о настоящем человеке» Полевого.

Там написано: «Танки ворвались в населенный пункт и ведут огонь со всех видов бортового оружия». И поясняет: «У танков бортового оружия нет».

«Таких вещей в романе Гроссмана нет», — заключает Козлов.

И еще: «Здесь говорили о том, что в романе много публицистических отступлений. Да, много. Это не слабость писателя, в этом его сила», — говорит Козлов.

Приведу слова «безродного космополита», критика Льва Субоцкого: «Возможность появления такой книги и сам факт появления книги — это знамя перехода нашей литературы на новую, высшую ступень, это движение литературы по пути к эпопее... Эпопеи о непобедимости, бессмертии советского народа...»

(За все еще придется отвечать всем...)

Разные критики... Разные люди... Толченова и Бровман тоже вступили в восторженный хор. Сейчас трудно понять почему.

Злобин как председатель ведет себя и молчаливо и скупое. Он не может не слышать бушующих за стеной ветров. И одновременно не хочет, чтобы обсуждение изменило русло.

И после очередного оратора он пытается закончить разговор. Злобин говорит, что задача этого заседания, как он называет, «узкоприкладная».

Почему? Да потому, что назначение его — «выдвижение на Сталинскую премию». И, добавляет он, с этой точки зрения оно может на этом закончиться, так как все выступившие до этого «единогласно» и «положительно» оценили роман.

Но поставить точку не удалось.

После этого кто-то кричит, что у романа есть противники. Пусть они скажут свое слово. Кто-то отвечает, «что противников нет». Один говорит: «Значит, есть сведения о том, что есть противники», другой говорит, что таких сведений нет.

Подлое время своими неповторимыми оборотами и репликами врывается, как бесы, начинает крутить, вертеть.

Но длится это недолго. Слово берет писатель Авдеенко, автор повести «Я люблю...». Он произносит замечательную речь, живую и непосредственную. И очень искреннюю.

«...Что бы я ни делал, вся моя душа рвется к этому роману... Я уверен, что не найдется человека в мире, который, прочитав начало романа, не захотел прочитать его до конца...»

И далее так благородно: «Я считаю себя писателем неплохим, как и вы все, но считаю, что я не дорос еще до написания такой книги. Я не боюсь сказать все хорошие слова в адрес этой книги... Я считаю, что это замечательная книга. У меня не хватает эмоций, умения, разума, может быть, образования, чтобы оценить полностью эту книгу».

Авдеенко приводит цитаты из романа Гроссмана, читает их, восхищается ими. И заключает:

«Еду ли я по Москве, завтракаю ли или еще что-то делаю, весь строй моих мыслей вращается вокруг этого произведения».

Важно, что здесь запечатлен живой и естественный порыв души, мгновенная реакция на роман, который сейчас, вчера или сегодня, в эти именно минуты был прочитан в первый раз и первый раз оценен.

Жаль, что Василий Семенович тогда не услышал речи Авдеенко (хотя и прочитал ее потом), и сам оратор сокрушается, что нет Гроссмана и он не может ему все прямо сказать. Но снова получает разъяснение, что не положено присутствовать, таков порядок при выдвижении на Сталинские премии.

Авдеенко напоминает, что роман Гроссмана в номере 10 «Нового мира» оказался рядом с романом Симонова. И говорит, что Симонову невыгодно такое соседство. У Симонова, говорит он, «роман плоский, как монгольская пустыня...»

Видно, что даже в те времена мгновения свободы слова раскрепощают душу и язык писателя. (Жестокую расплату за эти мгновения еще предстоит пережить Авдеенко.)

Мрачный и темный производственный прозаик К. Мурзиди пытается на минуту призвать к порядку товарищей по перу. И говорит, что, когда он слушал их, «в нем нарастал протест и желание остановиться и подумать — все ли так хорошо в романе, действительно это энциклопедия совет-

ской жизни...»), как назвал роман «За правое дело» один из ораторов.

Мелко и тягуче он критикует роман, споря почти со всеми. Очень беспомощно. И голос его тонет и проваливается в пустоту.

Ему отвечает Гоффеншефер — знающий и серьезный критик. «Меня этот роман взволновал особенно, — говорит он, — как человека, который был на Сталинградском фронте». И говорит о романе как критик и одновременно как свидетель событий. Что так важно. И вспоминает время войны: «Мы отходили от Дона к Сталинграду. И тогда все до одного погибли из нашей дивизии, задержав наступление...» Потом на это место боев, где все погибли, приехал Гоффеншефер, чтобы написать об этом для своей газеты: «Чтобы представить себе, как люди дрались и как они погибли...» И так трудно это сделать, «когда нет людей», говорит Гоффеншефер. «Я это сделал просто журналистским приемом», — рассказывает он. «...Я поражаюсь, как Гроссман восстановил эту картину боя, не заложив в нашу душу сомнения в правдивости изображения. Эта сцена написана кровью сердца, только художник, который вжился всем своим существом в ощущение солдата, мог создать такой эпизод, и мне кажется, что он является типичным для всей манеры художника Гроссмана».

«...Я хочу говорить о сердце романа», — говорит в заключение Гоффеншефер.

И еще одно необъяснимое событие, наперекор всему, что происходит в мире, — роман Василия Гроссмана «За правое дело» на заседании секции прозы Союза советских писателей 13 октября 1952 года выдвигается на Сталинскую премию.

А было тогда тоскливо и печально... Тревожно за Гроссмана и нас.

Стараясь не отрываться от нынешнего момента истории, я все-таки не могу не добавить к тому, что написала. Что во время уже разыгравшегося «шабаша ведьм» вокруг романа 21 февраля 1953 года в «Литературной газете», которая только что (в январе) отнесла роман «За правое дело» к лучшим произведениям минувшего года, появилась редакционная статья — «На ложном пути» (о романе В. Гроссмана «За правое дело»).

Там, в этой статье, можно прочитать и такие строчки, которыми следует, может быть, подытожить рассказ о засе-

дании секции прозы: «...В московской секции прозы встали на вредные для дела позиции безудержного захваливания романа».

Но до этого должно пройти время... И это обсуждение еще предстанет на этих же страницах — как в системе кривых зеркал — искаженным и перевернутым вниз головой. Вместе со всеми, кто имел отношение к нему.

А пока идут короткие дни «безудержного захваливания». Мало их выпало на долю Василия Семеновича Гроссмана!

Первая положительная рецензия, по моим воспоминаниям, была написана критиком Сергеем Львовым, с которым я встречалась и тогда и потом. Он работал в «Литературной газете» у Симонова, во главе отдела критики, много знал, много писал. Но рецензию напечатал в журнале «Огонек» вскоре после окончания романа — еще в 1952 году. В собственной папке Василия Семеновича лежала вырезка из «Огонька» со статьей Сергея Львова, — от руки он сбоку написал время и место напечатания. Мне и сейчас статья Сергея Львова нравится, он хорошо понял роман и сумел сказать о его значении.

«...Мы закрываем книгу, отчетливо ощущая, что к созданию эпопеи о Сталинграде Василий Гроссман был подготовлен всем своим предшествующим творческим путем. Ибо главная особенность его творчества — знание жизни народа, жизни повседневной и героической, в подвигах и в труде, и умение изобразить эту жизнь так, как она сама того требует: с простотой и естественностью настоящего большого искусства».

Это была заметная статья. Ее хвалили и читали. То было еще в 1952-м — последнем сталинском году.

А в 1953-м в январе успела проскочить еще одна статья — правдиста Бориса Галанова. Не в «Правде», но тоже в солидном органе — в журнале «Молодой коммунист»: положительная, даже восторженная.

Должна сказать, что, когда после заседания секции прозы появились эти статьи не «безродных космополитов», а никогда не руганных прежде критика-правдиста Галанова и Сергея Львова, бывшего в большом приближении у Симонова, появилась надежда на чудо. Разве мало было у нас чудес?

ЧЕРНАЯ ЯМА

Краткий, но богатый событиями и фактами период «захваливания» романа «За правое дело», таким образом, начался в октябре вместе с окончанием романа и выдвижением на Сталинскую премию, с успешными появиться первыми рецензиями. И продолжался в течение октября, ноября и декабря. Он как будто был благополучно подтвержден в конце 1952 года в интервью Твардовского «Литературной газете».

Тогда же стало известно, что роман принят к изданию не только Воениздатом, но и «Советским писателем».

16 января 1953 года состоялось обсуждение романа на редакционном совете издательства «Советский писатель». Председатель — главный редактор издательства Николай Васильевич Лесючевский.

Я была на этом заседании и в списке присутствующих названа в самом его конце. Но стенограмму эту я тогда, конечно, не видела. И надо, чтобы так случилось — и Василий Семенович в больнице вместе с другими материалами отдал мне и ее. Велел и прочитать, и сохранить.

Хочу добавить, что сама я в это время работала в издательстве (вернее, именно в эти месяцы меня оттуда изгоняли за сионизм).

Во главе редакции прозы стоял Кузьма Горбунов — автор давно написанного и неудобочитаемого романа «Ледолом». Темный человек, с черной гривой волос, черными глазами и кривоватым ртом. Он ничего и никогда не читал, но ненавидел до того евреев, что не мог их терпеть в своей комнате ни одной минуты. А если кто и входил к нему обманным путем, то все его друзья и подруги из соседних редакций отпаивали его потом сердечными каплями и коньяком.

Таким же был и директор издательства — М. Корнев. А Лесючевский сам антисемитом не был, но имел душу злобного садиста, тешил ее в эти годы террора и чинил в издательстве расправу за расправой, выкидывая верстки и книги. Меня он вызывал в свой кабинет через день — именно в эти дни, изматывал душу многочасовыми допросами (оказался большим мастером). Он доказывал, что в чужой статье, которая шла по редакции критики, в то время как я работала в прозе, в этой, повторяю, чужой статье, я нарочно и специально благородные слова русского человека передала американскому пирату. Следствие тянулось, как

мне кажется, долго... Я до сих пор не знаю — ошибка это или они сфальсифицировали ее. Меня обвинили в прямом вредительстве... Они каждый день создавали «дела» — вокруг книг и вокруг людей, Много лет изводили Елизавету Рувимовну Рамм, святого человека... Тоже редактора. Ее истребляли в течение многих лет, а на меня особенно накинудись именно в эти месяцы, в конце 1952 года. Елизавета Рувимовна умерла от этого, не выдержало сердце.

Статью для сборника написал замечательный критик, я его хорошо знала... Перед тем как отнести в редакцию критики, в которой я не работала, он попросил меня прочитать статью и сказать, что я о ней думаю.

Потом ее редактировали бесчисленное количество раз, кромсали (по его словам) диким образом множество людей. А я ее с тех пор не видела и не знала, что с ней. А они — во главе с Лесючевским — орали, что я тайком залезла в статью и нарочно возвеличила «американского бандита»... «Она слишком квалифицированна, чтобы сделать это слу-чайно», — вопил Кузьма Горбунов.

Страшно даже вспомнить... А я ведь не такая трусливая. Автор статьи был на грани разрыва сердца (буквально!), объяснял, что я не причастна к его статье, ругал меня за то, что я сказала, что читала.

Приказ об увольнении повесили на доске. Около него становилось дурно не только знакомым, но и совсем не знакомым мне людям.

Не буду писать об этом подробно, я хочу, чтобы читатель представил себе, какая обстановка была в этом издательстве, какие силы клубились... И издательство — только часть мира, клеточка жизни в эпоху террора.

«Они товарища Сталина убили», — кричали женщины в день смерти Сталина в очереди в Гастрономе № 2 на углу Арбата и Смоленской.

Председателем, как я уже писала, был Лесючевский.

А докладчиком (что, как все понимают, очень важно) — старший редактор издательства Клавдия Сергеевна Иванова. Говорили, что она прославилась на войне и вернулась с фронта в издательство, где работала раньше. Про войну я не сумела у нее расспросить, но в «Советском писателе» не было человека мужественнее и справедливее, чем она. Нужно ведь помнить всех людей, а Василий Семенович добром поминал ее всю жизнь...

А сколько заботы видела я в те дни от нее. Вызывая меня на улицу, она считала возможным и необходимым рас-

сказывать мне все, что говорили обо мне на всех закрытых и открытых партийных собраниях: чтобы я понимала все я ко всему была готова. Она звала меня к себе домой, мы долго гуляли по улицам... А когда умер Сталин, позвонила по телефону и сказала, вздыхая и, кажется, рыдая: «Теперь, может быть, тебе будет легче...»

Клавдия Сергеевна Иванова в этих обстоятельствах не случайно оказалась редактором романа Гроссмана. Ее задача — провести роман через редсовет. Она уже написала свое редакционное заключение. Она встречалась с Василием Семеновичем и ссылается на его слова. Она знает об отношении Фадеева. Говорит открыто и прямо о героическом образе народа в романе «За правое дело».

«Это очень большой труд. Автор посвятил ему десять лет. Неоднократно роман перерабатывался, дважды был в ЦК партии, дважды его редактировал Александр Александрович Фадеев. Последняя редакция романа — Фадеева».

Так умело ведет она свою речь, свидетельствуя о важных фактах в истории романа. О мытарствах — тоже. И о мужестве писателя...

Мария Иосифовна Белкина — жена Тарасенкова, заместителя Твардовского по «Новому миру», совсем недавно рассказала мне, что помнит, как Тарасенков с романом «За правое дело» ездил в Переделкино на дачу Фадеева. И один раз провел там шесть часов. Когда начался «шабаш ведьм» вокруг романа, то сразу сняли с работы Тарасенкова. А Фадеев сказал: «Надо бросить кость этим антисемитам».

Но об этом пока мы не знаем ничего, и Клавдия Сергеевна Иванова твердо, с большим пониманием обстоятельств дела и всех подводных течений ведет свою речь. Опирается она на Фадеева. И на Гроссмана — что важнее всего. Она говорит о масштабах романа, о необыкновенном мастерстве, об авторских отступлениях, которые «написаны умно, интересно и органично слиты с сюжетной тканью произведения».

Да, она знает, по какой линии может произойти нападение, и старается затруднить для нападающих путь.

Говорит о картинах природы, о Волге, освещенной огнями пожара, о лесе, изрубленном снарядами войны. О степи, об утреннем саде после дождя, которым любитесь героиня... О «настоящем мастерстве» в изображении человеческих чувств и страданий. Она подробно анализирует роман, «превосходные», как она называет, его страницы и сцены. И повторяет: «Я считаю, что главным, ведущим героем

в этом большом и хорошем романе является народ, который защищает Родину...»

И тут Кузьма Горбунов прерывает ее характерной, по-моему, репликой:

«А герои из народа ведущие есть?»

Клавдия Сергеевна отвечает: «Да, конечно, героев много...»

Клавдия Сергеевна доносит до нас и такое ценное свидетельство: она говорила с автором, и он объяснил, что Новиков, например, «во второй книге будет действовать активно».

Значит, в этот год Василий Семенович писал роман «Жизнь и судьба» и знал, какую роль будут там играть герои романа «За правое дело».

Присутствующий здесь Александр Бек спрашивает Иванову:

«Что именно делает сейчас автор?»

«Автор работает с а м , — отвечает ему И в а н о в а , — мне кажется, что на какие-то коренные переделки он не согласен — пока у меня такое впечатление».

Так она точно и четко передает позицию Гроссмана, отстаивая его интересы. По существу, пока еще она — единственный официально признанный представитель его. И понятно, что сначала вопросы обращены к ней.

Борис Галин спрашивает: «Со стороны военных это имело апробацию?»

Иванова отвечает: «Книга будет параллельно издаваться в Воениздате — главным образом, для внутреннего потребления».

Горбунов как глава прозы информирует, что роман Гроссмана в издательстве рецензировали Арамылев, Атаров и Либединский. Он добавляет: «Докладчик не разошелся принципиально с товарищами Либединским и Атаровым».

Но Либединского и Атарова на заседании нет. Почему? Не знаю. Но это ухудшает позицию Ивановой и положение романа «За правое дело».

«С Николаем Сергеевичем Атаровым мы в основном сходимся», — успевает выкрикнуть она.

Но слово сразу же предоставляется Ивану Арамылеву. Внешне ележно-слащавый автор тусклых рассказов об охоте и газетных рецензий. В издательстве «Советский писатель» я увидела его в главной роли — тайного рецензента, гримлы-антисемита, правой руки Кузьмы Горбунова.

Листая однажды том сочинений Горького (совсем по

другому, конечно, поводу), я обнаружила вдруг имя Арамилева и вспомнила сразу его.

«Статейку Арамилева не следует печатать, — пишет Горький 15 августа 1929 года, — она крайне неудачна, и над нею будут смеяться».

Письмо адресовано «Тов. И. Жиге» и связано с посланным Горькому сборником писателей-очеркистов «Наша жизнь». Чтобы показать невежество и дикость утверждений Арамилева, Горький потратил много сил.

«Напечатав эту его статью, Вы скомпрометируете сборник В а ш », — с большой тревогой пишет Горький.

Послушал бы Горький, что будет сейчас говорить Арамилев, представил бы, какую силу получил и каким почетом окружен. Теперь Арамилев — главный противник Гроссмана. И получает слово сразу же после Ивановой.

Хочу напомнить еще раз, что до этого момента роман был оценен высоко и выдвинут на Сталинскую премию.

И вот выступает Иван Арамилев. Ведет он свою речь так, будто всем давно и хорошо известно, какой это неудачный и порочный роман... И начинает топтать, топтать: «В качестве эпопеи роман не выдерживает критики», «Защитники Сталинграда даны без биографии, без психологии, без раскрытия душевного мира. Они обеднены чрезвычайно». Каким пигмеям дозволено судить литературу и писателя...

«Батальонный комиссар Крымов... Не знаю, почему товарищ Иванова называет его крупным политработником... О нем сказано очень много. Он тоже ничего не делает... Такая фигура, как Штрум... Я не понимаю роли этого персонажа в романе, его назначения».

Особенно раздражает Арамилева Штрум. Можно его понять... «Видимо, автор хотел изобразить Штрума чем-то вроде идейно-философского фонаря, который освещает события. Но Штрум — не фигура! Свет этого фонаря тусклый, фальшивый», — повторялся Арамилев.

Отвратительная проработка романа, специально организованная: «Штрум окружен такими же недействующими и порой случайными людьми...»

Но это только цветочки. Ягодки, как положено, впереди. Слабым своим, скрипучим голосом, невзрачный и серый, он продолжает свою речь.

«Я счи т а ю, — заявляет Арамилев, — очень серьезным недостатком изображение Гитлера. Давайте вспомним, как Фейхтвангер изображал фашизм — он видел основное зло фашизма в его отношении к еврейству, и с этих позиций

еврейского буржуазного националиста он изображает фашизм... И естественно, когда американский фашизм снял этот лозунг, у Фейхтвангера не оказалось никаких разногласий с американским фашизмом...»

Современный читатель может не сообразить, что «американский фашизм» — это не организация, не группа людей в Америке — это вся страна, государство, послевоенная Америка.

Надо понять, что на уровне Арамилева была почти вся наша печать. Правда, про Фейхтвангера и про то, как он служит фашизму, я не слышала даже тогда. Но, может быть, и не смогла уследить за всем.

Но есть в речи Арамилева принципиально новое. Что же нового мог принести Арамилев? Новое в том, что первый раз роман Гроссмана в эту минуту впечатывается словами Арамилева в сионизм и «дело врачей».

«Что получилось у Гроссмана? — продолжает Арамилев. — Он раскрывает Гитлера на еврейском вопросе, показывает разногласия между Гитлером и Гиммлером — Гиммлер хочет уничтожить евреев с музыкой и цветами, а Гитлер — по-деловому. Выпячивается на первый план эта проблема, как будто бы самое характерное, с точки зрения Гроссмана, в фашизме. И естественно, что здесь Гроссман скатывается на сионистские позиции Фейхтвангера, а надо раскрывать фашизм в том плане, как это сделано товарищем Сталиным...»

И еще раз подчеркивает, что у Гроссмана «вопрос решается с сионистских позиций, с позиций буржуазного еврейского национализма».

Я держу в руках эту стенограмму и вижу, как читал ее Василий Семенович. Тут даже есть собственные его поправки, сделанные его рукой, — в именах. И это место, которое я привела выше, спокойно и ровно отчеркнуто им на полях красным карандашом.

Он еще ответит ему, Арамилеву, и я в другом месте приведу его — исполненные высокого достоинства и презрения — слова.

Этот писатель-охотник играет сейчас центральную роль. И с этого момента роман уважаемого писателя, напечатанный в журнале «Новый мир» у Твардовского, высоко оцененный критикой, выдвинутый на Сталинскую премию, получивший две положительные рецензии в самом издательстве таких влиятельных в то время людей, как Атаров и Либединский, имеющий положительное редакционное заключение ветерана войны, старшего редактора Клавдии

Сергеевны Ивановой, сразу после ее серьезного и убедительного доклада, — этот роман превращается в сионистский полуфабрикат.

Роман надо переписывать, переделывать, дорабатывать...

Еще до появления статьи Бубеннова в «Правде» представитель Бубеннова — Арамилев 16 января все пункты уничтожения Гроссмана сформулировал здесь. И это происходит под видом обсуждения для публикации романа в 1953 году. Так хитро Лесючевский поворачивает редсовет.

После Арамилева выступали разные люди. Но теперь все они (даже те из них, кто не стоял на позициях Арамилева) насильственно и грубо вторгались в текст романа, требовали таких диких переделок, после которых от романа не осталось бы и следа.

Разнузданные переделки! Кто во что горазд! Наперекор Гроссману и его книге. Наперекор таланту и искусству...

Критик Борис Соловьев выступил после Арамилева. Это — многолетний работник издательства, искоренитель безыдейности во все нынешние и будущие времена.

Он, надо отдать ему справедливость, не находит в романе «мотивов сионизма», что даже очень благородно и смело по тем временам.

Но он огорчен невероятно (как и многие другие) словами Клавдии Сергеевны Ивановой о том, что «автор не согласится вести большую работу над улучшением текста». И добавляет: «Это было бы весьма огорчительно».

Он ведет свою речь об «аполитичности», «идеалистичности», «неумении или нежелании» нарисовать «политическую работу». А главное: «Только в том случае, если роман приобретет более четкое политическое звучание, если вся работа по организации сил Красной Армии будет показана более явственно, более весомо, а не отписочно, как иногда получается у автора, — роман не будет вызывать существенных упреков».

Трудно, конечно, даже отдаленно представить себе, что речь идет о романе Гроссмана. Программа переработки не имеет границ. Анна Караваяева спорит с Ивановой о композиции: композицию надо менять. «Очень большие претензии у меня к образу Крымова», — говорит она. И у нее, как у Арамилева, есть беспокойство относительно выпячивания еврейского вопроса».

Один герой, по мнению Караваяевой, «действует мало», другой — много... Почему один куда-то поехал, а другой — оттуда уехал?..

Каждый эпизод, каждый сюжетный узел вызывает недоумение и вопросы.

Евгений Долматовский, который сам был в Сталинграде, возмущается теми, кто дает Гроссману «слишком легкие советы». Он считает, что образ Штрума надо вообще из романа целиком выбросить. Надо сделать «коренную операцию». «Это мое предложение, — продолжает Долматовский, — если товарищи со мной согласятся, то это надо серьезно и в аргументированном виде предложить Гроссману».

Ведь надо представить такое — чтобы рухнул роман...

Леонид Кудреватых — примитивный проработчик-правдист — продвигается еще дальше. И говорит то, что положено ему сказать, что «в таком точно виде, в каком роман вышел в «Новом мире», в нашем издательстве в свет он выйти не может».

«Давайте разберемся, — обращается он к присутствующим, — есть ли в этом романе народ как его герой». И, разобравшись, отвечает, что нет.

И далее: «Остается один батальон Филяшкина — народ. А он погибает, причем без помощи, без взаимодействия. Кроме полковой артиллерии, никто не послал ни одного снаряда в помощь батальону Филяшкина. И вот славные, мужественные, храбрые люди погибают, и им не помогли. Вот — народ».

В этом месте, вероятно, не мог стерпеть Александр Бек, и стенограмма донесла его голос:

«А. Бек: Так в жизни не бывает?» — спрашивает он, прервав Кудреватых.

Но Кудреватых не удостоил его ответом. Он расшаркивается перед Арамилевым и солидаризируется с ним: «Не субъективно, но объективно элемент буржуазного национализма в романе есть».

«Надо Василию Семеновичу подсказать, помочь...» — с таких высот похлопывает он по плечу писателя в своем непонятном чувстве превосходства над ним. Заботливым и дальновидным оказывается Кудреватых.

Выступает после него Александр Чаковский... и понятно, что он стоит на вершинах власти в течение многих эпох. Но тогда ведь он начинал. Говорит деловито, что, «несмотря на все привходящие обстоятельства, и к этим обстоятельствам я отношу прежде всего большую ранимость Гроссмана и его всегда очень трудное восприятие каких-либо советов и конкретных замечаний, — тем не менее, мы должны на это пойти».

Что знает он о ранимости Гроссмана? Какое право на насилие утверждает он!

«О некоторых вещах мы должны условиться сейчас», — считает Чаковский. «То, что говорила товарищ Иванова, принять все-таки нельзя, потому что издательство не будет гарантировано тогда...» Так фактически он и Ивановой выражает недоверие. «...Мне кажется, — продолжает Чаковский, — что надо раз и навсегда решить вопрос о героях. Я абсолютно не согласен с Ивановой... Мы должны стоять на точке зрения правильного подсказывания автору его недостатков...»

И далее: «Я считаю правильным указание о недостатках в изображении Гитлера в связи с еврейским вопросом. Думаю, что не вполне прав Евгений Аронович Долматовский, привязывая это к сегодняшнему дню, это всегда неправильно», — заявляет Чаковский.

А он стоит на позициях вечных истин... и сегодня, как и вчера, «и до опубликования и после опубликования сообщения о сионистах-вредителях, — пусть Гроссман не думает»... «показывать единственную сцену в логове Гитлера только в связи с его отношением к евреям исторически, а значит, и политически неправильно».

Именно в этом месте, прерывая речь Чаковского, в обсуждение включается Лесючевский, чтобы поддержать — и они уже почти дуэтом повторяют эти слова.

«Большая ошибка... Выхолащивается сущность фашистской агрессии», — это уже говорит Лесючевский.

Это про Гроссмана... Про его великий антифашизм, доказанный войной и пером... Его гуманизм! Не надо думать, что сейчас это звучит более страшно, чем тогда.

А Чаковский говорит, между тем: «Таким образом, мне кажется, что это вопрос бесспорный, и мы должны со всей серьезностью указать Гроссману на то, чтобы он стал здесь на правильный исторический путь». И еще «страшную неприязнь», как он выражается, вызывают у Чаковского разные другие эпизоды книги. «Какой тут подтекст!» — восклицает он.

Выступает потом критик И. Гринберг, который за свою жизнь написал много статей и книг. Он, как всегда, «согласен с товарищами, которые очень верно и с разных сторон» подошли к роману. Но выдвигает и новое обвинение: «...То, что Гроссман погубил в самом начале Сталинградской битвы Вавилова, который и появился-то в романе как представитель народных масс, как русский колхозник, гвардии колхозный активист...»

Потом Гринберг присоединяется к тому, о чем, по его словам, «первым заговорил Иван Андреевич Арамилев...» «Говорить об истреблении евреев — это значит говорить об одном внешнем проявлении...»

Взявший после него слово Борис Галин, известный очеркист, защищает роман.

Он начинает так: «Мне не понравилось выступление Иосифа Львовича Гринберга. Он не дает возможности увидеть, что же интересное, новое как художник изобразил в своей вещи Гроссман».

Он поддерживает Клавдию Сергеевну и ее оценку, данную произведению: «Товарищ Иванова, по-моему, как редактор, очень интересно подошла к произведению... Нужно помнить, что предстоит еще вторая книга... Я, как читатель, считаю, что Гроссман размахнулся широко... Вспомните блестящие страницы об Урале, как там показан труд. Разве это не страницы, дающие понять, чем жил в это время тыл?»

Да, Галин защищает роман, но, защищая, при этом не забывает добавить (правда, бегло), что «правильно товарищ Арамилев подчеркнул вопрос о фашизме». Галин ставит рядом «За правое дело» с «Белой березой» Бубеннова и говорит, что «Гроссман должен более художественно» обрисовать образ товарища Сталина, на таком же уровне, как Бубеннов.

Можно ли к этому что-нибудь прибавить? Неповторимая картина ушедшей жизни...

Но вот выступает Александр Бек. И время приближается к нам на вечных своих измерениях. Выслушав всех предшествующих ораторов, он заявил:

«И все-таки, несмотря на провалы и слабости, вещь жива, вещь мощна, вещь заставляет о себе говорить, читать ее от начала до конца... Мы не должны искусственно создавать книге препятствия, и с этой точки зрения я не согласен так рассуждать: пускай она полежит, пусть автор не спешит, пусть он поработает, переработает ее, как Фадеев „Молодую гвардию"».

Это очень важно, что именно Бек вспомнил Фадеева и предостерег Гроссмана от его пути.

Главная задача Бека прямо выражена в таких словах: «Абсолютно права была Клавдия Сергеевна Иванова... Думаю, что вся эта работа может быть сделана довольно быстро», — утверждает Бек, идя наперекор всем темным силам.

Но критик-правдист Юрий Лукин вроде бы и не услышал того, что сказал Бек.

«...Нужна еще очень значительная работа». «Надо

согласиться с товарищами... Нет ни главного героя, ни главного героя народа...»

Он, конечно, убежден, что «фигура Штрума — лишняя в романе»... И добавляет: «Зная несколько характер автора, я думаю, что он будет упорно отстаивать свою точку зрения».

Вот какой у автора странный и непонятный характер.

В заключение выступил Лесючевский. «Сегодняшнее обсуждение романа Гроссмана прошло у нас очень интересно», — заявляет он, подчеркивая, что это необыкновенно творческое обсуждение. И в его бездушном изложении долетают вдруг живые подробности. И даже твердый голос Василия Семеновича Гроссмана.

«...Очень жаль, — говорит Лесючевский, — что Василий Семенович не пришел, мы его приглашали, сам я ему звонил, просил прийти, он все время отказывался: — Это у вас не принято, зачем — сами решайте вопрос».

Так ответил Гроссман. Вообще тема его «неприхода» звучит постоянно, на всех обсуждениях. С каким достоинством и смелостью он ведет свою линию.

«Я ему объяснял, — продолжает Лесючевский, — это не для решения вопроса в смысле издавать или не издавать, вопрос этот ясен. Речь идет о той дополнительной работе, которую следует провести автору вместе с издательством. Тут творческое обсуждение поможет нам, и Ваше личное присутствие очень желательно для того, чтобы мнение Ваших товарищей, литераторов, писателей... Кончился наш разговор тем, что Василий Семенович сказал — «Я подумаю». А затем в разговоре по телефону с Кузьмой Яковлевичем Горбуновым он сказал, что не придет на редсовет».

Вот какая была история... И как прав он был, что не унился до того, чтобы слушать речи Арамилева и других.

«Думаю, — определяет Лесючевский, — что Василий Семенович сделал неправильно». И даже с некоторой растерянностью добавляет: «Это первый случай, когда автор отказался присутствовать на обсуждении своего произведения».

Ценные сведения получили мы от Лесючевского. Он говорит, что ему «жалко, что Василий Семенович не хотел прийти и не придавал значения нашей коллективной творческой работе с ним...» И после этого — «очевидно, придется нам вести разговор в более узком кругу и договориться о тех обязательных исправлениях и улучшениях, которые нужно осуществить при доработке романа».

Все это предвещает тяжелые испытания.
Лесючевский формулирует итоги обсуждения.
Постановили:

«1. Рекомендовать автору и издательству при подготовке к изданию романа «За правое дело» учесть замечания, сделанные при обсуждении романа на редакционном совете.

2. Рекомендовать издательству по осуществлению этой дополнительной работы над романом издать роман отдельной книгой».

Итак, приняли или угробили роман Гроссмана «За правое дело» на обсуждении в издательстве «Советский писатель»?

Кто ответит на этот вопрос?

Роман «За правое дело» вышел в «Советском писателе»... Не в 1953, а в 1956 году. Редактором его была Клавдия Сергеевна Иванова. Василий Семенович рассказывал мне, что с ее помощью появился самый полный и важный для него вариант романа. Туда вошли и те страницы, которые были исключены из журнального варианта.

ОДИН НА ПОЛЕ БОЯ

2 февраля 1953 года в «Новом мире» происходит совещание, «организованное редакцией журнала», «по обсуждению романа В. Гроссмана „За правое дело“».

Только что напечатанный роман обсуждается в журнале, который предоставил ему свои страницы. Совсем недавно.

Для меня, когда я узнала об этом много лет спустя, это — факт невероятный. Если знать хорошо Твардовского как человека, писателя и редактора, так, как я его знала.

Только в обстановке террора, с занесенной над головой секирой...

И тут необходимо напомнить, что сопротивление роману Гроссмана началось еще в глубинах «Нового мира» в 1950 году, сразу же после того, как появилась рукопись. Ведь Михаил Бубеннов был членом редколлегии при Твардовском. И именно он был против Гроссмана, что запечатлено в другой стенограмме, которая будет напечатана ниже. Но Твардовский тогда не посчитался с ним.

А сейчас Бубеннов берет реванш.

И я снова хочу напомнить дату — 2 февраля — за десять дней до появления в «Правде» правительственной статьи Бубеннова и за месяц до смерти Сталина.

Так надо было продержаться еще... Но по законам трагедии продержаться было нельзя.

Я уверена, в «Новом мире» известно о патриотическом рывке Бубеннова наверх. И о его верховном торжестве у Сталина и в ЦК.

Катастрофа, конечно, и качается под ногами земля.

Характерно и тревожно, что Фадеева на обсуждении нет, от руководства Союза — Сурков.

Это единственное обсуждение романа «За правое дело», на котором присутствует Василий Семенович Гроссман. Не мог он не явиться по зову Твардовского в журнал, который напечатал его. К тому же задача обсуждения, на первый взгляд, узкая и конкретная. О романе будут говорить почти исключительно генералы и полковники.

Хотел ли «Новый мир» опереться на них, отстаивая роман? Или отступая от него? Гроссман, мне кажется, об этом не знал. А Твардовский?

Председатель — Александр Трифонович Твардовский.

Во вступительном слове он сказал: «То, что наше сегодняшнее обсуждение, наша беседа, совпадает с днем, когда наша печать отмечает десятилетие Сталинградской Победы,

а наше обсуждение посвящено книге, одной из первых в советской литературе, которая ставит своей задачей изображение Сталинградской эпопеи, это совпадение в какой-то мере должно определить особый характер нашей беседы, это совпадение должно быть очень лестным для автора романа, потому он может быть совершенно твердо убежден, что беседа будет идти на высоком уровне требований, беседа будет идти по-прямому, по-деловому, по-литературному».

Тут отлично слышен голос Твардовского, редактора, принявшего роман для опубликования, отлично видящего его высокие достоинства. Каким он был лишь месяц назад.

«Однако делать нечего, — продолжает Твардовский, — критерием искусства все же является действительность, и мы, рассматривая это произведение, первую часть задуманной эпопеи Гроссмана, подходя к этому «крыльцу», выражаясь словами Гоголя, которое вводит в какой-то незнакомый нам дом, мы не можем иначе поступить, как не обратиться к фактам той действительности, которая легла в основу этого романа, и к наличию того, что в этом романе есть...»

«И однако, — говорит он, — могут ли все эти успехи ослепить нас в отношении существенных и серьезных недостатков, которые имеются в этой первой части романа?

Нет!» — отвечает он на свой вопрос.

И критикует роман.

Слово берет генерал-майор Гарнич. И хотя он встречался с Гроссманом на первом Сталинградском фронте и на втором Белорусском, он считает, что образы, созданные писателем, «резко не удались. Они не являются типичными образами офицеров Советской Армии в ту эпоху».

И сообщает, что будет говорить не обо всем романе, так как «полагаю, что мы распределили этот трудоемкий процесс на всех присутствующих».

«Трудоемкий процесс...»

Генерал-майор Гарнич заявляет:

«Я считаю, что неуспех товарища Гроссмана является закономерным, естественным следствием его собственного неправильного взгляда, порочной концепции по отношению к нашим советским штабам... Мы не можем воспитывать население, молодежь в духе „штабоедства". Он впал во вредную крайность... Природа советского, Сталинского искусства ему не ясна».

И это свое положение он подробно и тщательно «доказывает», развивает, конкретизирует, снижая сразу уровень обсуждения до непроходимых низин.

Генерал-майор Гарнич говорит, что это «штабоедство» он обнаружил «в пятнадцати местах» романа.

И приводит такие, например, «места».

«...Новикова не радовало, а сердило, когда хвалили его штабную работу. Он не считал себя, как думали другие его начальники и сослуживцы, призванным к штабной работе. Ему казалось, что все свойства его характера, духовного склада отвечают другому. Он считал себя прирожденным танкистом, боевым командиром, натурой, не только склонной к логике и анализу, но и к рискованным действиям, и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка отдельных деталей дружат со страстью и риском».

Фразы Гроссмана, пробивающиеся из цитат Гарнича, звучат и сейчас очень хорошо... К чему же здесь можно придаться? Оказывается, в этих приведенных выше словах выражена «абсолютно произвольная и совершенно не понятная характеристика того, что называется в нашем представлении образом офицера или генерала Советской армии».

«Пойдем дальше», — заявляет Гарнич и идет дальше от страницы к странице.

Вот пример: «Начальник тыла дан с коврами, самоварами, завитыми девушками и парикмахером».

И восклицает: «Думаю, что это не характерно для Сталинградской эпопеи!»

Потом: «...и все-таки уход советских людей из пограничной полосы нельзя было назвать паническим — следовало бы это место стилистически выправить».

Или необыкновенная фраза из Гроссмана: «Немцы шли в несколько этажей, заняв весь голубой объем летнего неба». Она тоже производит «странное впечатление» — «думаю, — говорит оратор, — что нельзя покрыть все небо».

Он приводит еще одну цитату из романа: «Новиков хочет рассказать Жене, что получил задание формировать танковый корпус».

После этих слов оратор восклицает: «Но ведь это военная тайна!» И вообще считает, что у полковника Новикова «пораженческая концепция». А «Даренский — на всем протяжении показа автора выглядит как настоящий недодеченный шизофреник».

Дело не в том, что Гарнич «анализирует» роман на том уровне, какой у него был. Но страшно участие армии в разгроме литературы, который я наблюдала на всех пе-

риодах ее истории. И эта победа над Гроссманом не на поле боя, а в тесных комнатах журнала «Новый мир».

В конце своей речи Гарнич произносит:

«Я знаю Гроссмана как очень талантливого человека, он должен пересмотреть и исправить...»

Коротко и ясно!

Именно этим выступлением определился характер обсуждения, его уровень.

Затем выступает генерал-майор Мусьяков.

Он не согласен с генералом Гарничем, он не видит в романе штаббоедства. Но «вообще штабы показаны плохо», — добавляет он.

«Товарищ Гроссман не совсем вник...» «Многое здесь спорно», — говорит он, хотя признается, что роман «прочитал два раза и еле связал концы с концами», «еле разобрался что к чему...»

Главный его вывод:

«...это кирпич в здании советской литературы. Пока это еще сыроватый кирпич, может быть еще не обожженный полностью, может быть еще розовый, не дошедший до кондиции. Пока еще закладывать такой кирпич в здание я бы не рискнул. С ним надо еще много работать, прокалить надо с помощью критики и с помощью автора».

Эта страшная, по-своему образная картина прокаливания и обжигания романа Гроссмана, доведения его до кондиций, конечно, была мало переносима для ушей Гроссмана.

Сейчас уста его заперты на замок. И Гроссман отодвигается все дальше от Твардовского. И в их немом поединке заложена будущий неминуемый взрыв.

Слово берет генерал-майор Жемайтис.

«Если товарищ Гроссман, — говорит он, — поставит задачу написать подобный труд, как «Война и мир», он с такой задачей справится. Он показывает замечательную историческую битву, которая войдет в века. Эта битва требует подобного освещения».

Он развивает это положение: «Поражает исключительно умелая постановка военных вопросов. Такой безграмотной постановки военного дела, военных эпизодов мы не видим, как во многих других литературных произведениях... Все военные эпизоды исключительно яркие, поучительные и правдоподобные. Чувствуется, что так воевали и так погибали. В этом большая ценность работы товарища Гроссмана».

Разговор ведется, конечно, на другом уровне. Жемайтис

тис излагает собственные соображения о характере Сталинградской битвы — «в мировом масштабе», как он говорит, и о стратегических ошибках противника.

Но эти соображения важны для него не сами по себе, а для того, чтобы сказать о недостатках, «слабостях» (по его словам) — «с точки зрения постановки всего этого огромного вопроса сталинского военного искусства».

И тут, по его мнению, «нужно предъявить автору» «ряд моментов».

Главное его обвинение: «В борьбе за город Сталинград за весь этот период, который показывает автор, делается большое упущение, что он не показывает полностью роль товарища Сталина. Остальные стороны войны очень неплохо изложены».

Но бубенновский накал обсуждения становится горячей. И кто-то привел в «Новый мир» Ивана Арамилева. Как он попал сюда?

Итак, второй раз за десять дней слово берет Иван Андреевич Арамилев.

Скажу, прежде всего, что за десять дней он заметно окреп.

«Какие требования мы обязаны предъявить Гроссману?» — спрашивает он, вспоминая «гост товарища Сталина» после окончания войны — «За здоровье русского народа, как ведущей нации».

И после этого формулирует «требование»: «В эпосе должен быть представлен русский народ».

Он заявляет, что Вавилов не может выражать русский народ... Почему — он объяснить не может. Академик Чепыжин — еще хуже.

А Штрум... Он произносит это имя, по самому звучанию своему обнажающее весь комплекс преступного замысла Гроссмана.

«Главная роль — это Штрум, — восклицает Арамилев, — но Штрум не типичная фигура для такой роли... Штрум занимает непропорционально много места в романе. Он слишком много размышляет, слишком много говорит... Окружен такими же собеседниками...»

В рассуждениях Штрума Арамилев находит «метод провокации».

И дальше:

«Мы не Иваны, не помнящие родства... А в романе ни слова об этом нет... Большой идейный порок...»

Но это порок не главный.

А «главный порок» он формулирует так:

«Уничтожение еврейской нации не было главной программой фашизма. Когда Василий Семенович выдвигает еврейскую нацию на первый план, он снижает программу фашистов...»

И снова — второй раз — заявляет про Гроссмана:

«Он повторяет то, что писал о фашизме Фейхтвангер, который подходил к этому с сионистских позиций... И понятно, почему он сейчас в Америке. У него нет в этом разногласий с американскими фашистами. Но советскому писателю Гроссману нельзя было идти в этом вопросе по следам Фейхтвангера. Ему нужно было раскрыть фашизм не с позиций Фейхтвангера, а с позиций коммунизма, в духе указаний товарища Сталина... Штрум прикован к еврейской проблеме, его не заботит ни судьба советского народа в целом, ни судьба нашей страны... В эпопее о Сталинградской битве Штрума нельзя было ставить на первый план».

И в самом конце:

«Когда говоришь товарищам — поклонникам таланта Василия Гроссмана о том, что герои не удались, то выдвигается обыкновенно тезис — в романе и нет отдельных героев, а герои романа — весь народ, и в качестве такого коллективного героя выдвигается батальон Филяшкина».

Можно ли оспорить эту несомненную истину? Оказывается, можно. Таким путем: «Да, он героический, — восклицает Арамилев, — но чем кончил этот батальон? Он погиб до единого человека, — символ народа погиб!»

Так заканчивает Арамилев свою обвинительную речь — как на заседании военного трибунала. Надо же представить себе: не только народ убил, но и символ народа убил...

И я еще раз хочу напомнить, что в те дни слова, подобные этим, были равны топору и тюрьме. И каждую ночь из-за таких слов фабриковали дела и увозили людей. Это — воздух времени.

Провокатор Арамилев был притащен сюда, чтобы вывести Гроссмана, Твардовского и «Новый мир» на обстреливаемые рубежи. Но пока оба они слушают молча, немо. И по законам подлого времени они должны оказаться на разных полюсах...

Выступает полковник Маркин. Он считает, что «непоказ штаба портит любое художественное произведение», что Гроссман не запечатлел «мыслей советского командования».

Опять весь набор примитивных, тупых и штампованных слов. Грубое непонимание того, что такое искусство.

Например:

«Помимо показа работы штабов современной войны, ни одна из ее операций не может быть описана, если писатель не применил основных положений Сталинской военной науки. Если этого не делать, то автор неизбежно попадет в ложные условия».

Так почти все военные от упреков «по линии штабов» ведут свои обвинения к упрекам «по линии сталинского руководства войной». И это закономерно — поэтому закричали о «штабоедстве».

И далее:

«В отношении показа тыла» — «не найдены те яркие, обобщенные образы, которые бы показали облик советского народа... Также роль товарища Сталина очень слабо показана...»

«Помимо общевоенных недостатков», оратор хочет обратить внимание «и на внешний облик героев... Местами образы настолько грубо обтесаны, что просто нет никакого впечатления».

Что можно к этому добавить!

Слово берет Андрей Михайлович Турков — тогда еще очень молодой критик. С радостью переписываю я его слова, будто из последнего номера газеты «Известия».

В эти черные дни... Так важно запомнить все голоса.

Он встал на защиту романа и фактически вступил в спор со всеми, кто говорил до него.

Турков говорит:

«...Это ощущение могучей поднявшейся силы на защиту своего отечества, своей родины... Это роман хорошо передает...»

«Мне бы хотелось, говоря о положительных чертах романа, отметить очень хорошую психологическую характеристику людей».

Турков не может согласиться с тем, что «говорили здесь о битве на Сталинградском вокзале — это одни из самых прекрасных страниц романа».

Турков вступает в прямой и мужественный спор с Арамилевым — по всем линиям.

«Меня удивило замечание, которое сделал Арамилев, — говорит он, — его утверждение, что битва на вокзале превращается в странный символ, что народ встает, народ погибает. Это неверно. Битва на вокзале — проявление негибемого мужества народа. Это очевидно. Это страшная вещь. Это место, где перемигиваются красный и зеленый фонарики, это передает обреченность людей и невероятную

жестокость обстоятельств... И потом, когда поднимается фигура этого небритого солдата... И мы узнаем в нем Вавилова...»

Характеризуя роман и его героев, Турков говорит, что «мы узнаем в них историю нашего государства. Здесь даны самые разные слои... Автор поднял большие пласты нашего общества и сделал это очень интересно и очень своеобразно. Эта книга конфликтна в хорошем смысле».

Он продолжает:

«Нельзя упрекать автора, что он не изобразил всех отрезков Сталинградской эпопеи. Совершенно ясно, что главное действие романа Гроссмана — впереди...»

Турков с презрением и негодованием говорит о выступлении Арамилева и спорит с ним, прямо глядя ему в лицо. Его, как он выразился, «удивляет странное восприятие Арамилевым образа Штрума, который якобы заслонил всех героев».

Турков возмущен утверждением Арамилева, что «трактовка еврейского вопроса заслонила всю трактовку фашизма в романе Гроссмана».

Чувствуется, что, отвечая, он поднимает голос:

«Разрушение Сталинграда — это разве не раскрытие фашизма? — спрашивает о н . — Изображение фашистской армии в Сталинграде — как можно игнорировать? Мне кажется, что это немножко узкий взгляд».

Очень важен этот анализ Туркова — прямо из раскаленных печей времени, тех даже секунд. И вечный для всех времен.

Потом выступает полковник Крутиков и возвращает опять только что напечатанный роман «За правое дело» к стадии первичных обработок. Его интересует «одна сторона дела — это мировоззрение советских героев». И поясняет: «А здесь пока есть еще очень скользкие вещи».

Примером «скользкости» для Крутикова является «философия этого большого ученого Чепыжина...»

«В романе не видишь характеристики советского человека, у которого весь духовный мир изменился. И в этом отношении возникает целый ряд вопросов...»

И слова Гроссмана о том, что люди шли на фронт «не потому, что верили в скорую победу, а именно потому, что чувствовали глубину народной беды», — эти прекрасные слова вызывают критику полковника Крутикова по линии «того же самого советского патриотизма».

А вывод один:

«...Это беспартийная, можно сказать, постановка, —

говорит о н . — Ведь и гитлеровцы тоже учили своих солдат в казармах войны. Почему же разные результаты!»

С места ему в этот момент кто-то крикнул:

«Лозунг «всё для фронта, всё для победы» — это тоже беспартийный лозунг?»

Выступает генерал-майор Вершигора, Петр Петрович, до войны — кинорежиссер, ставший на войне генералом. Его книга «Люди с чистой совестью» посвящена партизанской войне, в которой он принимал участие — был командиром партизанского соединения Ковпака.

Начинает он так:

«Самые страшные враги исторической литературы — это очевидцы исторических событий. Редко кто сумеет поднаться от субъективного до исторического».

И высоко оценивает роль писателя, который умеет «средствами художественного анализа создать такое полно, чтобы люди говорили: да, это было почти так, как я видел».

Вершигора приводит свидетельства очевидцев войны, которые говорят, что картина войны у Гроссмана «написана, как с натуры, написана хорошо, правильно, ярко... Кроме того, даже в народе говорят, а к народу надо прислушиваться с умом, народ говорит: как воевали, все написано правильно...»

В те годы говорили, что Вершигора защитил Гроссмана на этом заседании.

И все-таки роман Гроссмана и в его руках ломался и трещал.

Вот главная мысль Вершигоры, громко заявленная им:

«...Хотим мы или не хотим, а чаще не хотим, но жизнь заставляет это делать, — мы возвращаемся к литературе документальной».

И с этих позиций он находит, что «роман „За правое дело" выразителен и своими победами и своими поражениями».

Что же не нравится Вершигоре?

«...То, что идет от лукавого, где идет философия истории...»

Гроссман должен писать историческую хронику, считает Вершигора. Он объясняет:

«...Сама плоть художественного творчества заставит писателя выбросить все свои философские рассуждения, иначе он потерпит настоящий крах... Он должен пойти на честную историческую хронику...»

И сам добавляет:

«Насколько мы знаем Гроссмана, — он по этому пути не пойдет». Но это не смущает Вершигору, он продолжает горячо отстаивать свою идею, дает много советов — как начинать, как продолжать... И снова повторяет:

«Ведь того субъективного, что видел Гроссман, пройдя все дороги и окопы Сталинграда, побывав под бомбами и лежа в кюветы, — ведь этого еще мало, чтобы создать эпопею».

И в конце от писательских советов Вершигора переходит к генеральским:

«...Дело, которое делает Гроссман, это не личное его дело, даже не дело редакции «Нового мира», даже не дело Союза советских писателей, это дело нашей армии, это дело военных академий... Поэтому наша критика должна быть твердой, благожелательной... Писателю Гроссману мы должны предъявить жесткие требования. От философии он должен избавиться. Эти мысли его надуманны, выбросьте их из головы, они Вам мешают, они связывают по рукам... Прислушайтесь к моему совету, пишите настоящую хронику о Сталинграде еще в двух томах...»

На горячем призыве *выбросить мысли* заканчивается его, на мой взгляд, вполне искренняя речь. Он понимал, что без мыслей Гроссману будет легче жить на этой земле.

Твардовский дает слово Алексею Суркову. Как руководителю Союза писателей, специально приглашенному на собрание.

Фадеев был главным секретарем, а Симонов и Сурков — секретарями. В целом они как Секретариат одобрили роман после его появления в «Новом мире». И утвердили решение секции прозы о выдвижении на Сталинскую премию.

К этому времени они, конечно, знают, что все их замыслы провалились. И странное это обсуждение идет, по существу, под руководством не только Твардовского, но и Суркова.

Сурков много в своей жизни выступал, принимал участие... Особенный, витиевато-закрученный стиль его речей принес ему прозвище «гиена в сиропе».

Но надо помнить, что суровско-арамилевское направление претило ему и было глубоко чуждо.

Сейчас, в трудный час, он тоже делает сложные повороты. Сначала он рассказывает, что «только сегодня утром закончил второе чтение книги...»

Потом откровенно и цинично признается:

«Я могу и из евангелия сделать материалистическую

книжку — в одном месте не дочитать, в другом — перечитать, в третьем выложить свои субъективные ощущения».

Но Сурков считает, что к роману Гроссмана так подходить нельзя. Если послушать всех, кто говорил, то «по сумме цитат», как определяет Сурков, «книжку надо выбросить, книжечка порочная во всех своих мировоззренческих основах».

И Сурков даже очень определенно говорит:

«Но на деле положение немного не такое... Книга Гроссмана — это литература в собственном смысле этого слова».

Речь его сбивчива, и тут же идут «соображения» и «претензии».

Сурков вдруг восклицает:

«К умному выступлению Арамилева надо прислушаться. Он копнул сильно в некоторых местах...»

А чуть ниже заявляет, что «не совсем с ним согласен», с Арамилевым:

«Нельзя сказать, что вся философия фашизма и вся роль фашизма обрисована тем, что он евреев преследует. Это была бы некоторая натяжка, так сказать».

Но называет «чудовищной философской белибердой» то, что говорит академик Чепыжин. «Самое слабое место, — добавляет он. — Это историко-философская концепция вещи, она эклектична и неясна».

Сурков пытается доказать свою мысль анализом «завиральных идей» народной войны у Льва Николаевича Толстого. Но ничего не получается у него.

Обращаясь к сидящему здесь Гроссману, Сурков говорит:

«Сталинградскую битву у вас в романе я не прочитал так, как хотелось бы прочитать, Василий Семенович. Вы очень много отступлений делаете в романе... Вы очень долго размышляете, хотя можно обойтись без этого очень часто».

Призыв *не думать* — сквозная тема обсуждения.

Я все время представляла себе, что чувствовал Гроссман, когда сидел и слушал...

По маленькой реплике Твардовского, которую я приведу сейчас, можно себе представить, что Гроссман больше не мог и не хотел слушать эти речи. И между ними возник спор.

После чего Твардовский сказал:

«Возникают некоторые затруднения. Василия Семеновича вызывают очень срочно в высокие инстанции. Поэтому мы должны ему предоставить сейчас слово».

В отсутствие автора, я думаю, активность обсуждения значительно теряется. Как тут поступить — затруднительно. Сейчас мы должны выслушать товарища Гроссмана, а тогда подведем итоги».

Хочу напомнить и подчеркнуть, что это единственная речь Гроссмана за время травли, под грохот адских машин.

ГРОССМАН:

«Я прошу меня извинить, но мне нужно точно вовремя выехать».

Я начну с традиционных слов о том, что я признателен товарищам, которые сделали критические замечания, а также замечания общего порядка. Все это для автора нужно и важно и представляет для него тот материал, который им используется.

Конечно, нельзя себе представить, что критика непосредственно, сразу осуществляется на измененных страницах книги.

Эта критика, которая дается по книге, более сложная, но она доходит и приходит, и это всегда важно, и я за это весьма признателен.

Я хотел сказать несколько слов о своей настоящей работе. Я в настоящее время нахожусь в разгаре работы над второй книгой романа. Вторая книга романа посвящена также Сталинграду. Товарищ Жемайтис интересовался, какие события будут описаны. Очень много места уделяется оборонным боям, в частности боям на заводах. Я показал в меру моих сил людей и соединения, которые боролись за заводы на «Октябре», на тракторном и на баррикадах.

Там же действует и часть моих героев, опасность по поводу смерти Вавилова, что это не даст автору возможности продолжать линию, которую он начал в первой книге, неверно, мне кажется, потому, что в моей работе я вижу тех людей, на которых я опираюсь. Это и солдаты, и сержанты, и офицеры. Там же действует и Крымов.

Многие претензии к нему, которые справедливы в большой степени, будут сняты, потому что он с первых дней, с первых часов, как попал в Сталинград, начинает действовать активно и как боец и как политический работник. Я надеюсь, что это поможет несколько этому герою существовать не под таким огнем, под который он попал на нашем сегодняшнем собрании.

Рассказывать о дальнейшем содержании книги я считаю трудным и лишним, потому что часто меняется в про-

цессе работы и часто сам автор уезжает в другое место, хотя собирался ехать в другом направлении.

Поэтому не стоит детализировать все это.

Мне кажется, что главная часть действия произойдет в Сталинграде и будет связана с людьми, которые там участвуют.

Дальнейшие мои планы весьма обширны, так как Сталинград — явление международное.

Агитация товарища Вершигоры пока на меня не действовала, я не придерживаюсь идеи Сталинградской хроники.

Прошу извинить меня за несколько путаную речь. Вот пока все, что я могу сказать о своей работе.

Мне бы хотелось, чтобы в будущей книге, которую я надеюсь закончить в 1954 г о д у , — нашли свое отражение и те высказывания, с которыми я встречаюсь. Я получаю и письма, и читательские высказывания, которые очень важны.

Относительно критики первой части романа. Существует странный взгляд — журнальный вариант, книжный вариант... Пока существующий вариант романа... Это что-то эфемерное. Это произведение, которое написал автор и в котором, худо ли, хорошо ли, он выразил свою любовь к народу, ненависть к врагу. Нельзя говорить о работе, над которой он работал десять лет, что это не жизненный вариант. Это моя книга, над которой я работал всеми своими силами.

Другое дело — как она дальше пойдет. В какой форме это найдет свое место. Книга во втором томе будет говорить о тех людях и событиях, которые развернулись в самом Сталинграде.

По поводу высказываний товарищей.

Отдельные замечания. Прежде всего, мне не нужно говорить, что это начало, «крыльцо» или недостроенное высотное здание, такой скидки со стороны критики мне не нужно. Какое это «крыльцо» в размере 40 печатных листов? Я отвечаю за это не как за «крыльцо», а как за жилой д о м , — худо в нем жить или х о р о ш о , — это другой вопрос.

Кое-какие беды произошли в процессе редактирования книги, потому что как она ни казалась несовершенной, рыхлой, но если кое-что изымается, кое-что переставляется, внутренний закон, по которому книга строилась, был нарушен, и оказалось, что что-то осело, какая-то стена искривилась. Вот так оно бывает.

Что касается отдельных замечаний. Насчет того, что я штабоед, это я отвергаю. Какой же я штабоед. Кстати, то-

вариш Гарнич, я тут получил записку от военного товарища: не огорчайтесь, товариш Гарнич в свое время мечтал не о штабной, а о строевой работе. Я не вижу тут ничего плохого, если человек хотел перейти со штабной работы на строевую работу. Это вещь вполне возможная.

Замечание товарища Мусьякова, что штаб показан плохо, что политические работники не удались. Я признаю, есть много недостатков, в частности и эти, о которых Вы говорите.

Теперь по поводу замечаний товарища Арамилева должен сказать такую вещь. У меня было несколько глав, в которых речь шла о Гитлере и о его общей концепции, о планах его. Было несколько глав, где говорилось о вещах, которые определяют устремление фашизма к Европе, к славянским народам и действия фашистов на оккупированных территориях. По разным причинам они не были напечатаны. Лично я считаю, что при отсутствии этих глав обвинение не верно. Об этом говорится на полтора страницах, о том, что Гитлер уничтожал евреев. Это исторический факт, и в этом ничего такого, чтобы не сказать в книге, которая посвящена борьбе советского народа с фашизмом, нет. Я не вижу никакого криминала, который старался, грубо говоря, пришить Арамилев. Книга вся написана о борьбе советского народа с фашизмом, и говорить, что в этой книге, где тысяча страниц, на полтора страницах сказано о задачах фашизма, не верно. На протяжении всей книги говорится, что делали фашисты и как боролся русский народ с фашизмом.

Я считаю это обвинение недобросовестным и не принимаю его, хотя оно формулировано довольно жестко.

По поводу выступления полковника Крутикова.

Он считает, что мои формулировки не ясны, и приводит ряд формулировок.

Товариш Крутиков, я могу Вам сейчас все это разъяснить, но это бессмысленно: я не могу разъяснять это каждому читателю. Если Вам кажется это неясным, значит, для Вас это неясно, и устное разъяснение автора мало что может в таком случае сделать.

С большим вниманием прослушал я пожелания товарища Вершигоры, хотя и не принял их. Также прослушал я внимательно и заключительное слово товарища Суркова.

Могу повторить, что я весьма признателен за эти замечания и критику, которая порой была сурова, но критика всегда идет на пользу автору и никогда не проходит для него даром. Конечно, не непосредственно, как мичуринские

огурцы превращаются в мичуринские помидоры, но в какой-то форме эта критика всегда доходит.

Надеюсь, что в дальнейшей моей работе, если вам будет угодно прочесть, когда ее напечатают, вы увидите, что и это наше собрание не прошло для меня даром. Еще раз спасибо».

Да, он прервал обсуждение и ушел. И этот его приход в «Новый мир», по существу, — уход. Но в речи его запечатлено, как сдерживал он себя, как выбирал слова. Сколько здесь печали, такта, ума, тоски от непонимания... И нет ни одного слова, которое не дышало бы правдой.

ТВАРДОВСКИЙ:

«...Мне осталось принести от имени редакции большую благодарность всем принимавшим участие в обсуждении романа, всем пришедшим по нашему зову на эту беседу.

От необходимости более подробного заключительного слова меня избавил товарищ Сурков, который с большой ясностью и толковостью подвел итоги нашей беседы.

Я только потому позволю себе задержать ваше внимание, что заключительное слово товарища Гроссмана меня крайне не удовлетворило.

Мы все сошлись на том, что обсуждаем чрезвычайно значительное произведение, и самый характер нашей беседы, и интерес к этому произведению, — все это, бесспорно, говорит в пользу этой книги.

Очень огорчителен для всех присутствующих тот своеобразно пренебрежительный, отчасти барственный тон, с которым товарищ Гроссман отозвался на замечания, высказанные здесь от большой любви к нему, от горячего сердца а, — и иногда очень толково.

Я не согласен с товарищем Сурковым, когда он обвинил товарища Крутикова как бы в выдергивании цитат. Выступление товарища Крутикова тоже было вызвано доброжелательностью к этой книге.

И однако, когда он говорит о несостоятельности некоторых философских показателей, о неловкости его формулировок, то дело не в формулировке, неловких фразеологических оборотах, а дело в том, что эти показатели имеют поддержку и в другом плане. Это излюбленные идеи, от которых мы должны помочь Гроссману избавиться. Это отрицание сознательного начала, это то, что в тексте романа осталось. У нас не хватило сил очистить до конца. Это не так

легко очистить в тексте романа, но труднее из головы человека. Мы пытались помочь в этом деле, и когда на совершенно существенное замечание товарища Крутикова товарищ Гроссман говорит: если Вам непонятно, Вы не доросли, я Вам объяснять не буду, это не верно.

Надо писать отчетливо, недвусмысленно, чтобы не разъяснять каждому читателю.

Замечание полковника Маркина относительно того, что центральный эпизод разыгрывается в несколько искусственной изоляции от общей Сталинградской битвы. И если бы при всей трагичности положения батальона на вокзале было дано общее ощущение силы, от этого эти страницы только выиграли бы. Я вспоминаю, как мы настаивали, чтобы у этих людей, обреченных, некоторое облегчение было от сознания той силы, которая движется им на выручку.

Пусть они погибли, но пафос их гибели и значение их гибели только выиграли бы от этого. Здесь же есть элементы того, что как бы искусственно отрезаны люди, они говорят о себе: я был. Даже на подводных лодках, где люди прекрасно понимают всю безнадежность, и там не исчезает ощущение внешнего мира и товарищей, которые могут оказать им помощь. Художественная выразительность воздействия на душу читателя от этого нисколько не пострадала бы, а наоборот, выиграла бы.

Одно из существенных замечаний у товарища Крутикова, что особенность советского патриотизма шире, богаче, чем тот патриотизм, который иногда прорывается у Гроссмана. Этот грех у него есть. Этот упрек надо принять, чтобы избавиться от этого греха, который у него есть.

У него как бы есть стремление очистить человека от всякой физиологии. Идет Вавилов, идет крестьянин, который любил небо, любил землю, жену и детей, и он идет на войну, чтобы вернуться к жене и детям. Все не так просто.

Современный советский человек, самый простой человек, осложнен множеством различных отношений, различных воздействий и влияний на него.

Наконец, он должен был посчитаться с замечаниями товарища Мусьякова, который притворился рядовым читателем, но это высококвалифицированный читатель, и есть подозрение, что он и сам пишет.

Он указал на композиционную разбросанность, неувязимость всех этих «рукавов».

Выражение «крыльцо» говорит о незаконченности, о

том, что имеется много не доведенных концов, много обрубленных ветвей, много обещаний, которые не осуществлены. Думаю, что товарищ Гроссман должен был и на это обратить внимание.

Товарищ Арамилев, конечно, допустил неправильное сближение концепций советского писателя Гроссмана с концепциями нацизма у писателя Фейхтвангера. Это оскорбительно. Но в некоторых своих замечаниях он был полезен для товарища Гроссмана.

Как неприятно писателю, когда его упрекают, говорят, что недотянуто, когда дают советы, а тебе кажется, что ты умнее всех. Это свойственно авторской природе. Однако в таких случаях надо смириться, с большей терпимостью относиться к замечаниям товарищей.

И стоило бы даже в заключительном авторском выступлении проявить несколько большую скромность.

А в остальном считаю наше собеседование очень содержательным, очень плодотворным, несмотря на то, что получилось немного неловко перед нашими военными гостями и , — писателей пришло мало и выступали они недостаточно активно.

Несмотря на односторонность этого взаимодействия, мне кажется все-таки, что эта беседа имела свой смысл и она послужит не только итогом и уроком для товарища Гроссмана, не только итогом и уроком с точки зрения редакционной практики, поскольку мы ждем дальнейшей части романа, но и в смысле всей нашей литературной критической жизни, литературной общественности. Эта беседа представляется мне не случайным местом, не пустопорожним разговором, а разговором, во многом содержательным, существенным, действенным и во многом цельным.

Еще раз — спасибо, товарищи!»

Заключительное слово Твардовского и речь Гроссмана я привела полностью.

Их неповторимые характеры, их столкновение, скрываемый и сдерживаемый поток чувств запечатлены на этих страницах. В печальный для нашей жизни момент истории...

2 февраля, когда проходило это совещание, партийная печать еще молчала.

Но хлынула эта лавина...

Через десять дней после совещания в «Новом мире» — 13 февраля — статья Бубеннова в «Правде», потом редакционная статья в «Литературной газете», статья Лекторско-

го — в журнале «Коммунист»... Очень быстро одна за другой.

И Бубеннов — уже не Бубеннов, а «партийная печать». И все покатило со своих (и прежде сдвинутых) мест.

«О романе В. Гроссмана „За правое дело“» — так называется информационная заметка в «Литературной газете».

В ней мы читаем:

«Ниже печатается присланное для опубликования в «Литературной газете» постановление редакционной коллегии «Нового мира», подписанное главным редактором журнала А. Твардовским и членами редколлегии Ан. Тарасенковым, В. Катаевым, К. Фединым, С. Смирновым.

В № 7, 8, 9, 10 журнала «Новый мир» за 1952 год была опубликована первая часть романа В. Гроссмана «За правое дело». Это произведение подвергалось критике в ряде писем читателей, на обсуждении, проведенном в редакции журнала 2 февраля с.г., на читательской конференции в ЦДСА, а в последнее время на страницах „Правды“».

Идет перечисление статей и авторов.

«Редколлегия журнала „Новый мир“ считает, что эта критика вскрывает серьезные идейно-художественные пороки романа В. Гроссмана, посвященного ответственной теме Сталинградской битвы.

Исходя из глубоко неверной, доморощенной философской концепции...

Исчерпывающие ясные сталинские положения о причинах возникновения... Гроссман подменил...

Редколлегия считает, что она обязана извлечь все уроки из совершенной ею серьезной ошибки...

Редколлегия считает необходимым чаще привлекать коллектив коммунистов...

Редколлегия просит Секретариат ССП в ближайшее время принять меры к укреплению состава редакционной коллегии „Нового мира“».

Не буду я это переписывать — от точки до точки. Хотя временами кажется, что это цитаты из «Теркина на том свете»...

Письмо напечатано в «Литературной газете» 3 марта 1953 года.

Тем же числом — 3 марта — было помечено «Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Центральный Комитет Коммунистической партии и

Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Сталина. В ночь на 2 марта...»

Так оба события произошли в один день.

«СЛУШАЛИ — ПОСТАНОВИЛИ»

Для того чтобы читатель до конца понял смысл и характер событий, которые встанут перед ним со страниц публикуемой ниже стенограммы, мы считаем необходимым сказать несколько слов.

Время действия этих событий — 24 марта 1953 года. Место действия — улица Воровского, дом 52, особняк Союза писателей, где идет заседание Президиума вместе с активом писателей. Мишень поношения и разгрома — писатель Василий Гроссман и его роман «За правое дело».

Стенограмма заседания Президиума правления Союза советских писателей отражает состояние советского общества в момент смерти «товарища Сталина». Именно в этот момент.

Не пытаясь определить, какой период сталинской эры был самым беспросветным, скажу только, что последний период его жизни имел свой законченно чудовищный облик.

У нас нет об этом времени книг и исследований, но собственная память и ненаписанная история нашей литературы помогают определить вехи этого периода.

Его начало — август 1946 года, отмеченный постановлением ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», принятым по указанию Сталина. С этого времени забота Сталина о литературе становится прямой и неотступной. Литература для него — орудие в идеологической борьбе, в холодной сталинской войне. Постановлением «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» открылась бесконечная борьба за идейность советской литературы против безыдейности.

Топтали Зощенко и Ахматову, били Андрея Платонова, разоблачали платоновщину и ахматовщину, били тех, кто их печатал, и тех, кто их хвалил, залили помоями «пошляка» Хазина, «упадочные» стихи Алигер и Берггольц, закрыли журнал «Ленинград», разгромили редакцию журнала «Звезда», а потом и журнала «Знамя». Разнесли «ущербную» повесть Казакевича «Двое в степи», «порочную» повесть Мельникова «Редакция», «вредную» пьесу Гроссмана, «реакционное» творчество Достоевского, «аполитичную» поэзию Пастернака, «клеветническую» детскую сказку Корнея Чуков-

ского «Бибигон», «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, творчество Александра Грина и многое-многое другое.

С 1946 года по решению Сталина стала выходить специальная газета — орган ЦК — «Культура и жизнь» для разгрома искусства по директивным указаниям Сталина. Газету эту шепотом прозвали «Культура и смерть», а потом «Смерть культуре».

В 1947 году Сталин взвихрил новую войну (не оставляя прежней): изнурительную глобальную борьбу с низкопоклонством по всем фронтам литературы, искусства, науки — с рабским пресмыкательством перед растленной культурой Запада. В ход пошли монографии и вступительные статьи, ученые записки и историко-литературные курсы. Громили учебники, ученые статьи, разгоняли ученые кафедры с лучшими профессорами, били менделистов-морганистов, «лжеученых» всех мастей и званий во всех науках всех республик.

В 1949 году взмыла ввысь новая кампания — борьба с безродными космополитами, «беспаспортными» бродягами, антипатриотами, критиками, которые, как это только что выяснилось, замыслили смести с лица земли все ценности русской культуры. Все это к 1950 году вылилось в борьбу с сионистами, агентами никому тогда не известного «Джойнта», а потом — в дело врачей-убийц, отравителей в белых халатах, диверсантов, поджигателей войны. В разгар этой кампании террор был направлен прежде всего против евреев. Но в атмосфере террора жили все советские люди. Одних арестовали, других (не хватит бумаги, чтобы всех назвать) изгоняли из жизни иными убийственными методами. Но мы не будем углубляться в историю. Наша задача только напомнить о том времени, чтобы легче было понять и представить, что именно в эти черные и мрачные дни, на выжженной, казалось, земле, на фоне карикатур с еврейским длинным носом, воя статей с огромными заголовками «Что такое Джойнт?», «Будьте бдительны!», фельетонов и статей об евреях-убийцах, о белых халатах, скрывающих американских шпионов, — что на этом фоне печатается благородный роман Гроссмана, исполненный любви, сострадания и уважения к людям.

Из нашего времени мы можем сказать, что это было победой литературы и символом того, что она жива. Роман Гроссмана «За правое дело» вышел в свет в конце 1952 года в журнале «Новый мир».

В чем причины этого чудесного события?

Прежде всего — мужество и непоколебимость писате-

ля, создавшего этот роман и твердо стремящегося, чтобы он увидел свет.

Никто не знал, что шли последние месяцы жизни Сталина, Гроссману оставалось продержаться тридцать-сорок дней.

В январе все газеты, все страницы буквально забиты (яблоку негде упасть!): «Гениальный труд товарища Сталина!», «Экономические проблемы социализма в СССР!»...

В январе... «Врачи-убийцы, ставшие извергами рода человеческого, состоявшие наемными агентами иностранных разведок...»

«Вовси заявил на следствии, что он получил директиву об истреблении руководящих советских кадров через известного еврейского буржуазного националиста Михоэlsa...»

А в следующем январском номере передовая — «Бдительность». Под ней — огромными буквами — «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л. Ф...»

«За помощь, оказанную Правительству, в деле разоблачения врачей-убийц наградить...» «20 января 1953».

В начале февраля 1953 года передовая в «Литературной газете» называется «Принципиальность», а другая — «Быть правдивым и честным», где сказано, что «быть правдивым и честным» учит нас «товарищ Сталин». Публикуются новые материалы о «группе врачей-вредителей».

12 февраля 1953 г. — главный материал газеты: Аркадий Первенцев — «Воспитание бдительности». О том, что необходимо «воспитывать» ее у маленьких детей — на примере новой пьесы писателя Цезаря Солодаря «У лесного озера», «которая остро и интересно ставит вопрос о бдительности с юного возраста».

Так движется время... Январь, февраль...

Гроссману осталось продержаться десять — пятнадцать дней.

Но не дремали сталинские опричники, которые выросли и сформировались в эти годы на разгромах и уничтожении. Один из самых оголтелых — Бубеннов, автор «Белой березы», в эти дни обратился прямо к Сталину по поводу романа Гроссмана. Он послал ему свой огромный донос. И по указанию Сталина этот донос в форме статьи Бубеннова «О романе В. Гроссмана „За правое дело“» был напечатан в «Правде» 13 февраля 1953 г.

После этого «дело Гроссмана» стало расти, как «дело врачей». За роман снимали с работы, подлещи провоциро-

вали разговоры о нем, ловили каждое неосторожное слово, чтобы передать и растоптать. По всем газетам и журналам прокатилась волна испепеленных ненавистью статей, по всем редакциям и издательствам — серия собраний с поношениями и проработками.

Роман был назван диверсией, от него отказались почти все, кто его хвалил, печатал, рекомендовал, называл, принимал.

В зловещей пустоте Гроссман остался один.

«Дело Гроссмана» было, наверно, последним злодейством Сталина. По неписаному ритуалу все должны были каяться, бить себя и бить других. Для этой цели и собрался Президиум правления Союза писателей вместе с активом 24 марта 1953 г. Собрался для выполнения прямых указаний Сталина тогда, когда самого Сталина уже девятнадцать дней не было на нашей земле. Как в «Страшной мести» и «Вии» Гоголя... И если вести исчисление по дням (а в эти страшные месяцы — по секундам и часам!), то к этому следует только добавить, что до светлого дня освобождения врачей — 4 апреля — остается десять дней. Но никому из присутствующих здесь не было дано даже смутного предчувствия о нем.

24 марта 1953 г.

СТЕНОГРАММА

заседания Президиума Правления Союза советских писателей вместе с активом писателей *

Повестка заседания:

1. О подготовке к XIV пленуму ССП.
2. О романе В. Гроссмана «За правое дело» и о работе редакции журнала «Новый мир».

Председательствует — А. А. Сурков

Тов. СУРКОВ:

На сегодняшнее заседание Президиума ССП, совместно с активом, предлагается следующая повестка дня:

- 1) О подготовке к XIV пленуму ССП.
- 2) О романе В. Гроссмана «За правое дело» и о работе редакции журнала «Новый мир».

* На папке написано — «хранить постоянно». Я выполнила это предписание.

Будут ли какие-нибудь предложения по объявленной повестке?

(Утверждается...)

Для доклада о романе Гроссмана и работе редакции журнала «Новый мир» слово предоставляется товарищу Фадееву *.

Тов. ФАДЕЕВ:

Я буду делать не доклад, а сообщение, причем у меня будут соединены вместе три вопроса: первый вопрос — о романе Гроссмана «За правое дело», второй вопрос — о работе редакции «Новый мир» и третий вопрос — некоторые идейные выводы из работы Союза советских писателей за время, прошедшее после XIX съезда партии...

Начну с первого вопроса — об оценке романа Гроссмана «За правое дело» и о том, что этот роман в таком виде появился в печати. Большинство редакционной коллегии «Нового мира», а также большинство нашего Секретариата и Президиума сделало ошибку идейного характера. Разумеется, наибольшая ответственность за ошибку ложится на меня как на генерального секретаря Союза писателей и на Твардовского как на главного редактора журнала «Новый мир».

В чем суть этой ошибки? Как мы можем в общих чертах определить для себя тему романа Гроссмана?

Я могу в общих чертах определить ее так: советские люди в обороне Сталинграда. Потому что речь идет о первой книге, которая затрагивает пока оборону Сталинграда.

Именно этот характер темы наглядно показывает, в чем главный порок, идейный порок этого романа ** Он состоит в том, что для решения такой темы в центре романа поставлены люди, которые никак не могут выражать героизм советских людей в обороне Сталинграда. Там не показан героизм нашего рабочего класса, нашего колхозного крес-

* В это время, в момент заседания, Фадеев — генеральный секретарь и председатель Правления Союза писателей; Секретари Правления — К. М. Симонов и А. А. Сурков. Почти все участники обсуждения — люди широко известные, о них написаны книги, монографии, статьи. Поэтому я не буду приводить справочный, биографический материал о них. За редким исключением... Мне важно подчеркнуть их служебное, аппаратное положение. Потому что главная моя задача — раскрыть азбуку сталинизма, запечатленную на этих страницах.

** «Это очень большой труд. Автор посвятил ему десять лет. Неоднократно роман перерабатывался... Дважды его редактировал А. А. Фадеев. Последняя редакция романа — Фадеева» — напомним, так говорила Клавдия Сергеевна

тьянства. Там не дана наша трудовая интеллигенция, потому что поставленная в центре событий семья Шапошниковых является такой частью нашей интеллигенции, которая не характерна для большинства советской интеллигенции. Я бы сказал, что в обрисовке этой семьи автором положен принцип будничности и эта печать будничности, незначительности дела, интересов, которыми занята эта семья и все, кто с ней связан, кладет печать на весь роман.

Дело в том, что в основе этого романа лежит очень реакционная, идеалистическая, антиленинская философия, которая выражена устами одного из действующих лиц романа, профессора Чепыжина, и затем находит свое проявление в целом ряде высказываний и, главным образом, в характере показа событий и людей на страницах романа.

Сущность этой философии не нова: о том, что развитие в мире совершается по кругу, что все возвращается «на круги своя». Таким образом, объяснение фашизма в германском народе сведено к тому, что в народах существуют извечные начала жизни — начало добра и начало зла. В зависимости от обстоятельств, так же как в отдельном человеке, — говорит автор, — на поверхность всплывает либо начало добра, либо начало зла.

Сущность фашизма в том, что начало зла выплыло наружу в германском народе. Это же антимарксистская, антиленинская концепция и философия истории! Дело в том, что она не новая и для самого Гроссмана, ибо он проводил ее и в своей пьесе «Если верить пифагорейцам». Но она не новая и в литературе с точки зрения той борьбы, которую нам пришлось вести с нашими идейными противниками. В частности, хочу вам напомнить дискуссию, которая велась на страницах «Литературной газеты» с группой существовавшего ранее журнала «Литературный критик», возглавлявшегося такими горе-теоретиками, как Лифшиц, Лукач и Гриб. И эти люди утверждали, что развитие совершается по кругу. И это было философией этих теоретиков в кавычках*. В работах Лифшица говорилось также о

Иванова на редакционном совете издательства «Советский писатель» 16 января 1953 г.

Теперь, на наших глазах, начинается этот тягостный, мучительный процесс отказа Фадеева от себя самого, будто он сам перелаживает кости себе.

* Такое чувство, будто Фадееву, как и всем остальным, в этой культово-сталинской истерии кажется, что мертвый Сталин с того света следит за каждым их словом еще более тщательно, чем живой. Только при этом условии можно сделать Лифшица ответственным за Гроссмана. Напомню, что «горе-теоретики» действительно были разгромлены по прямому

извечных началах «добра» и «зла», о теории круговорота...

И эта философия извечного круговорота лежит в основе романа Гроссмана.

Товарищи! Надо понимать реакционный смысл этой философии. Ведь это значит, что все то, что мы творим для построения коммунизма, — все это нам только воображается, так как все идет по пройденному кругу, все сводится к прежним положениям. То есть речь идет о философии, очень удобной для буржуазии. А она в корне противоречит нашей марксистско-ленинской философии.

«Диалектический метод, — пишет товарищ Сталин, — считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему».

Товарищи говорили, что именно этим объясняется, что Гроссману, который исходит из понятия извечных начал жизни, ему все равно, кто стоит в центре его романа. Это — просто люди (хотя такое понятие в нашем классовом обществе не существует), это люди, которые не проникнуты пафосом борьбы, великими идеями преобразования общества, а наполнены своими будничными делами, будничным

указанию Сталина в течение тридцатых годов за излишне талантливо и индивидуально выраженную верность принципам марксизма, его философии, эстетике и теории, что не имело никакого отношения к вступающему в эти годы в литературу Гроссману. Критики эти группировались вокруг журнала «Литературный критик», который начал выходить в 1933 году и играл важную роль в литературной жизни того времени, боролся с догматизмом и вульгарным социологизмом (как отмечено во всех наших справочниках). В журнале были опубликованы главы из первого научного перевода «Эстетики» Гегеля, статьи о Канте, дискуссия о романе, статьи о Добролюбове и Белинском. Дьёрдь Лукач был венгерским коммунистом, писал статьи о Гёте и немецкой литературе, а Михаил Александрович Лифшиц был составителем сборников «Маркс и Энгельс об искусстве», «Ленин о культуре и искусстве», автором многих известных статей. В то время Лифшиц — любимец студенческой молодежи, автору этих строк в ифлийские годы довелось много раз сидеть на его лекциях, блестящих и остро полемичных. Нашим учителем был Владимир Романович Гриб, автор статей о Лессинге и Бальзаке, он умер в 1940 г., очень молодым, и студенты восприняли его смерть как трагедию.

Журнал «Литературный критик» был ликвидирован в 1940 г. специальным постановлением ЦК ВКП(б) — «О литературной критике и библиографии». И Фадеев сделал его первым звеном в «деле Гроссмана».

наполнением, — такие люди стоят в центре этого произведения.

Естественно, что главные силы преобразования общества, то есть коммунисты, которые есть в романе Гроссмана, например Новиков, Крымов, не могут представлять нашу партию, потому что они не обладают такими чертами, которые характеризуют деятелей ленинско-сталинского типа...

Это не значит, между прочим, что, вообще говоря, Гроссман не имел права в своем романе вывести такого профессора или ученого, который бы формулировал подобного рода философию. Раз уж она сформулирована Гроссманом, то значит, есть такие силы в действительности, которые заинтересованы в такой философии и могут ее выдвинуть. И поэтому не надо избегать показывать, если такие силы есть. Но, естественно, Гроссман должен был бы вступить в полемику с такого рода философией. Он должен был вывести человека, исповедующего такого рода философию, для того, чтобы опрокинуть ее во имя торжества марксистско-ленинской философии.

Естественно, что человек, который наделен обаянием Чепыжина и его патриотическим чувством, есть нарочито избранная фигура для того, чтобы оправдать эту философию, потому что с нашей точки зрения такого рода философию мог выразить человек не типа Чепыжина.

Я говорю это к тому, чтобы из критики романа Гроссмана не было возможности сделать вывод, что, вообще говоря, выведение людей, противостоящих нам, с враждебной философией, недопустимо в советской литературе. Наоборот, как известно, об этом речь шла и в докладе товарища Маленкова на XIX съезде партии, во всех дискуссиях, которые развернулись по т о м, — что мы можем и должны показывать всех людей, стоящих на нашем пути, наших противников, врагов, поскольку они есть в жизни, для того, чтобы мы могли отразить правду жизни в ее борьбе и противоречиях.

Следовательно, ошибка Гроссмана здесь состоит в том, что он вложил в уста симпатичного профессора Чепыжина реакционную идеалистическую философию, противостоящую философии марксизма-ленинизма, не противопоставив ей ничего, а подкрепив ее различными приемами, то есть таким образом дав понять читателю, что это есть философия автора.

В романе дана семья Шапошниковых. Не за то критикуют роман Гроссмана, что в советской действительности

нет людей, живущих такой будничной жизнью, такая семья могла бы существовать благодаря недостаткам нашего воспитания и противоречиям нашего развития. У нас еще есть много людей, которые добросовестно несут свою государственную и общественную службу, выполняют свои обязанности, но которые настолько не воспитаны, что их интересы вращаются либо в узком кругу семьи, либо не вырастают за пределы будней и быта, одним словом, которые несут на себе большие пережитки обывательщины.

Показ такой семьи, с показом того, что она может быть и честной семьей, как это бывает в жизни, но в то же время с характеристикой таких ее сторон, которые будут изживаться по мере нашего поступательного развития, так как все члены нашего советского общества постепенно будут превращаться в деятелей ленинско-сталинского типа, по образцу, которым является наша партия, — такой показ закономерен. Но все дело в том, что Гроссман поставил эту семью, как символ советского общества, в центр романа и таким образом исказил перспективу.

В соответствии с этой теорией — «все вращается по кругу»: и войны, и люди, участвующие в войнах, — все это окружено каким-то чувством обреченности. Можно ли сказать, что этот роман написан для общества, которое в условиях капиталистического окружения и военной угрозы готовит своих членов к тому, чтобы дать отпор агрессорам? Нет. Там много иногда неоправданных смертей, сгущена атмосфера некоторой обреченности, которая накладывает печать пессимизма на этот роман.

И это также проистекает из неверного мировоззрения, с которым роман написан. Все вращается по кругу: и войны все одинаковы, и жизни людей одинаковы. Они — трагичны, они делают попытки бороться, но в конце концов жизнь остается неизменной. В этом основа философии автора и его романа и проистекающих отсюда главных художественных недостатков, которые выражаются в принципиальной будничности большинства героев...

Это не значит, однако, что роман написан человеком, который не талантлив. Нет. Следы этого авторского таланта мы видим в ряде мест и в ряде образов, и Василий Гроссман обладает достаточным профессиональным умением. Здесь есть впечатляющие страницы, в частности, относящиеся к образу Вавилова и Березкина, к картине защиты вокзала, к ряду фронтовых картин, к изображению враждебного фашистского лагеря, — не всюду, но в некоторых местах. Изображение членов семьи Шапошниковых дано также

с профессиональным умением. Однако эта сторона дела не может от нас, деятелей советской литературы, закрыть идейную порочность этого романа и проистекающих из этой идейной порочности его коренных слабостей, коренных недостатков в художественном изображении человека. Вот почему эта ошибка может быть признана крупной идейной ошибкой, она свидетельствует о том, что мы, люди, допустившие ее, не проявили достаточной идейной требовательности и, таким образом, способствовали проникновению в печать вещи, которая является вещью идейно порочной, идеологически вредной и способной обмануть неискущенного читателя*.

Каким образом получилось, что большинство Секретариата и Президиума, редакционная коллегия, где имеются очень опытные в литературном руководстве люди, могли просмотреть такие крупные идейные пороки этого романа? Были ли какие-нибудь голоса до появления романа в печати, которые бы сигнализировали о том, что в романе содержатся коренные пороки?

Да, эти голоса были, и их было не мало. Мне хочется разрушить распространяемое людьми, чуждыми духу нашего общества, представление о том, что напечатали хороший роман, потом кому-то в редакции «Правды» он не понравился, появились по директиве статьи, в результате этого начался пересмотр этих позиций. Ничего подобного. Такая постановка вопроса не соответствует духу нашего общества, и, по существу, вокруг этого романа шла длившаяся в течение ряда лет дискуссия. Только эта дискуссия не охватывала, к нашему великому прискорбию, широкие слои нашей общенности, а велась она в узкой среде редакторов и Секретариата и велась она на Президиуме...

Я должен сказать, что когда этот роман в его первом варианте появился в редакции журнала «Новый мир», когда редакцию возглавлял Симонов, то Борис Агапов** выступил решительным образом против принятия романа, раскритиковал его за то, что в нем содержится чуждая духу нашего

* Полный отказ от самого себя, от своего живого естества, от того Фадеева, которому нравился роман Гроссмана... Отчаянно отработанная, изнурительная форма перелезания из «чужую кожу», в другую форму доказательств, отбора фактов, цитат, свидетельств. Превращение человека в манекен, в восковую фигуру было невыносимо тяжело в то время, как невыносимо оно и сейчас.

** Б. Н. Агапов — очеркист, член редколлегии «Нового мира».

общества философия. Он не сформулировал ее так, как она сформулирована с помощью людей философски образованных, но он сказал, что он считает этот роман в основном неверным по своему коренному подходу. И остался при этом своим мнением.

Когда роман пришел в новую редакционную коллегию «Нового мира», разгорелась дискуссия вокруг этого романа. Эта дискуссия была перенесена на Секретариат Союза писателей. Я в этом Секретариате не участвовал. Это было 29 апреля 1950 года. На этом Секретариате, продолжая то, что он говорил на редакционной коллегии, с активной критикой по существу ошибок выступил Бубеннов. Он сказал в числе многих других очень интересных и верных вещей: «Где рабочий класс Сталинграда, защищавший Сталинград, делавший танки? В романе нет атмосферы обороны Сталинграда, настоящих его героев, партийной организации, рабочего класса. Есть какая-то огромная семья интеллигентов. Никто не говорит — пожалуйста, пишите об интеллигенции, героями Сталинграда могла быть интеллигенция и была. Но когда в центр романа ставится только семья интеллигенции, причем какой интеллигенции? Там была Женни Генриховна, бонна даже в этой семье. В нескольких главах описано, как пекут пирог, как его подают. Роман так напитан обывательщиной, мешанством, что это не советская интеллигентная семья, а откуда-то из прошлого. Это очень сложная семья. Когда весь этот мир выплыл на страницы романа о Сталинграде, то это звучит клеветой на защитников Сталинграда» *.

* Бубеннов был в те дни как бы наследником мертвого бога на полумертвой земле и не спустился со своего Олимпа на это заседание. Все газеты были переполнены цитатами из него, им клялись, на него ссылались, на него равнялись. К этому стоит добавить, что и все последующие годы он проживет вполне благополучно — в большом почете. За всю мою жизнь до меня ни разу не долетела ни одна критическая, резкая и справедливая фраза о его «Белой березе», «Орлиной степи», «Стремнине» и других длинных и фальшивых сочинениях.

Он будет издавать однотомники, двухтомники, собрания сочинений, а в ноябре 1979 года в связи с его семидесятилетием писатель Иван Падерин напишет: «Его книги — художественная летопись истории борьбы и побед нашего народа»; «У Михаила Семеновича много друзей, почитателей его таланта, но он никогда и ничем не подчеркивает, прямо скажем, своего заметного положения в литературе... Никому не чуждо чувство самоутверждения, но не каждому дано выражать думы и чаяния своих современников с такой проникновенностью и бескорыстием, как это делает писатель Михаил Бубеннов. Свидетельство тому его яркие по краскам и глубокие по

Я должен сказать, что на том же заседании Секретариата, продолжая говорить то, что он говорил на заседании редколлегии, выступил и товарищ Катаев и сказал следующее *:

«Я прочитал примерно 1000 страниц, и мне кажется, что 300 из них надо выбросить... Редакция идет на компромисс. Если бы это был мой роман, я бы проплакал два месяца, а потом сказал: «Гори это все», и выкинул бы 300 страниц, — все эти пироги, сентиментальные сцены девушки с лейтенантом, штабные и госпитальные сцены — все это плохо».

И в заключение Катаев говорит: «Теперь его точка зрения на советского человека ясна. Он думал: «Раз человек совершает героический поступок, будем искать, где же он обыкновенный человек». А он должен был поступить наоборот, сказать: вот был обыкновенный человек, но стал лицом к лицу с врагом и в горниле этого огня становился все лучше и заблестел, как серебро».

Еще в апреле 1950 года Катаев направил центр внимания на неправильную философию романа. Он говорит, что Толстой полемизировал с Пьером, а у нас — морально-политическое единство, и мы мыслим так, как указывает партия. «А здесь — философская самодеятельность, которая обедняет роман».

Речь идет не о том, что человек, исповедующий философию марксизма-ленинизма, не должен самостоятельно думать, но не нужно заниматься «самодеятельной», чуждой духу марксизма-ленинизма философией.

И новая дискуссия разгорелась на Секретариате 6 октября 1950 года. На этой дискуссии все названные товарищи подтвердили свою точку зрения. К ним присоединился и товарищ Кожевников **. Он также говорил, что:

«...Хотя сами по себе эти люди написаны очень интересно. Эти люди написаны с точки зрения художественной очень живо. Они имеют свое своеобразие, и их ощущаешь. Но вот эти герои, эта мирная жизнь советских лю-

содержанию произведения о нашей жизни. Грани его таланта щедро искрятся радостью нетускнеющей любви ко всему прекрасному, что есть в природе и в людских душах». Он покинет этот мир, перелезав за семьдесят пять лет, на пороге нового времени.

* Валентин Катаев был тогда членом редколлегии «Нового мира».

** Эта речь в какой-то мере проливает свет и на историю публикации романа «За правое дело». Сейчас Фадеев пытается опереться на тех, кто был раньше против него.

дей, вступивших в войну, эта портретная галерея людей не то что не показана, но не показаны наши общественные силы в этих людях. Я понимаю, что руководителям империалистического лагеря противопоставлены замыслы нашего народа, но я ждал, как сильно может быть противопоставлен сам народ. Но в изображении этих героев главной общественной силы нашего народа я не увидел. И характеристики тех черт, которые после изображения сил и замыслов, обрушенных на нашу родину, я хотел увидеть в нашей стране, не подготовленной к борьбе, — представителей той части народа, которая выдержала главный удар, — этого я не увидел. В героях нет тех боевых черт, когда люди руководствуются своим сознанием, то есть тем, что мы называем чувством советского патриотизма» *.

Вы видите, что у нас были серьезные голоса, которые правильно характеризовали роман в основном. Они не могли дать ему той философской характеристики, которую я дал сейчас, основываясь на статье в журнале «Коммунист» **, но все же они ударили по верной линии.

Далее, когда роман вышел в свет, на дискуссии в секции прозы этот роман был поднят на необычайный пьедестал.

Таким образом, вы видите, что было достаточно голо-

* У Кожевникова впереди — еще долгая жизнь, большое количество неудобочитаемых книг, роковая роль в истории романа Гроссмана «Жизнь и судьба».

Депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда, Лауреат Сталинской премии, Секретарь правлений Союзов писателей СССР и РСФСР. И до конца жизни, в течение почти сорока лет — главный редактор журнала «Знамя». Не было в истории журналистики, начиная с Булгарина, такого «долголетия». Все в какой-то момент летели со своих мест. Но у Кожевникова была ясная программа, о которой он поведал мне в 1954 году, приглашая на работу.

— У каждого журнала должно быть свое направление, — сказал он тогда.

— У вас какое? — спросила я его с надеждой.

— Не сделать ошибку — такое наше направление! — прокричал он. И победил, в славе и почете прожив до октября 1984 г.

** Приведем короткую цитату, характеризующую глубину философских толкований журнала «Коммунист»: «Доморощенная философия В. Гроссмана и его главного героя Чепыжина состоит из обрывков идеалистической философии энергетизма, «подсознательного» фрейдизма, мистико-дуалистической философии извечной борьбы двух неизменных и вечных начал в мире: добра и зла, света и тьмы» (Лекторский А. Роман, искажающий образы советских людей // Коммунист, 1953, № 3).

сов общественности, которые бы могли нас, людей, ошибившихся в оценке этого романа, своевременно насторожить, заставить призадуматься и внимательно изучить вопрос. Но почему этого не произошло? Этого не произошло потому, что у нас сложилось такое положение в Союзе писателей, при котором судьба и решение многих вопросов идейного порядка, судьба произведений, формулировок тех или иных серьезных современных проблем, направление дискуссий очень часто зависят от мнения нескольких человек руководства, то есть у нас нет того принятого в любом нормально действующем организме (а в таком организме, как наш, творческий, особенно должно быть принято) принципа коллегиальности, широкого обсуждения, свободной дискуссии, творческого обмена мнениями...

Естественно, что при нормальном положении дела эта работа не шла бы таким образом, но несомненно одно: что точка зрения, которая является истинной, не могла бы не восторжествовать, так как это — закон нашего общества, на котором оно основано. И не надо поэтому вдаваться в субъективные причины, почему мог ошибиться каждый из нас...

Таковы те основные выводы, которые можно сделать из ошибок, допущенных по роману Василия Гроссмана.

По вопросам коллегиального руководства у нас есть исключительные указания товарища Сталина. Он говорит:

«Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти всегда — односторонние решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения. На основе опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 решений — односторонние».

Я хочу вам прочесть и дальнейшие высказывания товарища Сталина, ибо они показывают, насколько он распространил это на такие органы, каким является Центральный Комитет партии, указывая на принципы, которыми руководствуется и неуклонно осуществляет Центральный Комитет. Товарищ Сталин говорит:

«В нашем руководящем органе, в Центральном Комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропаган-

дисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки наций Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезные ошибки. Поскольку же каждый имеет возможность исправлять ошибки отдельных лиц и поскольку мы считаемся с этими исправлениями, наши решения получаются более или менее правильными» *.

Несомненно, что такой вывод для себя должна сделать и писательская организация в Советской стране.

Товарищи, эта ошибка с Гроссманом понудила Секретариат внимательно рассмотреть работу журнала «Новый мир»... И мы вынуждены были констатировать, что в работе редакции журнала «Новый мир» имеется целая серия ошибок.

Я хочу во второй части своего доклада немного остановиться на этих ошибках редакции «Нового мира» для того, чтобы и редакция, и мы вместе с вами могли сделать из этого надлежащий вывод.

Как известно, в журнале «Новый мир» была напечатана порочная статья Гурвича **. В напечатании этой статьи,

* Вот как демократично, оказывается, мы жили... Как Алиса в стране чудес. Эти слова Сталина взяты Фадеевым из только что вышедшего тринадцатого тома «Сочинений» Сталина. Там были и другие чудеса. Так, накануне задуманного Сталиным массового уничтожения евреев он включил в том собственные слова о том, что антисемитизм — большое зло и за антисемитизм надо расстреливать. Измученные советские люди (как русские, так и евреи) с большой надеждой ухватились за эти слова. «Ты читал?», «Ты видел?», «Ты слышал?», «Это не случайно», — говорили они. Не в эти ли дни появился в Москве анекдот, в котором спрашивали: «Какая разница между пессимистом и оптимистом?» И отвечали: «Пессимист считает, что сейчас так плохо, так плохо, что хуже быть не может. А оптимист утверждает, что дальше может быть еще хуже». На тринадцатом томе прервался выход в свет сочинений Сталина. Спор выиграли, к счастью, пессимисты.

** Статья критика А. Гурвича «Сила положительного примера», посвященная роману В. Ажаева «Далеко от Москвы», была напечатана в «Новом мире» (1951, № 9). Гурвич в 1949 г. был объявлен космополитом, и восторженная статья об Ажаеве, по замыслу Фадеева, должна была помочь ему вернуться в строй. Сталин обнаружил ее на журнальных страницах. Статья Гурвича подверглась резкой проработке в редакционной статье газеты «Правда» 28 октября 1951 г. «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике».

разумеется, огромную часть ответственности несу и я, и отчасти Сурков, вместе с редакцией журнала. Но это не снимает того, что редакция отвечает за эту ошибку.

Но редакция допускает и другие ошибки, причем самого различного идеологического свойства. Так, например (уже отмечалось это на заседании в редакции), напечатано идейно неправильное стихотворение Асеева; в редакции «Новый мир» появилась статья Огнева «Ясности!», которая давала групповую, исходящую из неправильных позиций, оценку наследства Маяковского.

Одной из крупных ошибок журнала «Новый мир» является то, что он напечатал в № 1 за 1953 год повесть Казакевича «Сердце друга» *. Дело в том, что ряд сторон этой повести перекликается с тем, что имеется в романе Гроссмана. Прежде всего бросается в глаза, что на этой повести лежит печать некоторой ущербности, обреченности. Эта повесть тоже написана глазами пессимистически глядящего на мир человека. С другой стороны, в показе людей (не в такой мере, как у Гроссмана) тоже есть эта сторона, когда героический человек обязательно несет за собой либо черты обывательщины, пошлости, либо мещанства — для того, чтобы принизить его значение...

Герои повести Казакевича даны — «как трава растет». Они в большинстве — люди цельные, но не заострена идейная сторона того дела, за которое они борются, и поэтому автор от себя нагружает их иногда не попадающими в тон характера чертами «из задних комнат», которые по своей нарочитости заставляют думать, что автор в данном случае преследует специальную цель — огрызнения, искажения нашего советского человека.

И в повести дается такая философия, такие высказывания, что служит поводом для переклички с Василием Гроссманом. Когда погибает Акимов, дается описание его переживаний. Никто не знает, что испытывает человек умирая, но художник имеет право догадываться. Но, чтобы ввести эту сцену, как делал это Лев Толстой, — это делается для того, чтобы с ее помощью показать какую-нибудь идею. А какую цель преследовал в данном случае Э. Казакевич — непонятно. Что хотел этим сказать автор — неясно. Мы читаем:

* Повесть Казакевича «Сердце друга» только что вышла из печати (в январе 1953 г.), и на нее, как нам представляется, не было еще спущено верховных указаний. Ее подверстали к роману Гроссмана в общем угаре.

«Акимов еще слышал крик Матюхина, но ему казалось, что это шум воды, бьющейся о пороги, крик ночной птицы и вообще нечто, исходящее не от человека, а от природы. Потом, когда его несли, он на мгновение пришел в себя и решил, что возле него дежурят Мартынов, Матюхин и еще кто-то уже много ночей подряд, и он захотел сказать им, что хватит, пусть они идут спать, ведь они хотят спать. Ему показалось, что он это им сказал, и они исчезли, провалились куда-то, а теперь он хочет пить и некому подать ему пить, так как он велел всем уйти от его койки. Ему чудилось, что он лежит на корабельной койке и она раскачивается все больше и больше и он ударяется каждый раз голым сердцем о что-то острое и одновременно тупое. И вот качка стала невыносимо сильной, так что боль все больше увеличивалась, так что нельзя было терпеть, потому что сердце с налета билось все о то же самое острое и тупое. И он подумал, что так нельзя, что это надо прекратить, нельзя так терзать сердце, потому что оно — не его собственное, оно принадлежит чему-то туманному, неясному, но светлому и важному. Может быть, он в этот миг думал об Аничке. Хотя он уже не мог вспомнить ни ее имени, ни ее лица, ни даже того, что она такое, но в его мозгу дрожало радостное и светящееся пятно, включавшее в себя и ее и все, что он любил в жизни, и именно этому радостному и светящемуся принадлежало его сердце, содрогавшееся от боли и борьбы.

Он затрепетал и затих».

Неизвестно, зачем это сделано? Почему человек, который сражался за родину, за Сталина, почему надо, чтобы он под конец в его бессознательном состоянии стремился к «чему-то туманному, неясному», состоящему из образа любимой женщины и т. д.?

Но это тем более усугубляется, когда приходит к Аничке известие, что враги народа выкапывают наших бойцов из могил. «Выслушав Верстовского, Аничка осталась сидеть неподвижно. Удивление, омерзение, скорбь и неверие в людей овладели ею». Почему неверие в людей? В чем тут дело? Но это имеет свое развитие. Дальше Казакевич пишет: «В эти мгновения, длившиеся, казалось ей, века, она с ужасом спрашивала у Акимова: „Зачем же ты пошел туда? За что же ты умер? Кому понес ты чистоту помыслов, свое мужество и свою любовь?“».

Мы вправе спросить у Казакевича, что он хотел сказать этой философией?

В начале главы он говорит:

«На этом можно и закончить повесть о жизни и смерти человека сороковых годов двадцатого столетия и перейти к другим повестям о людях более позднего времени, об их радостях и печалях».

Значит, нет классового общества, нет советского общества, окруженного врагами, а есть только люди двадцатого столетия? Вот эти места в повести Казакевича, эта общая тональность заставляют говорить, что повесть содержит крупные идейные ошибки.

Я не могу поставить эту повесть в один ряд с романом Гроссмана. Почему? Потому что и тема, которую взял Казакевич, уже, и люди, которых он изображает, — это люди цельные в большинстве своем. Здесь есть очень хорошие страницы, здесь показана героическая борьба людей, здесь проведена оригинальная идея, когда он показывает людей в Норвегии, да и, наконец, само произведение написано гуманным человеком. Но этого рода идейные ошибки, которые находят свое выражение в целом ряде художественных и идеологических срывов, заставляют нас сказать, что это произведение с крупными идейными ошибками. Мы не можем сказать, как о романе Гроссмана, что эта повесть Казакевича в идее своей порочна, она поддается в этом отношении исправлению, но она не должна была в таком виде появляться на страницах «Нового мира».

Редакция проявила благодушие, идейную нетребовательность, не поставив перед автором вопросов, которые мы ставим сейчас.

И ошибки «Нового мира» продолжают* . В № 3 журнала напечатана статья Гудзия и Жданова, которая представляет собой полемику с тем, что проводится сейчас в нашем государстве — упорядочением дела издания классиков...

Товарищи хотят полемизировать с предложением партии о бережном отношении к нашим классикам**.

Все это говорит о том, что в редакции «Новый мир» — неблагоприятно. Очевидно, нам следует над этим подумать и помочь делу укрепления аппарата редакции. Очевидно,

* Вечная тема — «Ошибки „Нового мира“!» Она закончит свое существование в 1970 году — со снятием Твардовского.

** Трудно даже представить себе, что речь идет о профессоре Николае Калининиче Гудзии, любимом учителе многих поколений филологов, знатоке и защитнике культуры, и о Владимире Викторовиче Жданове — литературоведе, критике и исследователе.

силы редакции таковы, что не могут справиться с ведением литературно-художественного журнала.

Товарищи! Ряд ошибок, которые допустил журнал... ошибки по отношению к роману Василия Гроссмана, — заставляли нас серьезно подумать о том, что мы должны покончить с благодушием в нашей среде, повысить нашу идейную требовательность, стать на принципиальные марксистско-ленинские позиции и с этих позиций вести наше дело. Не давать проникновения в нашу среду чуждой идеологии. Мы должны повысить бдительность и в вопросах идеологии также.

Нам нужна бдительность общегражданского порядка, так как в нашу организацию проникают люди, являющиеся прямыми врагами. Это вопрос работы с кадрами, вопрос изучения кадров. В нашей стране порой обнаруживаются такие враги, и бдительность по отношению к таким врагам, которые творят свое черное дело, проникнув в ряды нашей организации, необходима. Но мы должны проявлять бдительность и в вопросах идеологии, блюсти чистоту ленинско-сталинских позиций. Это требует от наших руководящих органов и редакций журналов повышения идейной требовательности к тем материалам, которые мы печатаем.

И естественно, что мы, руководители, члены Секретариата Союза советских писателей, делаем глубокие для себя выводы из этих ошибок наших и наших органов.

Я сейчас перехожу к третьему вопросу...

XIX съезд партии дал нам развернутую программу работы. XIX съезд партии дал нам много руководящих и замечательных указаний, которые относятся прямо и непосредственно к задачам литературы. Но было бы неправильно, если бы мы делали выводы только из этих задач, поставленных перед нами. Нет, вся работа XIX съезда имеет прямое отношение к нам.

Ведь принятый пятилетний план — это пафос строительства коммунизма в нашей стране, это и наш пафос. Он определяет и новую тематику, требует от нас и показывает, на какие стороны жизни мы должны обратить главное внимание...

Принят новый Устав нашей партии. Ведь как поставлен вопрос в нем о роли передового деятеля в нашей стране, имеющего отношение к вопросам гуманизма, к вопросам морали. Ведь эти черты деятеля ленинско-сталинского типа мы распространяем на все наше советское общество. Стало быть, это имеет прямое отношение к нашей писательской работе.

В докладе товарища Маленкова эти гигантские перспективы раскрыты полностью. Нам указаны пути, каким образом мы можем осуществлять это. Мы можем осуществлять это тем, что мы должны глядеть вперед, должны уметь изображать нашего человека таким, чтобы он служил образцом для всех людей, чтобы на этих образцах можно было учить, чтобы мы не замазывали трудности, чтобы мы показывали наших противников, врагов и то, что является гнилым, и то, что подлежит перевоспитанию, чтобы мы давали жизнь во всех ее трудностях и противоречиях, показывали жизнь во всем ее богатстве и развитии.

Товарищ Маленков разработал проблему типичности, сказав, что типичность есть основная сфера приложения партийности в реалистическом искусстве, он показал, как нужно понимать типичное *. Остро поставлен вопрос о развитии таких жанров нашей литературы, как сатира, чтобы бичевать все негодное в прошлом.

Очень многие выводы из всей работы XIX съезда наша писательская организация и все литературные силы должны сделать. Мы, конечно, их и делаем повседневно и стараемся этот опыт обобщить на пленуме. Эта программа нашей деятельности подтверждена в тяжелый для нас день смерти товарища Сталина, она подтверждена в речах руководителей нашей партии и правительства, в тех трех речах, которые мы слышали с трибуны на Красной площади, сказанных товарищами Маленковым, Берия, Молотовым **. Она подтверждена тем, что мы продолжаем эту программу построения коммунизма на основе гигантского движения нашей страны, что нами руководит испытанная в боях наша Коммунистическая партия Советского Союза...

И мы должны разобраться в том, какие методы применяют наши противники, чтобы свести с правильных путей нашу литературу. Я хочу немного остановиться на этом.

За последние годы мы разгромили ряд антиленинских, антипартийных течений, которые не имели массового распространения, но проникали в наши органы, в редакционные аппараты и так далее, причиняя серьезный вред нашему развитию и отравляя известную часть наших кадров своей вредной идеологией. Мы разгромили такие течения и груп-

* Фадеев еще не знает, что формулировка типичного в докладе Маленкова списана его референтом из статьи известного литературоведа, репрессированного «врага народа» Д. Святополк-Мирского.

** Характерно, что Фадеев «не заметил» Хрущева.

пировки. Это были «безродные космополиты», «низкопоклонники». Вы помните, как, не вполне понимая этого противника, мы поставили вопрос о нем на XII пленуме Правления Союза советских писателей? Центральный Комитет партии указал нам на это явление как на антипатриотическую критику людей, зараженных космополитизмом, показал их связи с идеологией космополитов на Западе, показал, что это является империалистической агентурой. Мы с честью провели борьбу с космополитизмом и будем проводить эту борьбу и дальше.

Но было бы наивно думать, что мы не имеем представителей этой идеологии в нашей литературной среде. И они вновь могут осуществлять свое влияние. Поэтому нам нужна бдительность, о которой я говорил.

Далее, национальным отрядам нашей литературы пришлось проводить борьбу с буржуазным национализмом и его пережитками. Эта борьба проводилась во всех наших республиках — борьба с буржуазным национализмом — украинским, белорусским, узбекским, азербайджанским, латвийским, еврейским. Как показал ряд событий, эти националисты и связанные с ними другие контрреволюционные группировки вели свою работу изнутри.

Буржуазные националисты по своему идейному облику не отличаются от космополитов, так как работают также на иностранный капитал, являются его наемниками, но действуют только под национальным флагом. Это не значит, конечно, что все проявления буржуазного национализма, с которыми мы имеем дело, что их представители обязательно являются агентами иностранного капитала, но это значит, что в области идеологии они проводят такую идеологию, которая воспитана империализмом*.

Нам пришлось выявить империалистические течения в литературе. Формалистические течения также не являются безобидными, потому что они характерны для многих враждебных нам идеологий, в частности для двух вышеназванных течений, в особенности для первого — космополитического.

* В этой речи Фадеев, наверно, непроизвольно и не отдавая себе отчета, совершил неповторимый, первый в истории нашей жизни «пробег» по всем идущим от Сталина делам, волнам, потокам и «врагам», точно отмеченным и «разгромленным» по мановению его руки. Свод дел, страницы энциклопедического словаря, пропасть и черная бездна... Не уверена, был ли бы «товарищ Сталин» доволен этим.

По самой сущности своей, по своей природе оно призвано к тому, чтобы наше социалистическое, коммунистическое содержание, нашу идеологию выхолостить с помощью формы выражения ее, то есть создать такую форму, поставить ее во главу угла, при которой идеология уже не важна. Я уже даже не говорю относительно таких вариантов формализма, которые мы считаем шукарством. Но в более широком смысле — это течение, которое ставит примат формы над содержанием с тем, чтобы выхолостить содержание, чтобы оценивать литературу с точки зрения ее абстрактной художественности минус идеология.

Было бы наивно думать, что у нас нет представителей таких взглядов. Нам пришлось нанести очень серьезный удар тому течению, которое в свое время, в статье «Правды», было охарактеризовано как новорапповское течение.

У нас есть представление, что будто бы среди разных антиленинских течений это новорапповское течение менее враждебно. Это глубокое заблуждение. Как вы помните, наибольшими выразителями этой «теории» были Белик, Шкерин и некоторые другие «теоретики» нашего литературного развития. Но дело не только в них. Дело в том, что это течение тоже продолжает действовать в литературе...

Такая позиция сопровождается заушательством по отношению к широким писательским кадрам, потому что только, мол, группа, одиночки ортодоксальных социалистических реалистов овладели художественностью и всем, все остальное подлежит осуждению как чуждое.

Я хочу напомнить статью в «Правде» «Против опошления литературной критики». В этой статье говорится:

«Однако еще до сих пор среди наших литературных критиков встречаются люди, подменяющие в своих статьях настоящую, большевистскую критику заушательской, вульгарной „критикой“, чуждой духу нашего общества и приносящей не пользу, а вред».

Дальше «Правда» разбирает отношение А. Белика к партийности литературы, как определена она Лениным. «Правда» пишет:

«Невежественный и недобросовестный критик А. Белик не задумываясь переносит ленинскую оценку буржуазной литературы на советскую литературу: „Ведь и по сей день, — пишет о н, — в сознании некоторых литераторов не искоренены еще пережитки торгашеских отношений, бюрократизма, элементы карьеризма“.

Такой вульгарный, в корне неправильный взгляд определяет недоброжелательное, заушательское отношение

А. Белика к советским литераторам» (Правда, 1950, 30 марта) *.

Сейчас, когда XIX съезд партии развил перед нами огромную позитивную программу, суть заключается в том, чтобы бороться за повышение идейно-художественного уровня нашей литературы. И здесь эти новорапповские «деятели» обязательно встают в число наших противников.

Хочу остановиться на том, как действуют различные виды наших противников в литературе и искусстве. Каким путем могут космополиты, буржуазные националисты, формалисты примоститься к этим требованиям и задачам повышения художественного уровня на основе нового идейного качества, которое поставлено XIX съездом партии?

Один из способов, который нам хорошо известен, — это как бы хорошо ни было написано произведение, найти в нем такое со стороны художественной, что не отвечало бы уровню требований, которые поставлены XIX съездом партии. И наоборот, если в произведении существуют идейные недостатки или произведение является именно порочным, как, например, роман В. Гроссмана, именно благодаря наличию пороков раздувать его художественные достоинства и поднимать на пьедестал.

Но к этому прибавляется и новый способ — противопоставления одного произведения другому. Противопоставить произведение Гроссмана другим произведениям, чтобы с его помощью их разгромить.

Хочу привести пример из нашей практики. Возьмите хотя бы то, что произошло в секции прозы. На первом обсуждении первой книги романа Гроссмана «За правое дело» такие люди, которые нашей общественностью не раз разоблачались как проводники космополитических идей, — Субоцкий, Бровман и другие, — на какой пьедестал они подняли роман Гроссмана!

«Мне кажется, что новый роман Гроссмана, — говорит Субоцкий, — будет панорамой нашей эпохи. Не только эпохи Отечественной войны, но и эпохи социалистической...»

Так выступает и Бровман. А Авдеенко говорит: «У меня не хватает эмоций, образования, может быть, уменья,

* Имя А. Белика было в то время всем известно. То был грубый проработчик журнала «Октябрь», часто печатавшийся на его страницах. Статьи его вызвали неожиданно гнев Сталина по трудно понимаемым причинам. Может быть — слишком активный, может быть — слишком близкий Сталину по духу, а может быть — принял Белика за Бялика... Но все тогда радовались, что Белику влетело. И Фадеев радовался тоже.

чтобы оценить эту книгу» (с места: это — правильно!). И далее здесь Авдеенко, вольно или невольно, сознательно или нет, но является проводником этих новорапповских тенденций, старается с помощью романа В. Гроссмана разгромить роман Константина Симонова «Товарищи по оружию».

Авдеенко говорил на заседании:

«В этой связи мне хотелось бы поставить рядом с романом Гроссмана роман Симонова (ему невыгодно, что в № 10 журнала печатаются одновременно эти два романа). Все признаки эпопеи установлены в романе Симонова, но герои Симонова модернизированы, в частности, под рамки героев Гроссмана. С другой стороны, они принижены на страницах романа, что можно легко доказать».

И дальше:

«Роман Симонова плоский, как монгольская пустыня. Таким же языком он написан».

Голос: Это просто счеты с Симоновым.

Авдеенко неверно, бессознательно космополитически воспринял роман Гроссмана, а, с другой стороны, с помощью новорапповщины вышибает роман Симонова романом Гроссмана. Он говорит: «Роман Гроссмана с первых же страниц берет меня в плен, облагораживает. Я писатель не такой уж плохой по сравнению с Гроссманом, но я хочу писать так же, как Гроссман».

Товарищи! Пересечение действий, то есть совпадение в действиях целого ряда вредных, чуждых нам идеологических построений, — это не ново.

В чем чуждость и враждебность всех построений Гурвича? Ведь на чем все построено? Здесь он смыкается с новорапповцами: нет ничего положительного, учиться не чему, — то же самое, что говорят новорапповцы. Дальше с помощью романа Ажаева «Далеко от Москвы» — хорошего романа — выпихивается все хорошее из литературы. Космополит желает того же, что и рапповец, потому что это выгодно.

Вот возьмите хороший спектакль, который идет в детском театре, — «Павлик Морозов», в другом детском театре идет «Конек-Горбунок». В оценках начинают всячески возвеличивать спектакль «Конек-Горбунок» и всячески хулить «Павлика Морозова». Для чего это делается? Конечно, «Конек-Горбунок» — хороший спектакль, но воспитательное значение «Павлика Морозова», где поставлены вопросы классовой борьбы, огромно.

Пьеса Губарева «Павлик Морозов» отличается довольно крупными недостатками художественными, но это чистая

пьеса, она дает хорошую основу, там есть чистые сильные образы, воспитательное значение этой пьесы большое.

Выпихивание при помощи «Конька-Горбунка» «Павлика Морозова» — это есть маневр противника.

Возьмите такую вещь. Идут «Новые люди» в театре имени Ленинского комсомола. Это написано по роману Чернышевского «Что делать?». Это огромного воспитательного значения спектакль, пользующийся огромным успехом, особенно у молодежи. А на малой сцене Театра Советской Армии идет «Мастерица варить кашу» — небольшая сатирическая пьеса, написанная Чернышевским, когда он находился в заключении, показывающая блеск его ума и таланта. Но это сделано режиссером, у которого были явления формалистического толка, и туда внесена сцена танцев, где балерины в лаптях танцуют балетные танцы, и постановщики нашли место, чтобы включить этот формалистический трюк.

Все бы ничего, но с помощью «Мастерицы варить кашу» хотят вытеснить «Новых людей», то есть с помощью одного Чернышевского выжить другого. Нормально это? Во всем этом следует разобраться*.

То же самое и в области оперы. В период засилья формализма была поставлена опера Хренникова «В бурю». Она отличалась тем, что она мелодична и написана по сильному, хорошо сделанному драматургическому либретто, которое написали Файко и Вирта. На этот спектакль обрушились формалисты, говоря, что это художественно не цельный спектакль. Опера была снята. А сейчас она возобновлена, и зритель валом валит на этот спектакль — сила воспитательная сохранилась, и музыка, оказывается, живет. Может быть, эта музыка и не находится на высоте тех требований, которые предъявляются сегодня партией, — конечно, она изобилует недостатками, и Хренников сегодня написал бы об этом лучше. Но во всяком случае нам надо следить за нашей прессой. Сейчас эта опера идет против желания некоторых работников искусства, стремящихся доказать, что это — опера никуда не годная. Эта тенденция хулить, все эти идейные срывы заставляют нас подумать над тем, что мы должны за этим делом проследить, разобраться в нем.

* Не хочется прерывать его речь, давать сноски, писать об авторах и статьях, которые называет Фадеев. Все понятно и так. Но в этом тяжком потоке, где «Коньком-Горбунком» хотят уничтожить «Павлика Морозова», а одним Чернышевским убить другого Чернышевского, — в этой густой концентрации отработанных приемов сталинизма сам сталинизм начинает казаться грандиозно кафкианской пародией на себя. Как будто на наших глазах происходит распад...

В чем проявление идеологии новорапповщины в наши дни? Передо мной лежит передовая «Литературной газеты» за 19 марта *. В этой передовой никак не расшифрованы позитивные задачи, которые поставлены XIX съездом партии перед нашей литературой и те задачи воспитания, которые стоят перед Союзом писателей, перед нами, как главные

* Передовая «Литературной газеты» от 19 марта 1953 г. была написана главным ее редактором Константином Симоновым. Она называлась «Священный долг писателей» и появилась за пять дней до начала заседания. Речь Фадеева на этом, последнем, витке доклада теряет отчетливость и внятность, которые, по-своему, отличали другие его части. И тому есть свои объяснения. Дело в том, что эта передовая статья посвящена была памяти Сталина и главной задачей советской литературы на все будущие времена и эпохи во всех жанрах и видах было в ней определено — запечатлеть и воспеть Сталина. И даже был как бы начертан конкретный и грандиозный план.

«Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина...»

«Над чем бы ни работал сегодня советский писатель, он должен помнить о своей главной задаче...»

«Товарищи поэты, напишите поэму „Сталин“, как Маяковский написал поэму „Ленин“...»

«...художественно показать все этапы жизни товарища Сталина...»

«Это задача эпическая. Она поставлена перед всеми жанрами литературы. Перед поэзией и прозой, перед драматургией и критикой. Решение ее надолго определяет пути роста и расцвета советской литературы».

«Решая эту огромную задачу в монументальных формах романа, поэмы и драмы, литература одновременно обязана решать ее также и наиболее массовыми, быстро и точно доходящими по адресу средствами страстной публицистики, умного очерка, ударного газетного стихотворения...»

О том, что произошло на другой день после выхода этого номера газеты, я узнала в этот же вечер от Ефима Яковлевича Дороша, работавшего в газете. Как утром был вызван в Центральный Комитет заместитель главного редактора Косолапов, как его ругали, как на него кричали. Косолапов сначала не мог понять — за что. И осталась в моей памяти одна-единственная фраза: «Нельзя же, чтобы советская литература всегда изображала только Сталина...» Здравая и такая живая фраза... Не буду писать, как подняла она наш дух в те дни, какой замаячила надеждой...

Но, по иронии судьбы, по неповторимой причудливости этого момента истории, этот гимн Сталину, эта передовая статья попала в общую сталинскую мясорубку, устроенную на этом заседании. Не зная, по какой линии ее «проводить» и с чем — с каким сталинским тезисом связать, — Фадеев называет ее «новорапповской». И он по-своему прав.

задачи, для того чтобы достичь высокого идейно-художественного уровня нашей литературы, который требует от нас наша партия. Здесь все вопросы поставлены с ног на голову. Ни одной позитивной задачи! Заострен вопрос о бдительности, но в какой форме! Говорится, что: «Крупные идеологические ошибки и извращения, имеющие место в некоторых произведениях, опубликованных в последнее время, свидетельствуют о притуплении бдительности в Союзе советских писателей, о том, что порой за «красивой» фразой, за удачно написанным эпизодом многие наши ведущие писатели и критики не умели различить идейную гниль, извращение нашей действительности, искажение облика советского человека, чуждое мировоззрение».

Если бы в такой форме это было отнесено к роману Василия Гроссмана и говорилось бы о том, что имеется в этом романе, — это было бы правильно. Но дальше говорится: «На основе отсечения от нашей литературы всего гнилого и враждебного должна расти наша советская литература».

Товарищи! Мы даже о ликвидации кулачества как класса говорим, что на основе коллективизации, а не наоборот. То есть в условиях, когда есть у нас прямые враги, называть без характеристики и расшифровки некоторые произведения, то есть распространять на какой-то круг произведений, да еще не сказать, кто эти многие писатели... Это неправильно. И уже в этой связи надо сказать о притуплении бдительности среди писателей. Спрашивается, отвечает ли это духу XIX съезда? Вот вам конкретный пример проявления новорапповщины в нашей деятельности, то есть испугать литератора. А это неправильный метод...

У нас в Союзе советских писателей очень много ошибок, но в смысле идейной борьбы есть и свои заслуги. Мы должны свои ошибки признавать. Но если у автора этой передовой создалось такое ощущение, что в Союзе советских писателей (и что значит Союз советских писателей? К кому это относится — к членам, к Секретариату или к кому?) произошло притупление бдительности, потеря линии, перспективы, то, говоря это, надо отвечать за сказанное.

Я отмечу, что в нашей работе мы должны придерживаться правдивой критики и самокритики. У нас есть хорошая позитивная программа, которую дал XIX съезд партии. Она подтверждена в речах лучших людей, она подтверждена в речах товарищей Маленкова, Берии, Молотова, в решениях Центрального Комитета партии, который нами

руководит. У нас есть все условия для того, чтобы на основе развертывания правдивой критики и самокритики осуществить цель, которая перед нами поставлена: возбудить творческий дух наших писателей, воодушевить их, сплотить во круг задач коммунистического строительства, вести их вперед под знаменем партии.

Это и показывает все то лучшее, что появляется все время у нас в литературе.

Всех этих задач мы можем достичь на основе идейно-воспитательной работы, на основе бдительности, высокой идейной требовательности, недопущения проникновения в наши ряды чуждой идеологии...

Не давать спуску буржуазным космополитам, буржуазному национализму, формалистам и новорапповцам. Твердо проводить линию нашей партии. Так мы будем работать в будущем. (Аплодисменты.)

(Перерыв.)

К. М. СИМОНОВ:

Продолжим нашу работу. Слово имеет товарищ Твардовский.

Тов. ТВАРДОВСКИЙ:

Товарищи, в центре внимания сегодняшнего Президиума находится журнал «Новый мир», большие и серьезные ошибки, допущенные редакцией журнала в ее работе.

Ошибка этих много, и подробно говорить о каждой из ошибок, перечисленных Александром Александровичем Фадеевым, я не буду. И не потому, что я хотел бы их замолчать, а просто в силу сбережения времени и чтобы не утруждать вас справками, пространными покаяниями, ибо по существу я согласен с оценкой ошибок, данных в докладе Фадеева. Кроме того, у нас были уже и другого рода собрания, где я уже неоднократно имел возможность говорить об этих ошибках.

Позволю себе занять ваше внимание только несколькими словами, относительно главной, центральной ошибки в работе редакции журнала — это в отношении напечатания романа Василия Гроссмана.

Верно то, что критика в отношении этого произведения не явилась громом с ясного неба, не явилась результатом внезапного указующего перста, а имеет свою историю.

Более трех лет назад, еще до прихода к работе той редакции, которую возглавляю я, роман уже находился в

редакции «Нового мира» и уже тогда определились какие-то взгляды и суждения по этому произведению, довольно противоречивые. Уже тогда было выступление товарища Агапова, который выступил резко критически в отношении рукописи Гроссмана, были и другие рецензии, которые предупредили редакцию, что без полной переработки и реконструкции произведения публиковать его нельзя.

И далее, когда мы за это дело принялись, то здесь определились противоположные мнения и суждения по поводу этого романа. Имела место довольно сдержанная оценка со стороны товарища Катаева и товарища Федина — они были за опубликование, но со значительной доработкой в части сокращения и исправления отдельных мест этого романа.

И даже больше того, чтобы подчеркнуть всю сложность этого вопроса, серьезность этой ошибки с напечатанием этого капитального по объему произведения, я скажу еще и о том, что даже та часть редакции, которая была решительно за опубликование по внесении необходимых исправлений, она тоже (я говорю это не для умаления нашей вины и моей в частности, а для точности и ясности) полностью не была оболежена достоинствами этого романа и имела на него критический взгляд. Но наша журнальная молодость, наша малоопытность не позволила нам в проведении своих редакционных требований быть последовательными до конца. Тут мне казалось, что большой экзамен для редактора в том, насколько он сумеет определить по рукописи то реальное бытие книги, которое наступает в мире с момента опубликования ее в печати.

Но теперь я вижу, что очень большая разница, когда читаешь рукопись и напечатанное произведение. Можно много увидеть недостатков в рукописи и все же можно полностью не угадать тот резонанс, который она повлечет за собой при ее появлении в свет. Конечно, это и есть мера редакторской доблести. Я думаю, что редактор должен увидеть и суметь дать ту оценку, которую дает широкий круг общественности. В данном случае этого не случилось. Получилось по-иному.

Желая довести это произведение до того варианта (это казалось возможным), который приемлем для опубликования, мы как будто с этого и начали, но проявили совершенно недопустимую, непростительную слабость. Когда после моего первого собеседования с автором, после предъявления ему требований в отношении философического сопровождения, в отношении гипертрофической фигуры Штрума и в от-

ношении толстовствующего резонерства, которое свойственно этому роману, — когда я это заявил, автор ответил, что забирает рукопись. Судили и рядили мы о работе и решили, что как-нибудь сговоримся. Нельзя же автора лишать того романа, в котором нам очень многое нравилось. Я и сегодня не считаю этот роман начисто абсурдным, начисто зловредным, начисто искусственным. Я считаю, что в нем есть страницы, эпизоды, характеристики, образы отдельные, часто представляющие несомненную художественную ценность. Да и было бы слишком странно, если бы этого не было, чтобы после такого длительного периода редактирования появилась вещь, совсем не отмеченная никакой печатью искусства, писательского и литературного опыта. Конечно, я продолжаю думать, что это есть в романе.

Но мы не соразмерили хороших страниц романа с наличием страниц, совершенно загромоздивших, скрывших собой эти хорошие страницы. Тут получилось согласно украинской поговорке: «Стругав, стругав и перестругав». Длительность и обстоятельное редактирование привели к тому, что мы заредактировались. Мы начали соразмерять улучшения в тексте романа с самим Гроссманом, насколько он уступил, насколько нам удалось продвинуть его на доработку, на улучшение и на какие-то изъятия.

Прямо скажу, что мне здесь принадлежит первая роль, и не только потому, что я являюсь главным редактором журнала, но и потому, что был фактическим литературным редактором этой рукописи. Имея в виду, что рукопись — сложная, я решил, что сам буду с ней справляться. И поэтому всю тяжесть ответственности перед читателем и нашей литературной общественностью несу я, она лежит на мне, и уклоняться от нее я не хочу.

Но представьте себе такое положение: мог бы Секретариат «повелеть» нам опубликовать эту рукопись? В практике таких вещей у нас не бывает, и заставить редактора никто не может, ибо он отвечает за свое окончательное решение перед теми органами, которые назначают его на эту работу.

В ходе работы с произведением Василия Гроссмана я допустил этот промах. Я видел и с неприятием отмечал псевдофилософичность этого произведения и его героев, но я не рассмотрел, что эта доморощенная философичность проникает и в ткань художественно-изобразительную. И я считал, что, поскольку мы исправили и убрали большое количество всего, мы считали, что оставшееся малое количество не ослабит веса этого произведения.

Это и было ошибкой, ибо, когда роман вышел и начал находить отклики в литературной среде, стали появляться довольно тревожные настроения и оценки, сближающиеся с той критикой, которая впоследствии развернулась в статьях «Правды», «Коммуниста», «Литературной газеты». В процессе встреч, во всех этих разговорах и беседах уже почувствовалось это впечатление. По первым опубликованным главам романа уже были такие суждения. Мы всего ожидали, но самой убийственной была такая оценка: «Братцы мои, это же просто скучно...» Люди были не в состоянии переваривать уже эту «философию», вычитанную из настольного календаря и с докторальностью подносимую со страниц нашего журнала.

Далее, когда роман полностью был опубликован, мы получили и известный (времени прошло еще немного, и нельзя сказать, что это было массовое явление), так сказать, читательский отклик. Ну, а затем получили общественное обсуждение, такое, как обсуждение 2 февраля в журнале «Новый мир», устроенное редакцией с приглашением военных людей, литераторов. Оно уже показало, что в нашей литературной общественности складывается определенное критическое мнение, с которым мы не могли не считаться. Мы с ним считались и должны были прийти к осознанию допущенной нами большой ошибки.

Думается, что один из самых серьезных уроков, выводов для себя как редактор и вообще как человек, живущий в литературе, живущий ее интересами, ее вопросами, я сделал следующий: что очень часто мы не можем оценивать признаки произведения как бы собственно литературные, не беря их в связи с идейной основой этого произведения, ибо, как уже сказал сейчас, совершенно ясно, что уток соответствует этой основе. Он по ней.

Когда я увидел черты того, что можно назвать эпигонством, черты того усиленно поднятого равнения на «Войну и мир», конечно, с одной стороны, они претили мне тем, что выражали собой определенную претенциозность, непомерную, несоразмерную с силами роста, но я оценивал их как явление невинное, как дань какой-то поре ученичества, когда писатель, находящийся под огромным влиянием великого художника страны, не в силах освободиться от каких-то черт стиля самого великого художника. Их было много. По совету редакции они были убраны, но это не спасает. Автор строит свое повествование в соответствии с великим русским эпосом XIX столетия. И при дальнейшем обдумывании всего этого я пришел к убеждению, что это не являет-

ся простой данью ученичеству, а признаком его идейной позиции. Это все находится в полном согласии с теми чертами философии, которая восходит в годы войны к каким-то ответшалам и глубоко чуждым нашему духу, глубоко чуждым ленинизму теориям и идеям о неизменности человеческого мира, о неизменности и повторяемости человеческой жизни, как будто один цикл, наложенный на другой, и составляет процесс мировой истории.

Василий Гроссман не дал себе труда задуматься над этими ошибками. А ведь это те же самые ошибки, которые четко отмечались в статье Ермилова по поводу пьесы «Если верить пифагорейцам». Василий Гроссман и не подумал откликнуться перед общественностью, ни в какой форме, по поводу совершенных им ошибок, в то время как в этом его романе выступили со всей очевидностью черты той же философии.

Как это сочетается с эпигонством? Автор желает отождествлять нашу действительность с действительностью уже бывшей. Это согласно с его концепцией: «Все на свете повторяется», так есть и так будет. Была Отечественная война 1812 года, была и теперь. Были тогда офицеры и рядовые, есть они и теперь; было тогда народное сопротивление, есть и сейчас. И хотя я не могу отказать Гроссману в общепатриотическом настроении, но, с другой стороны, чувствуется, что человеку как бы не хочется видеть те изменения и исторические перемены, которые произошли в нашей стране, и как это отразилось на психологическом строе наших людей. Ничего не меняется: были люди «хорошие», и люди «плохие», и сейчас это есть, и так и будет во веки веков...

Почему он в центр ставит семью, семейную хронику? Ему важно, чтобы роман имел семейную основу, чтобы были Ростовы и Волконские. У них, правда, другая фамилия, изменен быт, они разговаривают по телефону, но все равно все сводится к нерушимой ячейке общества, к семье. И семья Шапошниковых представляется автору такой ячейкой общества. И судьбы семей как бы отождествляются, он прослеживает это последовательно, до эпилога.

И в э т о м , — а сейчас это совершенно очевидно в и ж у , — отдана дань его внутренней глубокой душевной концепции, которая покоится на философии неизменности мира, повторяемости его материала. Приезжал Николай Ростов с фронта с товарищем, это было накануне грозных испытаний и событий; вспомните уход Пети и сравните это с тем, что происходит с младшим Шапошниковым. Но все это, конеч-

но, дается отличительно, в смысле бытовых подробностей, дается в соответствии с натурой. Вспомните этот, уж очень архитолстовский прием, когда в сновидение врывается кусок живой действительности. Возьмите это пьеровское «сопргать», проснулся, а там собираются запргать. Это у Гроссмана — как излюбленный прием.

Привожу я это для того, чтобы показать, как все это находится в согласии с самыми задушевными симпатиями и стремлениями автора. Это стало в полной мере ясно потом, при помощи критики, суровой критики, которую мы получили. Но, надо сказать по совести, совершенно прямо — критики справедливой.

Приходится пожалеть о том, что редакция оказалась не на высоте в решении такого серьезного вопроса своей жизни. Сейчас, конечно, легче судить и рядить о том, как бы можно было поступить, предъявить более высокие требования и настоятельно все провести, как можно было бы дожидаться окончания романа... Об этом приходится говорить постфактум. Но вывод сделать надо.

Что касается меня, то за последнее время в смысле работы моей в журнале она составила и предмет размышления и беседы моей с товарищами. Я считаю, что эта моя ошибка не чисто эпизодического характера, проскочившая случайно в отсутствие редактора. Это ошибка другого свойства, она и во времени и пространстве заполняется очень широко. И в этом смысле, может быть, за нее дорого заплачено, но необходимую школу здесь редактору, да и его товарищам по редакции, пришлось пройти.

Не могу не остановиться кратко на другом произведении, вызвавшем критическое суждение в печати и на наших встречах и обсуждении, на повести Казакевича «Сердце друга». Я почти со всем согласен с тем, что сказал Александр Александрович. Я считаю, что, конечно, до крайности не к месту, даже художественно бестактно был внесен абзац с посещением учительниц на станции, где стоял эшелон. И это повредило даже той задаче художника, которую он ставил, потому что повесть была задумана с тем, чтобы осветить хорошую, чистую и высокую любовь, озаряющую подвиги людей войны. Эта сцена странным диссонансом врывается во все повествование, на мой взгляд, исполненное строгости и даже одухотворенности собственно предмета любви.

Я считал ранее, что только вторая часть, как не основанная на непосредственно наблюденном материале, страдает заметными недостатками по сравнению с первой ча-

стью, написанной более густо. Но я должен признаться, что мной не рассмотрено было, что за этим, на первый взгляд только художественно сниженным уровнем по отношению к первой части, стоит и то, о чем говорил Фадеев.

За этим стоит то, что мотив страданий, мотив неизбежности рокового конца — эти мотивы проявляются в данной части повести. Они несомненно существуют. Как сказал один товарищ, Казакевич как бы любовно и тщательно готовит своего героя на убой. У него заранее было это задано: смотрите — вот умный, красивый, храбрый, молодой, а я его поведу к этому корыту, как жертву! Я допускаю, что и главный герой может погибнуть, но я хотел бы увидеть, что немолчаливая логика повествования привела к этому. А здесь получается таким образом, что мы заранее уведомлены о том, что он будет убит.

Или возьмите, как дает Василий Гроссман оборону вокзала. Это очень волнующие, запечатляющиеся в памяти страницы, но у вас — ощущение обреченности. Мы старались помочь это убрать, но все равно это ощущение безысходности судеб этой группы защитников, их отрешенность от внешнего мира, их локальность, — как будто война решалась именно здесь, — это осталось, хотя. Гроссману и сказали военные историки об этом еще до печатной критики: конечно, вы могли ваших героев довести до гибели, растрогать наши сердца, показать весь героизм их героического конца, но вы упустили из виду, что в то время, когда погиб вокзал и группа, защищавшая его, — в это время был тыл, была грозная сила, которая вступала в действие (в частности, могучая авиация, заволжская сверхмощная артиллерия и т. д.). И если бы автор дал ощущение, что на свете есть силы, идущие на выручку этим людям, ощущение было бы иное. Эта тенденция вскрыть и показать могущество наших сил во время войны — это дало бы иной эффект.

Я заканчиваю, товарищи! Как бы ни была незавидна роль редактора, приносящего свое покаяние в совершенных ошибках, но если эти ошибки осознаны искренне, глубоко, без тенденции увильнуть от ответственности, я думаю, что такое признание ошибок не является зазорным. Повторяю, что мы совершили много ошибок, ошибок идейного порядка, и мы из этого сделаем все необходимые выводы. А оценить это дело и сделать свои выводы — это уже задача Президиума*.

* Никогда больше не будет Твардовский отказываться от напечатанных им произведений. Мне трудно комментировать его речь, да она и не нуждается в комментариях. Скажу толь-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет товарищ Самед Вургун.
Тов. САМЕД ВУРГУН:

Товарищи! Очень серьезная и принципиальная критика романа Гроссмана вызвала большой интерес среди наших писателей национальных республик, особенно в Азербайджане. Это и понятно, потому что чистота идейности нашей литературы всегда была вопросом центральным, остается и будет оставаться самым центральным вопросом.

Об идейно-художественной порочности этого романа товарищ Фадеев в своем докладе очень обстоятельно сказал, обстоятельно сказали и другие товарищи. Я хочу сказать, что появление этого романа в нашей печати не является случайным, что подобные явления имели место и в ряде литератур наших республик. Я далеко не хочу идти и для этого хочу привести один пример из своей творческой биографии.

В 1945 году, в конце войны, я написал драму в стихах об Отечественной войне, называется она «Человек». Это была пьеса об Отечественной войне, герой пьесы философ. Вот на эту тему я и хочу говорить, потому что прошло довольно много времени с тех пор, почти восемь лет. Надо отдать справедливость, что моя пьеса была сильно раскритикована партийными деятелями республики и нашим Центральным Комитетом партии и на месте.

В чем философская основная концепция этой пьесы была, я, после всего этого разбора и критики романа Гроссмана, еще более глубоко как писатель начинаю осознавать. Я осознаю, что это был самый большой пробел в моем творчестве, который имел место *. Я тоже исходил из этой сугубо идеалистической философии. Тут нечего скрывать, тут своя писательская семья, и мы должны говорить о наших внутренних субъективных чувствах. Я тоже начал «философствовать», что все повторяется, как было при Заратустре, когда борьба между богом добра и богом зла, но в иной фор-

ко, что печать жестокосердного времени, которая легла с той поры на отношения Гроссмана и Твардовского, останется навсегда.

* Разгромить самого себя... Самед Вургун в решении этой задачи доходит до полного экстаза. Не всегда можно даже догадаться по его речи, что так темпераментно он поносит самого себя.

К этому времени он — азербайджанский советский писатель, член КПСС с 1940 г., народный поэт Азербайджанской ССР, лауреат Сталинской премии за 1941 и за 1942 гг., академик Академии наук Азербайджанской ССР, депутат Верховного Совета СССР. Выпустил сборники стихов, драмы в стихах и поэмы: «Вагиф», «Фархад и Ширин», «Человек», «Мугон»...

ме, и в наше время происходит. И устами своего философа я опирался на философию Заратустры...

Актер, который исполнял роль этого «философа» (и это больше всего тронуло меня), сказал: «Товарищ Самед Вургун, что же получается, — гремят пушки, летят самолеты, вокруг меня трупы моих соотечественников, бойцов, я также ранен, но вместо того, чтобы кричать: „Вперед, за кровь друзей, за полный разгром фашизма“, я встаю и говорю глубокомысленно: „Когда же победит разум?“» (Смех.) И я вскоре осознал, как все это было глупо. Этот актер сразу почувствовал, что это — не образ советского человека.

Правда, у меня также герой умирает красиво. И он фашистам не сдается, но мне не удалось художественно воспроизвести, за какие высокие идеалы наши люди шли на смерть. Это мне также не удалось. Идеалистическая концепция была у меня настолько сильна, что чем кончаются у меня судьбы героев, в частности героини? Она долго живет после смерти мужа, но я лишил ее второй жизни и любви... Она создала симфонию во славу своего мужа, и, когда кончается эту симфонию, она умирает, так как чувствует, что достигла цели своей жизни, ее предела.

Я осознал впоследствии, что это все — идеалистический подход к человеку. Человек должен жить полнокровной жизнью, а не считать ее завершенной после создания какого-то произведения. Он должен продолжать жить.

Почему я привел этот пример? Мне кажется, что наши писатели, все мы должны проверять свое творческое отношение к этому делу с больших позиций нашей сегодняшней критики. Мы в последнее время начали исправлять свои ошибки, перестраиваться. Этому помогла также учеба у наших классиков. У Низами, например, есть прекрасные традиции, хотя у него и есть некоторые наивности: один герой у него назван «добром», а другой «злом», и они идут рядом. Вначале хитрость побеждает зло...

Значит, я сделал еще другой вывод, что в вопросе учебы у наших древних классиков мы должны совершить перелом в том смысле, что надо брать у них самое близкое, чтобы помочь в деле создания нашей социалистической литературы. Это я связываю со вторым пунктом моего выступления.

Но я хочу немножко полемизировать с товарищем Твардовским по одной нотке в его выступлении. Я это должен сказать потому, что он наш большой поэт, мы его любим сильно, и я не хочу, чтобы он в своей будущей работе допустил такую большую ошибку, как в напечатании этого

романа. Мне не понравилась та нотка в выступлении товарища Твардовского, что в романе, как он говорит, есть страницы хорошие и были страницы плохие, что в конечном счете эти плохие страницы заслонили эти хорошие страницы. Конечно, мы как литераторы должны говорить о хороших страницах, но в тех случаях, когда у нас нет принципиальной борьбы, борьбы идейного характера. Товарищ Твардовский! По-моему, там идет борьба не хороших страниц с плохими, а борьба мировоззрений. Вот есть марксистское понимание действительности, марксистско-ленинская философия и обветшалая идеалистическая буржуазная философия. Тут разногласия принципиальные...

В этой связи я хочу сказать о том, что у нас в союзной прессе появляются произведения о русской жизни, а наш Президиум не обобщает еще жизнь наших национальных литератур. Вот у нас в Азербайджане был один такой случай со мной, но, очевидно, в других республиках были тоже такие случаи.

Как член Президиума я хочу сказать, что мне кажется, что наш Президиум пока не стал по-настоящему творческим руководящим центром всеми литературами наших народов. И это во многом нам вредит. Например, на одном заседании нашего Президиума между мной и представителем Туркмении разгорелась драка по поводу эпоса «Деде-Коркуд». Я хотел доказать, что этот эпос принадлежит Азербайджану, а он говорит, что Туркменистану. И что получилось? Сейчас, не дай бог, и он от него отмахивается, и я. (Смех.)

У нас были даже такие явления, что мы говорили «давайте созовем совещание всесоюзного порядка, чтобы выяснить, какой эпос какому народу принадлежит». И это вместо того, чтобы начать с главного, чтобы разоблачать этот эпос как буржуазно-националистический*.

Александр Александрович Фадеев сказал, что мы должны изменить стиль работы. Это касается и национальных литератур. Я, например, не помню случая, чтобы на одном двухдневном заседании Президиума обсуждались бы большие вопросы или проблемные вопросы национальных литератур. А у нас такие вопросы имеются...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет товарищ Николаева.

* Полное название эпоса — «Китаби Деде-Коркуд». В «Литературной энциклопедии» в статье «Азербайджанская литература» он назван выдающимся памятником древней письменной литературы и культуры — «не только азербайджанцев, но и туркмен и турок».

Тов. НИКОЛАЕВА:

Я не член редколлегии журнала «Новый мир», я говорю о романе Гроссмана потому, что разделяю его ошибки. Я была большой сторонницей романа. Даже после того, как была напечатана статья в «Правде», после того, как я прочла статью в «Коммунисте», — даже после этого я наполовину стояла на той же позиции, на которой стояла вначале. Мне не так легко было понять ошибки. Сейчас я совершенно ясно вижу свои ошибки. Мало того, я удивляюсь самой себе, как я могла их допустить. За это время я четыре раза перечитала роман Гроссмана и не могу понять саму себя*.

Почему мне лично (да и не только для меня лично) важно сейчас пересмотреть эти идейные ошибки, допущенные по поводу такого большого романа? Мне кажется, что это важно для меня и всех нас потому, что мы переживаем сейчас время большой потери, в которой и труд, и бдительность, и сплоченность должны вдвойне усилиться. Поэтому вопрос об ошибках, о романе Гроссмана должен ставиться вдвойне остро.

Идейные ошибки Гроссмана, философские ошибки и неразрывно связанные с ними ошибки художественные, ошибки типизации совершенно для меня сейчас очевидны. Я не буду повторяться, потому что здесь очень подробно сказали об этом Александр Александрович и товарищ Твардовский. Я хочу только указать на одно обстоятельство. Сейчас я работаю над одной статьей и по ходу работы стала знакомиться с современной западной реакционной литературой, насколько это мне было нужно. И я вдруг увидела сходство, совершенно неуловимое, на мой взгляд, сходство романа Гроссмана с этой литературой. В чем сходство? Чем больше я знакомилась, тем более становились мне ясными эта пассивность героя, центры добра и зла, маленькие семейные отношения и так далее. Даже в аромате самого произведения я увидела это сходство.

Александр Александрович очень осторожно сказал о следах таланта в романе, и товарищ Твардовский сказал, что роман талантлив. Я не боюсь сказать, что роман очень талантлив. Но не талант, в конце концов, решает ценность произведения, его нужность, особенно в настоящее время.

Причем надо сказать, что талантливость и художественность произведения — не совсем одинаковые вещи. Мы

* Галина Николаева в те годы — автор романа «Жатва». Она принадлежала к числу горячих поклонников романа Гроссмана и говорила об этом часто, открыто и прямо.

можем видеть талантливые произведения западных писателей, но если такие писатели скатываются на реакционные позиции, они теряют художественность своих произведений, несмотря на отдельные хорошие страницы, которые у них имеются.

И на романе Василия Гроссмана можно показатель-но проследить, что никакой талант не спасет произведение при его идейных ошибках. Это наиболее показательный пример.

Корень всех этих ошибок частично в том, что мы недостаточно творчески осваиваем марксизм. В чем корень моих ошибок? Это прежде всего увлеченность формой, нетворческое отношение к марксизму. Я к оценке этого романа подходила не с позиций партийности.

И есть еще один важный момент в этих ошибках. У меня не было ощущения, что литература — это наше общее дело. Я подходила к этому даже с некоторым озорством, считая, что я — делаю хорошо, а «они» — как хотят! Я приехала из провинции, у меня не было еще достаточно опыта, и у меня было это ощущение: «я» и «они». Я как бы смотрела на литературу со стороны.

Я почему говорю об этих своих ошибках? Потому что это не только мне свойственно: я делаю свое дело, а все, что относится к литературе в целом, — не мое дело. Это безответственное, бесхозяйственное отношение к общему делу литературы. И неожиданно для себя и поняла вот что. То, о чем говорил Александр Александрович Фадеев, — совершенно правильно. И когда я стала перечитывать роман, я поняла, как много здесь неправильного. У меня было вкусовое, групповое, непартийное отношение к этому, может быть, то самое, о котором говорил Александр Александрович Фадеев, чтобы с помощью одного произведения разгромить другое. У нас был такой разговор в группе писателей, и когда меня спрашивали: кому ты завидуешь (в смысле хорошей писательской зависти) — Симонову или Гроссману, — я была неправа. Сейчас я поняла и увидела, что у Симонова дан дух настоящих, мужественных, оптимистических людей, и, когда я восхищалась Гроссманом, до меня не доходило, что прежде всего должно быть это в произведении писателя. А когда я это поняла, я говорила, что завидую Симонову, а не Гроссману, когда меня об этом спрашивали. Я говорю, вот то, что я хотела бы вложить в свой новый роман, — это мужество, оптимизм, это бесстрашный советский дух, который мне дорог в романе Симонова.

Дальше, когда я думаю о линии поведения, то мне

очень нравится линия поведения Бубеннова, то есть одна и та же линия действий, которую он доводил до конца. Мне кажется, это то, что нужно, это партийное поведение, которому мы должны все следовать.

Какой выход из ошибок я вижу? Есть такая точка зрения, что Союз советских писателей всегда будет иметь ошибки, потому что это слишком сложное дело. Я с этим не согласна. Будет такое время, когда не будет ошибок. Почему я так думаю? В русском человеке, в советском человеке есть какой-то огромный резерв внутренних сил. Вы знаете, что иногда вдруг простой человек выкладывает такое на-гора, что от него, казалось, трудно было ожидать. Нам сейчас очень трудно, у нас тяжелая рана, которая будет долго болеть, и сейчас пришел тот момент, чтобы выдавать на-гора все лучшее, что есть у нас. Мы это выложим, и, мне кажется, ошибок больше не будет, если, конечно, у нас будет такая линия, какую вел товарищ Бубеннов, то есть не на словах, а на деле надо доказывать, что ты прав.

Вот в этом гарантия, что ошибок не будет.

Для меня сейчас настало время переосмысливания и своих позиций и своих взглядов. Надо сказать, что я делаю это не на словах, а на деле. За это время перечла страшно много, прочла четыре раза роман Гроссмана, перечла многих наших писателей, сейчас по много часов сижу за работами классиков марксизма, осваиваю их творчество. Пишу новую статью, в новой для меня области. Я могу ошибаться, редакция мне помогает.

Мне кажется, когда мы по-творчески будем подходить к марксизму-ленинизму, к принципиальности, когда больше сплотимся вместе, когда вся эта мышиная возня, которая существует сейчас, будет отмечена, когда мы по-хозяйски будем смотреть на все хорошее, что мы сможем сделать, — вот тогда придет тот день, когда мы не будем иметь ошибок, вот в этом будет наша гарантия.

Тов. ЕРМИЛОВ:

Я хочу остановиться на одной стороне. Из числа тех выводов, которые мы должны сделать, и редакция журнала «Новый мир», и каждый из нас, мне хочется затронуть, поднять одну сторону. Товарищ Сталин учил, что в каждом произведении нужно видеть пафос этого произведения, главное в нем, нужно видеть, для чего оно написано, а потом подходить к другим его сторонам. А вот редакция журнала «Новый мир» не подошла к роману Гроссмана и повести Казакевича с этой точки зрения. О повести Казаке-

вича я хочу сказать несколько более подробно, так как о романе Гроссмана уже говорили.

О романе Гроссмана хочется сказать еще одно, что в умении увидеть пафос произведения очень часто помогает умение понять его композицию, его сюжет — чем движется данное произведение. В романе В. Гроссмана характерно то, что человек подверстывается под события. Нужны ему героические усилия тыла — появляется шахтер, нужно показать такой-то эпизод — и появляется нужный человек, иллюстрирующий событие. Это, надо сказать, довольно-таки редкое явление, когда человек берется как иллюстрация к событиям. А сквозные персонажи, которые проходят через весь роман, — это все люди ничтожные. И в результате здесь нет ни одного сильного характера, который прошел бы через все тяжести и трудности войны. И в результате получается, что остается одна тяжесть и мрак, а потому в целом произведение играет роль не мобилизующую, а демобилизующую.

Или если взять повесть Казакевича. Меня, который очень любит, как и все мы, «Звезду» Казакевича, поразило в последнем его произведении то, что А. М. Горький называл эмоциональной неграмотностью, моральным толстокожием. И это повторяется во многих местах и ситуациях. Этот приход к двум женщинам-учительницам, которые встречаются с незнакомыми им офицерами, — вся эта ситуация так и построена, чтобы появились два ученика, ухода которых утомленная женщина с нетерпением ждет, а эти дети смотрят на нее как на самого важного человека в их жизни. Вся эта ситуация и рассчитана на то, чтобы рассказать о «стыдненьком» и «грязненьком» и построена на андреевско-платоновских ситуациях, на Достоевщине.

Или взять образ профессора, который является замечательным советским человеком. Оказывается, что этот профессор, узнав, что его дочь беременна, очень легко ее бросает, поверив в ее распутность и в то, что на фронт она пошла для удовлетворения своих низменных потребностей. А ведь он знает свою дочь!

Все это можно назвать эмоциональной неграмотностью, душевной грубостью.

А когда вы смотрите на композицию этой повести, вы видите, что эта вещь отличается и внутренними противоречиями. Ее темой кажется борьба за освобождение Норвегии. Но что движет всю эту вещь, ее существо? Движет история любви. Чернышевский говорил, что, если вы пишете о любви, имейте мужество писать именно о любви. И здесь

фактическим двигателем событий является история любви. Каково построение всей вещи? Мы это видим по главам: «Моряк в пехоте» (это — он), «Аничка Белозерова» (это — она), «Разведка боем» (речь идет о разведке любви, в результате которой выясняется, что люди могут любить друг друга). Затем разлука, и для этого берется флот. Если проанализировать эту вещь, вы увидите, что она движется историей этой любви, а война подверстывается под эту любовь.

Таким образом, оказывается, что война подтасовывается под любовь. И когда вы раздумываете, зачем же эта история любви взята в центре, вы видите, что автор, эмоционально максимально обострив ваше восприятие гибели того человека, который представлен обаятельным героем, прекрасным человеком, показывает затем его смерть именно как то, к чему автор стремился, что ставил своей целью.

У нас есть много произведений о войне, в которых гибнут замечательные люди: так происходит в романе «Война и мир», в «Тарасе Бульбе». Гибнут замечательные люди, близкие нам, в «Молодой гвардии» Фадеева, гибнут у Твардовского люди в «Переправе», гибнут люди у Шолохова. Но смерть этих людей не поставлена в сюжете как апогей, как то, к чему художник стремится, подменяя всю историю войны гибелью человека, стремясь донести до читателя гибель человека, показать, что человек, который мог бы любить, у которого будет ребенок, — гибнет. И получается у Казакевича, что повесть эта — повесть о том, как война губит любовь, губит детство, губит семью. Вот почему она производит такое тяжелое пессимистическое впечатление. Здесь пафос не в том, как люди дрались, а как люди умирали. И пафос в романе Гроссмана не в том, как люди могут драться, а в том, как умеют умирать. И мы можем, мы имеем право сказать, что при всей специфичности этих явлений у них есть общее.

И если говорить точнее и называть вещи своими именами, то после того, как мы продумаем эту скрупулезную работу и покажем, что только это составляет ее движущую цель, что война подверстывается под это, что цель — показать, как гибнет хороший человек, вот тогда мы скажем, что война губит все светлое, и тогда мы увидим, что мы читали много таких книг. Мы читали (я не хочу проводить аналогии) о том, как война губит жизнь и счастье человеческое, об этом написано много книг, которые мы называем с полным основанием пацифистскими и которые не служат мобилизации. Вот то сходство, которое существует между повестью Казакевича и романом Гроссмана при всех разли-

циях между ними. И мне хотелось подчеркнуть не необходимость прежде всего видеть хорошие и плохие страницы, а прорваться через образ человека к сущности, увидеть главное и с этой точки зрения оценивать все произведения.

Вот из той практики критической, которая нам всем предстает, это самый главный, мне кажется, вывод.

Тов. ЛЬВОВА *:

Товарищи! Вопрос с напечатанием романа Гроссмана меня взволновал необычайно. Все мы пережили тяжелые дни смерти товарища Сталина. Это было горе чрезвычайное, такое, которое за все время существования человечества никогда не переживалось, потому что это горе было для каждого личным горем, ударяющим прямо в сердце, и было всечеловеческим, оно было горем всего человечества. Я знаю, что многие люди это чрезвычайно, невероятно тяжело пережили и не могут овладеть собой. Так же как и вы все, переживала это горе и я.

Я была больна в это время и не могла выйти на улицу и слиться с народом. Я начала искать способ, как с этим справиться, потому что плакать (да, я много плакала) — этого мало. Я плакала, но внутри стало созревать такое чувство, которое говорило мне, что надо найти для себя дело, которое связано со Сталиным, чтобы чувствовать, пока он еще не погребен, что это его дело. Я стала читать роман Гроссмана, и это мне очень помогло **. Может быть, под влиянием того состояния, в котором я находилась тогда, я восприняла особенно остро этот роман и, может быть, особенно правильно. Меня поразило то, что в основу романа взят самый священный, самый важный момент войны, поворотный момент для русского народа и всего Советского Союза. И меня поразила больше всего тема показа народа на войне. Что касается семьи Шапошниковых-Ростовых, то это

* Ксения Львова писала произведения, которые никто и никогда не читал. И вдруг ее неудобочитаемую повесть «На лесной полосе» заметил Сталин, выхватил из потока и вознес до небес. Всюду появились восторженные статьи о ней, а в 1949 году Сталин вставил ее в списки и наградил Сталинской премией.

В 1955 году она выпустила роман «Елена», который критика того времени назовет поэтизацией пошлости и образцом дурного вкуса.

** Удивительно это чтение романа Гроссмана над открытым гробом Сталина, которое звучит в разных выступлениях. «Пока не погребен...» Есть чем гордиться Василию Семеновичу Гроссману...

настолько жалкий тип эпигонства, что эта тема прошла мимо меня. Я, главным образом, следила за темой показа народа на войне. Я сама разговаривала с собой, сама продумывала все. И я видела, что совершенно на страницах советской печати недопустимое и громадное преступление перед русским народом, перед всеми народами Советского Союза, которые сражались на войне.

Если вы возьмете этот роман и просто перепечатаете все страницы, где говорится о наших бойцах, где они даны в действии, где даны их интересы и попытки показать их духовный мир, вы увидите, что это — страшная клевета на наш народ, что это прямо преступление и таких преступлений не бывало еще в нашей литературе.

Здесь дело не в том, что писал Симонов в «Литературной газете», — пусть центром будет эта семья, это ничего не значит, дело не в этом, так как если вы изымете эту семью, а оставите войну, вы увидите, что это не играет роли, а играет роль концепция художника, участие нашего народа в войне. И невольно возникает вопрос: разве те моральные уроды, которые показаны в виде наших бойцов, — разве они могли бы одержать величайшую в мире победу? Нет.

Вот вас всех восхищает сцена обороны вокзала. Николаева говорит, что она несколько раз перечитала этот роман, — а что вы там увидели? Ведь в конце этой сцены показано, что все полегли, а кто победил? Ответьте мне на этот загадочный вопрос.

И здесь я хотела бы сказать об угле зрения художника. Здесь много говорилось о Льве Толстом, и в выступлении Твардовского было просто опорочено имя великого русского писателя-патриота Льва Толстого. Ведь никакого сравнения нет, как показал народ на войне и как показал француз Лев Толстой и как показал народ на войне и немцев — Гроссман. Те страницы, которые написаны Гроссманом о немцах, меня просто захватили. Я почувствовала тонкий духовный мир у каждого из них, увидела, как они сознательно ко всему относятся и какая великая фигура Гитлер. Вероятно, в мировой литературе у нас не появилось еще такого многогранного образа Гитлера, который заставляет понять все детали, — почему он держал в такой магии свой народ.

Фигура Гитлера сделана величественно, великолепно*.

* Чтение этой стенограммы в течение долгих лет каждый раз именно на этом месте обрывается для меня приступом удушья и тоски... Чтобы великого антифашиста и гуманиста сделать певцом Гитлера и нацизма... Не случайно Сталин

Я думаю, что вы заметили тоже эти строки о мрачной поэзии Освенцима, эти строки, которые достойны быть вспомнаны в мировой литературе.

Я хочу здесь сказать о величайшем художнике. Когда Толстой описывал французов, то описывал как русский человек, который описывает своего врага, с иронией, с пониманием его психологии, видно, что он выше француза на голову. А как описал немцев Гроссман, так писать нельзя, не административно, а в плане искусства. Художником может называться тот, кто патриот, тот, кто может называться патриотом своего народа, а у Гроссмана нет патриотизма в этом деле.

И здесь не только ошибка Твардовского, это большое упущение и недосмотр всей нашей общественности.

Тов. СУРОВ:

К тем ошибкам, которые здесь обсуждаются и которые допущены «Новым миром», хочу отнести еще две ошибки, очень серьезные, ошибки, которые являются двумя сторонами одной медали. И медаль эту можно было вручить товарищу Твардовскому как главному редактору за игнорирование, мягко говоря, а вернее, за дискредитацию советской драматургии. Эти ошибки сделаны почти подряд *.

В журнале № 10 «Нового мира» за 1952 год опубликована статья Комиссаржевского, называется она «Человек на сцене». Написана она очень бойко, недопустимо бойко. И что она в себе содержит? Это, товарищ Фадеев, самый блестящий пример, как раскрыта эта новорапповская «теория» — предметно, ясно, иллюстративно.

С меня Комиссаржевский начинает очень хорошо. Далее моей драматургией вышибает Софронова, последнюю пьесу, затем, чтобы уж совершенно осмеять софроновскую драматургию, приводит цитату Салтыкова-Щедрина **.

почуял родную себе душу и вырвал ее из небытия. И с какой изощренной профессиональной подлостью ведет она свою короткую речь.

* А. Суров — одна из мрачнейших и характернейших фигур, выплывшая в те годы в мутных волнах космополитизма. Лауреат Сталинской премии за пьесу «Зеленая улица» в 1949 г. и пьесу «Рассвет над Москвой» в 1951 г. В тот, 1949, год Сталин сделал его невыносимую по тупости пьесу «Зеленая улица» главной дубинкой, под непрерывный свист которой отделяли в критике патриотов от космополитов. Имя Сурова вскоре исчезнет из литературы. Он будет исключен из Союза писателей, так как специальная комиссия установит, что пьес своих он не писал, а нанимал людей, лишенных всяких возможностей заработать.

** Погромная машина работает на полном ходу — и мы

Тов. ФАДЕЕВ А. А.:

Между прочим, правильно говорит товарищ Суров. Ведь скажем так: не каждый недостаток есть порок. Вообще нам много приходится критиковать недостатки. У пьесы Софронова есть художественные недостатки, но есть много достоинств в изображении колеблющихся, переходящих на нашу сторону немцев.

Скажем, Симонов написал объективно и показал, какие достоинства и какие недостатки. Я бы прибавил еще недостатки. Но, во-первых, товарищи, эта вещь написана на очень важную тему. Во-вторых, она написана руками драматурга, и, в-третьих, там есть удачи. Значит, надо было отметить, что в пьесе правильно, и показать, какие есть недостатки.

Комиссаржевский критикует в таком духе: «Пьеса оказалась мне рассудочной, риторичной, написанной без должного волнения, без интересных характеров, без настоящего знания описываемой страны».

То есть он сразу зачеркнул все. И затем, вместо того чтобы поставить на этом точку *, он говорит: «Но, если пьеса плоха, все равно ничего путного из этого занятия не получится, как бы режиссер и актеры ни пытались ее спасти. „По моему мнению, — советовал Салтыков-Щедрин, — глупые пьесы следует играть как можно сквернее: это обязанность всякого уважающего себя актера. От этого может произойти тройная польза: во-первых, прекратится систематическое обольщение публики каким-то мнимым блеском, закрывающим собою положительную дребедень, во-вторых, это отвадит плохих авторов от привычки ставить дрянные пьесы на сцене, и, в-третьих, через это воздается действительная дань уважения искусству"».

Вот как рапповщина сочетается здесь с позициями чуждыми...

Тов. ПЕРВЕНЦЕВ: это прямо-таки диверсия!

являемся свидетелями того, как на наших глазах Суров набрасывает космополитическую петлю на шею В. Комиссаржевскому, театральному критику, в будущем — главному режиссеру театра им. Ермоловой. Он смело и правдиво, по заслугам дал резко отрицательную оценку пьесе Софронова «Иначе жить нельзя».

* Фадееву тоже не хочется ставить точку, и, прервав Сурова, он не случайно так пространно цитирует Комиссаржевского.

Тов. ФАДЕЕВ:

Я не хочу употреблять это слово, которое употребляется в применении к более серьезным вещам... *

Тов. СУРОВ:

Так представлена театральная критика и такие драматургические оценки даются в журнале «Новый мир». И если рассмотреть все эти ходы, посмотреть, как оценивается отношение к космополитам, то тот же Комиссаржевский утверждает то же, что самое главное было в антипатриотической критике: это то, что только в театре может родиться драматургическое произведение. Вот что наделал Комиссаржевский и как сомкнулась новороссийская точка зрения на драматургию с точкой зрения космополитической.

Так, как представлено критикой состояние нашей драматургии, — это тяжелая вещь, а известно, что, несмотря на тяжелое состояние, наша драматургия развивается и будет развиваться. И если сравнить результаты 1952-го и результаты 1951 года, мы видим, что они ярче и значительнее, а я прямо-таки утверждаю, что в 1953 году мы будем иметь много новых ярких произведений, будем иметь дальнейшее движение, как бы ни пытались остановить это движение представители различных враждебных взглядов на советскую драматургию.

Это — теоретическая сторона. А практически «Новый мир» публикует такие статьи, которые снимают начисто советскую драматургию. Или как можно объяснить появление такой пьесы, если это можно назвать пьесой, как сатирическая комедия С. Нариньяни? Публикуя эту пьесу, я считаю, редколлегия подтвердила точку зрения Комиссаржевского на советскую драматургию, на советскую комедию. Посмотрите, какая это ложь на наше советское общество!

Я оглашал уже здесь на недавно состоявшемся заседании Секретариата письмо группы читателей одного дома, — там и архитектор, и инженер, студенты и еще многие. Я целиком и полностью эту точку зрения разделяю и с резким и

* Вот так и прозвучало это главное страшное слово того времени... Диверсия! Именно в этих устах, как крик Первенцева, обращенный в зал. Хотелось бы обратить внимание на то, что Фадеев в своей первой непосредственной реакции отбросил это слово. В этом шабаше ведьм ничего не угрожало только главному диверсанту — Салтыкову-Щедрину, обжившему через Комиссаржевского свой меч против Сурова и Софронова. И они двинули свои ряды...

«Что наделал Комиссаржевский» — этому посвящена речь Сурова.

полным разбором этой пьесы выступил и хочу сказать, да и в письме сказано, что это написано в традициях Зощенко. И это надо было рассмотреть «Новому миру», чего он не сделал*.

И наконец, последнее. Товарищ Фадеев называл все эти вредные теории, которые путаются у нас под ногами, которые трудно поймать с поличным, так как они рядятся в разные формы. И вот я хочу сказать о теории бесконфликтности, которая действительно отбросила нашу драматургию, которая вывела из строя крупных мастеров нашей драматургии. Она теоретически разоблачена, но практически действует, глушит, она очень удобна врагам Теорию бесконфликтности как будто можно разоблачать, так нет, она рядится в иную форму. Наши конфликтные пьесы называют бесконфликтными, походи, разберись здесь. Эта теория еще действует.

Тов. СИМОНОВ:

Я хочу взять слово в порядке выступления. Прежде всего мне бы хотелось сказать несколько слов относительно той критики, которая прозвучала в выступлении товарища Фадеева в адрес передовой, напечатанной в «Литературной газете». Во-первых, хочу довести до сведения Президиума, что автором этой передовой являюсь я, во-вторых, хочу сказать, что тенденции выступить с критикой новорапповского толка у меня не было. Я этого признать не хочу и не могу. Я бы сказал неправду, если бы признал это.

* Как в кадрах документального кино, звучат голоса, видны лица людей. И Суров в этой своей речи так невыносим и так неповторим. И его красное жирное лицо (не может быть, чтобы я забыла его), его зачесанные назад светлые потные волосы, и шуба на меху, и толстая палка, с которой он ходил по коридорам редакций и поднимался в лифте по этажам. Посмотрите, с какой оборотистостью и ловкостью он фабрикует дела... Вот он сделал космополитом неугодного ему критика. Вот он сбросил в «зощенковские» бездны опасного для него конкурента по драматургии. С Гроссманом справились. А он смотрит вперед. Для него сейчас пьеса С. Нариньяни «Аноним» — главная мишень. Пьеса с живым и правдивым сюжетом о беззащитности честных людей перед лицом клеветника.

Эта комедия напечатана в журнале «Новый мир» в 1953 г. — в номере 2. Следовательно, вышла только что в свет. А Суров уже потрясает перед собравшимися сфабрикованными им письмами и протестами от всех групп населения Советского Союза.

Семен Нариньяни — известный фельетонист, потом правдист, но к жанру комедии с той поры он не возвращался никогда.

А. Д. ФАДЕЕВ: Может быть, здесь было желание немножко угодить?

Нет. Причина такова. Нельзя говорить о важных явлениях, о бдительности, о необходимости борьбы с чуждыми явлениями в литературе, не взвешивая, подходить к этим вопросам нужно осторожно, нужно обдумывать, нужно взвешивать каждое слово, предварительно обсудив, к какому явлению ты адресуешься с тем или иным утверждением. Очевидно, я в этой передовой выступил, как подал реплику товарищ, с диверсией. Вот примерно такой критической диверсией я заключил передовую. Так что с существом, смыслом реплики Первенцева я согласен. В статье Комиссаржевского мы сталкиваемся с вредным делом.

Также в статье хотелось сказать, что литература наша должна работать сплоченно, дружно, должна решать большие проблемы и, делая это, мы должны зорко смотреть, должны быть бдительными, ясно понимать, где есть явления враждебные, и там, где они враждебны в литературе, надо разговаривать с ними крутым, резким языком. Я не подумал об этом, но надо было поговорить о той воспитательной роли, которую должны сыграть и наша критика и наша печать среди писателей, которые являются честными советскими писателями, но совершают иногда очень серьезные идейные ошибки.

Но это не значит, что мы не должны заниматься их воспитанием, мы должны им заниматься. А иногда доброжелательство проявляется и в резкой постановке вопроса — не истерически, не крикливо, но резко, чтобы подчеркнуть всю глубину ошибок.

Вот что хотелось сказать и что, благодаря несерьезному подходу к формулированию вопроса, имело место в данной статье в «Литературной газете», и что превратилось в такую вещь, когда получилось обратное действие, и это может создать атмосферу запугивания, вместо резкой суровой деловой критики недостатков нашей литературы.

Теперь в отношении романа Гроссмана. Я не хочу заниматься долго предысторией, говорить о том, когда и что я сказал по поводу этого романа, какие замечания сделал и в результате чего ошибся с этим романом. Я мог бы все это сказать и вытащить на 80 страниц замечания, которые были даны мной Гроссману, когда он принес свой роман. Это все было. Были критические замечания, типа агаповских, но честь и хвала была бы мне, если бы я удержался на этих позициях, а не проголосовал бы на Президиуме за этот роман вместе с некоторыми членами Президиума и Секретариата,

чтобы выдвинуть этот роман на обсуждение в Комитете по Сталинским премиям. В этот я виноват также, а анализировать те замечания, которые я делал, — нет смысла. Значит — совершена ошибка...

Что касается газеты, я считаю, что «Литературная газета» совершенно правильно в своей редакционной статье осветила роман Василия Гроссмана и его ошибки. Считаю правильным и то, что в последнем абзаце статьи было сказано, что Василий Гроссман должен осознать свои идейные ошибки и только тогда сможет продолжать работать. Это долг «Литературной газеты» был сказать это. А противопоставлять эту статью статьям в «Правде» и «Коммунисте» — было попыткой демагогической. Это наш долг был так сказать писателю.

Это наш долг, и об этом мы сейчас можем сказать. К сожалению, мы до сих пор не видим от Гроссмана честного, открытого признания своих ошибок, обращения в свою писательскую организацию. Это очень плохо, это очень скверно характеризует его как писателя и как члена нашей писательской организации.

Нужно призвать в «Литературной газете», чтобы он признал свои ошибки, и объяснить, что, если он не поймет всей глубины своих ошибок, тогда будет другой разговор. Я считаю, что Гроссман поступил неверно. Если он не желает ответить на критику, с ним у нас по-другому будут говорить. Об этом я также считаю здесь необходимым сказать.

Теперь несколько слов о книге Казакевича. Я согласен с глубоким анализом основного порока повести Казакевича, который дал Ермилов. Я считаю, что в том, что он сказал, как он проанализировал повесть, пришел к существу вопроса, что это вещь с тяжелым духом пацифизма, вещь, отдающая пацифизмом основательным образом, — он прав. Он наилучшим образом, до самого корня, с такой глубиной, как никто из нас, проанализировал эту повесть. Я присоединяюсь к тому, что сказал Ермилов.

Я хочу вот о чем сказать. Нельзя относиться к материалу жизни как к чему-то, что имеет просто самоценное значение. Вот, мол, я был на войне, я то-то видел, у меня богатый запас впечатлений — и это ценность у меня. Это может стать ценным, а может и не стать, как и всякий другой запас впечатлений. Не сомневаюсь, что у Казакевича большой запас впечатлений о войне. Но ради чего писать о войне? Ответьте на этот вопрос, для чего я буду писать повесть об Отечественной войне? Если я хочу ответить желаниям, нуждам народа, общественности, то я должен написать

вещь, которая воспитывала бы народ, молодежь в состоянии готовности ко всем возможностям, которыми грозят наши враги, в состоянии моральной, духовной готовности, в состоянии крепить силы. Беря пример Отчественной войны, я должен показать примеры мужества, высокого морального духа, то есть то, что увеличивало бы идейный багаж каждого человека, который прочтет эту книгу и которому предстоит, может быть, новые бои, которые навяжут нам враги. Вот в чем смысл.

Я не понимаю, почему Казакевич не понял, что смысл только такой. Иначе это просто литературное упражнение, которое только показывает, что этот автор талантлив, а другой, может быть, не талантлив.

Но когда автор талантлив — тем обиднее. Обидно, что повесть кажется написанной в каком-то душевном отпуску, вдалеке от тех задач, которые стоят перед советским народом и перед писателями и которые должны стоять и перед Эммануилом Казакевичем как одним из хороших талантливых советских писателей. Это очень важно понять.

Когда мы обижаемся иногда на критику, надо уметь не встречать это самолюбием, а понять свои ошибки. Только поняв их, можно дальше хорошо работать.

Вот что я хотел сказать по поводу повести Эммануила Казакевича.

Тов. ПРОКОФЬЕВ:

Хочу поделиться своими ленинградскими впечатлениями *.

В то время когда печатался в «Новом мире» идейно порочный роман Василия Гроссмана, в Ленинграде среди писателей восмурился фимиам и слышались восхищенные отзывы по поводу этого произведения. Крестного хода, как это было в Москве, у нас не было, но хоругви носили и в Ленинграде. (Смех.) Шли сравнения с «Войной и миром» и так далее — в общем, то же самое, что я слышал, сидя в течение двух дней здесь в Москве **.

Хочу сказать о работе редколлегии журнала «Новый мир». В наших разговорах не было ни слова о работе редколлегии, а это — важный вопрос. По разговорам Твардовского выявляется, что не все благополучно в редколлегии

* Поэт Александр Прокофьев представлял ленинградскую писательскую организацию.

** Таким путем до нас доплеткиваются ценные свидетельства об огромном успехе, которым пользовался роман.

«Нового мира». Товарищ Твардовский говорит, что волю редактора никому не сломить, что он один за все отвечает, что он подчинен ЦК и перед ним ответственен, и так далее. Но я считаю, что, как бы упрям ни был характер редактора, он всегда должен прислушиваться к мнению редколлегии. А ведь были даны сигналы в отношении этого романа со стороны товарища Агапова и других товарищей, так почему же этот роман шел в наступление? Я считаю, что работа редколлегии, сплоченного коллектива по-настоящему, должна быть положена во главу угла редакторской работы.

Товарищ Николаева сказала, что у нас не будет ошибок, а я, не будучи пророком, могу сказать, что у нас могут быть ошибки. И они будут, если будет и впредь осуществляться такой стиль работы...

Я считаю, что необходима сплоченная работа редколлегии, которая предохранит от серьезных ошибок и именно сразу.

Мне не нравится поведение Василия Гроссмана. Не так нужно писателю относиться, уважающему литературу и уважающему себя. Сколько раз мы говорили об этом романе после критики в «Правде», «Коммунисте», и мы не слышим голоса Гроссмана. Это поведение недостойно советского писателя, советского литератора.

Тов. ПЕРВЕНЦЕВ *:

Товарищи! Когда я бросил здесь реплику «диверсия», она вызвала некоторую реакцию. Я хочу объяснить, что та-

* Аркадий Первенцев — итоговая фигура этого собрания. Тоже один из самых страшных.

Начал он свой путь символически знаменательно — в 1937 г. Выпустил тогда роман «Кочубей», состоящий из двух книг, потом опубликовал такой же огромный роман «Над Кубанью». Оба — из эпохи гражданской войны. Тягучие, с ложным, фальшивым сюжетом, невозможные для нормального чтения. Потом стал писать о войне Отечественной — сборники («Гвардейские высоты»), роман («Огненная земля»). В 1948 г. наступил его звездный час: в журнале «Октябрь» Федора Панферова (мрачном прибежище всех темных сил того времени) был напечатан его роман «Честь смолоду», ставший предметом пародий и эпиграмм. Роман следует тоже отнести к числу любимых произведений Сталина. Он выделит его и наградит Сталинской премией в 1949 г., введя Первенцева в ряды личной боевой гвардии. После этого он напишет тонны примитивных, сталинских книг — романы «Матросы», «Гаммаюн — птица вещая», «Оливковая ветвь», сборники рассказов, очерки, пьесы, киносценарии, статьи.

А в 1978 г. на конкурсе на лучшее произведение о рабочем классе, который длился два года, он получит вторую премию за роман «Гегемон».

кое диверсия в литературном языке. Я считаю, что это моральная диверсия. Ибо писатель — это организм очень уязвимый *. Не буду возносить его до уровня ангела с крыльями, но еще раз повторяю, что это человек с очень уязвимым организмом, потому что занимается вопросами очень сложными, трудными, и часто небольшой удар, укол превращается в диверсию для этого уязвимого организма. Причем характерно, что диверсию предотвратить легко, но писатель живет в такой среде, где очень легко подвести под него моральную диверсию с пусканием крови. Если на улице бандит ударит меня ножом в живот, подбежит милиционер и защитит меня и любого из нас, но когда происходит моральная диверсия с пусканием крови (а для этого существуют статьи Комиссаржевского и не только против Софронова), то мне кажется, что это самая страшная диверсия.

Сегодняшнее выступление товарища Фадеева всех нас очень обрадовало. Наше счастье, что товарищ Фадеев выздоровел, пришел и сказал сегодня серьезные большие вещи. Мне только хотелось бы, чтобы Александр Александрович полностью оплатил те авансы, которые нам выдал сегодня, чтобы он руководил нами по той программе, которую изложил и которая у него есть. Мы по хорошему руководству соскучились. Нам нужно делать литературу.

У нас есть серьезные противники внутренние и внешние. Это опубликование, которое мы читали в газете, говорит о прямых диверсантах, которые существовали и существуют в нашей стране. Поэтому существует активная оборона наших границ. Директивы нашей партии по пятилетнему плану, которые превратят нашу страну еще в более могучую, требуют от нас дать ответ. Будет ли это пьеса, сценарий, стихи и так далее, но это должно отвечать тем условиям необходимости, которых требует от нас партия в период наибольшей партийной, моральной, политической сплоченности, чем мы должны ответить на смерть товарища Сталина.

И в данный момент моральные диверсии в нашей стране должны преследоваться. Против Сталинграда была сделана диверсия, а ведь Сталинград нам дорого доставался.

Победитель? Гегемон? Прислушайтесь к нему, он и речь ведет как гегемон.

* Хочется обратить внимание на то, что брошенное Первенцевым в зал понятие — «диверсия» — в дальнейшем развитии его речи будет иметь свой «сюжет», свои многообразные повороты. Сначала это диверсия против такого нежно ранимого существа, как Софронов...

Тема Сталинграда дорога нам, и можно было бы только приветствовать писателя, если бы он написал правдивое, честное произведение. И в данном случае я целиком присоединяюсь к оценке Александра Александровича Фадеева, соответствующих органов печати и к выступлению товарища Львовой. Несомненно, что Василий Гроссман написал прочное произведение.

Против этого произведения восстала сейчас вся страна. Достаточно поговорить и спросить любого сержанта-пограничника, что он думает об этом романе. Об этом всюду говорят.

Показателен и другой факт. Почему Василий Гроссман, член правления ССП, не явился сюда? Разве у него не хватает для этого силы, воли и мужества? Мы видим здесь Казакевича, который честно пришел и выслушал нас, и мне нравится то, что он сидит спокойно, не подавая никаких реплик. А Василия Гроссмана здесь нет. Что это — упорство? Или у него есть какие-то «тылы», которые поддерживают его в трудную минуту? *. Мы должны пригласить члена Правления товарища Гроссмана и сказать ему все это (я не знаю, может быть, он болен или, может быть, ему не сообщили). Во всяком случае, разговор с автором необходим, так как его роман превратился в серьезное явление.

Александр Александрович Фадеев правильно здесь отмечал тенденцию восхищения отдельными страницами. Такая вещь произошла и с Казакевичем, когда мы слышали разговоры: «Идеи, правда, здесь нет, но как здорово написано!» И этот ход, который сделан с романом Гроссмана, он нашел отклик и в Ленинграде, где, как нам рассказывают, также люди ходили с хоругвями. Это наводит на странную мысль, что во всем этом деле есть какая-то организация **. Товарищ Николаева сказала, что она подчинилась групповым соображениям, что делила писателей на «своих» и «чужих», что у нее были какие-то «они». Может быть, спро-

* С большим знанием дела, выворачивая это слово «диверсия» (от диверсантов на границе до диверсанта в Сталинграде), он наполняет его зловещим, вредительским, сталинским смыслом... Как будто Гроссман уже находится в бериевском застенке... И Первенцев допрашивает его именно там... Особенно после его вопроса о том, какие у Гроссмана есть тылы.

** Вот появилась и целая «организация». И бедный Первенцев так «взволнован»... Агентура Гроссмана, как он только что выяснил, раскинулась по всей стране.

ситель ее — кто это? Меня лично это дело взволновало, и хотелось бы, чтобы она сказала, кто такие эти «свои» и «чужие», что это за групповщина?

И последнее. Я слышал выступление товарища Твардовского. Мне показалось это выступление искренним, хотя, может быть, формулировки были не такие, как полагалось бы, но надо учесть, что он выступал уже много на различных собраниях и ему, может быть, просто надоело говорить. Но я хотел бы принципиально возразить против одного тезиса.

Александр Твардовский сказал, что он молодой редактор. Да, он молодой редактор, и он мог ошибиться в Гроссмане, но у него есть опытный помощник и умелый — Тарасенков. Когда Гроссман издавал «пифагорейцев», ему помогал Тарасенков... Тарасенков, который в присутствии нас, сидя в комнате товарища Фадеева, когда зашел разговор о Гроссмане, сказал: «Об этом человеке я не могу говорить сидя, я должен сказать о нем стоя».

Нам всем очень жаль нашего любимого большого поэта Твардовского, что он попал в эту кашу. Но мне хотелось, чтобы поручить Твардовскому проверить кадры «Нового мира», кто там всем этим занимается. Очевидно, там есть люди, которым выгодно запускать такие шурупы. Мы могли бы писать романы, стихи, драмы, а мы занимаемся всеми этими делами. Мы занимались Гурвичем целую неделю, а теперь занимаемся Гроссманом.

Я думаю, что Президиуму надо решить очень многие вопросы, и прежде всего поставить вопрос о моральной диверсии против писателей и всей нашей литературы *.

Тов. КАРАВАЕВА:

Выступление «Правды» и журнала «Коммунист» еще лишний раз напоминает Союзу писателей о том, как сердечно заботится партия, чтобы наша советская литература шла вперед к коммунизму на уровне с самыми высокими идеями нашего века, чтобы она не ошибалась, чтобы она работала без просчетов. Ведь в самом деле, идет вопрос о том, как мы строим литературу коммунизма. Стройки коммунизма вот уже вступают в строй, они смотрят нам в глаза уже новыми

* Хочется сказать о встающем с этих страниц образе писателя Василия Гроссмана — главном положительном герое этой трагедии. Он не пришел... Не выступил... Не отказался от себя... От своего романа... Наперекор всем законам, канонам, травле, угрозам, уговорам и приказам... Наперекор стоящей за его спиной расправе, аресту и тюрьме.

жизненными отношениями, новыми великими завоеваниями всенародного труда. Как же мы, советские литераторы, должны на все это ответить?

Сейчас обидно заниматься такими историями, как история с романом Гроссмана, особенно в такие дни, дни забываемой потери, какие мы сейчас переживаем. И вот в эти дни хочется на будущее заручиться какими-то организационными, моральными и творческими мероприятиями, чтобы все-таки работать без просчета.

Я хочу еще сказать, что нам очень помог сейчас, в эти тяжелые дни потери, тот глубокий анализ, который дал Александр Александрович нашей литературной обстановке и нашим идейным литературным ошибкам, той бдительности, которой мы должны обладать, и той идейной требовательности, которую мы должны предъявлять нашей литературе.

А вот тут сразу в этом романе что-то не то. Если взять хотя бы обстановку, в которой выходил этот роман в жизнь. Ведь три года шли разговоры об этом романе. Я не принадлежу к числу поклонников этого романа, я им не восторгалась, но я спокойно проголосовала за него, думая, что здесь есть отдельные неудачи, но тема святая — о Сталинграде, романом занимались три года уважаемые товарищи, и это оказывало влияние на людей. И это спокойное состояние было не только в Союзе писателей. Я обнаружила в новом издании Большой Советской Энциклопедии в томе 13 такую строку о Василии Гроссмани, что в 1946 году он написал ошибочную с вредной философией пьесу, а дальше идет слова, что «в послевоенные годы писатель работал над романом о героической обороне Сталинграда, отрывки из которого печатались в журнале». Так заканчивается статья в БСЭ. И у всех была уверенность, что этот роман — это какой-то гигант. Это людей очень успокаивало, и я также принадлежу к числу людей, которые спокойно отнеслись к этому произведению...

Словом, это спокойное ожидание, что это чудо, которое готовится в советской литературе, оно действовало. Я спокойно проголосовала, потому что это большое ожидание действовало. Вот, мне кажется, урок на будущее. Если со скрипом что-то проходит, если появляются сигналы против этого произведения, давайте задумаемся над этим.

Мне очень нравится статья Бубеннова, последовательная, страстная. Но мне кажется, если бы это обращение было в секцию прозаиков, то там было бы живое движение воды. Так что в будущем, если произведение долго не мо-

жет войти в жизнь, если сигналы идут против этого произведения, надо задуматься. Оказывается, сигналы были, значит, надо было над этим задуматься...

Так вот, чтобы у нас действительно не было просчетов, чтобы мы работали хорошо, надо, чтобы вся наша машина, чтобы каждый винтик — большой и маленький — работал, вертелся.

Тов. КАЗАКЕВИЧ:

Товарищи, я могу сказать, что та критика, которая была в мой адрес вчера на нашем собрании и сегодня, была товарищеской критикой и я ее приемлю, как товарищескую критику, которую я продумаю придирчиво по отношению к себе.

Я не могу сейчас развернуто говорить о своих ошибках — все это обсуждение случилось за последние два дня, и мне трудно мотивированно сказать об этом что-либо. На секции прозы при более широком обсуждении я смогу сказать об этом развернуто. А сейчас могу только сказать, что критику я приемлю, сделаю из нее все выводы, — может быть, для этой вещи, а может быть, и для будущих вещей, которые я пишу и буду писать.

Это то, что я могу сказать сейчас.

Из заключительного слова А. А. ФАДЕЕВА:

Товарищи! Я считаю, что обсуждение, которое произошло, принесло несомненную пользу. Оно было содержательным и звучало так, что члены Президиума и наш актив правильно поняли все вопросы, и по существу мне особенно полемизировать не с кем.

Товарищи с различных сторон разбирали вопросы, которые я поставил, и с этой точки зрения от меня ничего не требуется в заключительном слове. Хочу остановиться только на нескольких моментах.

Когда был перерыв, мы разговорились с товарищем Грибачевым, и он сказал: «Я согласен с твоим выступлением, но обычно, когда ставился вопрос об опасности, говорилось — какая же опасность является главной». Он, правда, сказал, что время изменилось и идейные течения, которые выступают против нас, они смыкаются. Действительно, «новорапповское» течение может считаться «левым», но вы знаете, что «левые» новорапповцы смыкаются с «правым» Гурвичем. Так что здесь ставить так вопрос нельзя. А главная опасность — это та, с которой перестают бороться я, — говорил нам товарищ Сталин.

И тот человек, который хочет признавать свои ошибки, лучше ему не вдаваться в мотивы субъективные — почему он ошибся, так как народу это все равно. Несомненно, что была допущена ошибка и в отношении статьи Гурвича, и с романом Гроссмана. Это ошибки, которые дали пищу нашим идейным противникам и являются таким образом ошибками идейного порядка.

Но имейте в виду, что в тот период, когда мы либеральничали, все те силы, которые были заинтересованы в этом, воспрянули духом, и эта опасность очень оживилась. Это мы почувствовали на целом ряде заседаний, в ряде выступлений. Это показывает, что мы недостаточно громили все эти враждебные политические группы. Люди почувствовали послабление, и отсюда это пошло. Не все люди, конечно, но те, которые являются сознательными врагами, которые для этого работают, чтобы прорыв расширить. И вот когда мы перестали с этим бороться, посмотрите, какая от этого выгода новорапповцам, какая невероятная выгода при этих условиях!

Все мы ошибались в этой связи. И всех замарать, сказать, что это участники этой диверсии, что это космополиты и так далее, всех смешать — вот как действуют наши литературные критики.

Да, мы «ударная бригада» мирового движения, у нас враги вовне и внутри, они любую щель используют против нас. Внутри они в тысячу раз слабее нас. А вы подумайте, как в такие дни враг мог спутать все и смешать только потому, что я и Твардовский, главным образом, ошиблись в этих вопросах. Если бы мы не поняли, что мы ошиблись, и дали бы в эту щель противнику пролезть, тогда все спуталось бы. Вот эти люди, новорапповцы, могли бы тогда сказать, что и Твардовский и Фадеев — это космополиты. И смешалось бы все. Началась бы свалка. И эти ничтожные люди, мусор вокруг литературы, смогут нами командовать, если мы не поставим этого вопроса. Даже за Комиссаржевской) мы должны отвечать. Мы должны так поставить нашу критику и самокритику, чтобы поднять литературу на более высокую ступень. Мы должны критиковать недостатки друг друга.

У нас серьезные недостатки имеются в драматургии. После первого урока, который мы получили в драматургии, у нас еще много осталось недостатков. Писатель вообще чувствует, откуда идет эта критика, если его не путает человек, стоящий на чуждых ему позициях.

Я согласен с той критикой, которую сделал Симонов

в отношении пьесы Софронова «Иначе жить нельзя». Но Софронов недоволен этой критикой. Но здесь такое положение. Надо было сначала ударить по Комиссаржевскому, а потом уже надо было сказать — и даже много сильнее — в адрес Софронова. Тогда ему трудно было бы спорить. Он понял бы, что тот человек ломает ноги неизвестно в чьих интересах, а вот этот человек — другой, он его критикует, наверное, потому, что предостерегает его от ошибок, что любит его, любит литературу, поэтому и говорит правду...

Я сказал, что сомневаюсь, что надо давать премию таким произведениям, — это другое дело. Я прямо на Комитете по Сталинским премиям говорил, что таким пьесам премии давать не следует, но я всюду скажу, что надо рекомендовать, чтобы театры ставили эти произведения, так как они заслуживают положительной оценки <...>

Так что, хотя мы и совершили крупные ошибки, из них мы можем извлечь очень полезные для нас уроки. Поэтому я завершаю тем, с чего начал. Программа нам дана хорошая, руководство партии за нами обеспечено. Мы должны работать на основе критики и самокритики, работать коллективно, поднимать литературу на все более и более высокий идейно-художественный уровень и помнить, что сейчас главным нашим направлением будет критика и самокритика, что мы больше будем отмечать наши недостатки. Но не надо давать примазываться нашим идейным противникам и путать наши карты, а разоблачать своих идейных противников, не давать им мешать правильным голосам. Неясность линии — эта опасность всегда бывает при групповине, когда людям непонятно, что противник путает карты.

Этого мы должны избегать. И тогда дело пойдет. А сейчас нам надо хороший порядок в нашей литературе навести. Я, как генеральный секретарь, очень много пережил в связи с этими ошибками, — они ведь не так легко даются, не так просто выступать перед народом и говорить, что я таких вещей не понимал. А это приходится делать, иначе этим воспользуется наш противник, наши враги.

И мне кажется, что мы сумеем навести хороший порядок в нашем литературном деле и на пленуме посмотреть нашу продукцию, раскритиковать ошибки и смелее пойти по дороге, которая указана нам товарищем Сталиным!

(Аплодисменты.)

Тов. ФАДЕЕВ А. А.:

У нас так случилось, что товарищи Сурков и Грибачев должны были уйти, а они как руководители нашей партийной группы должны были ознакомить с резолюцией партийной группы по вопросу, который мы обсуждали, — о романе Василия Гроссмана и о работе редакции «Новый мир». Я прошу товарища Первенцева огласить этот проект резолюции, который предлагается нашему вниманию от лица партийной группы.

(Тов. Первенцев зачитывает проект резолюции.)

Тов. ТИХОНОВ:

Есть замечания по тексту?

Тов. СУРОВ:

У меня два замечания. Во-первых, там, где идет перечисление порочных произведений, надо сказать, что только ротозейством редакции журнала «Новый мир» можно объяснить появление в № 10 журнала статьи Комиссаржевского, направленной к дискредитации советской драматургии.

Тов. ФАДЕЕВ:

Я считаю, что мы это оговаривать в резолюции не можем, так как это должно быть соответствующим образом мотивировано и объяснено, а иначе получится так, что человек покритиковал Софронова и его выступление считают порочным. Надо об этом написать статью, мы обяжем «Литературную газету» это напечатать. В своем докладе я остановлюсь на этом, и несомненно Комиссаржевский получит по заслугам. Но все это надо обосновать, а без объяснений этого делать нельзя.

Тов. СУРОВ:

И второе предложение. Очень правильно в решении записано, что Казакевич оторван от Гроссмана. Правильно сказано, что Казакевич представил произведение, страдающее крупными идейными пороками. Но Казакевичу указано на серьезные идейные недостатки произведения.

Но совсем другое надо сказать о пьесе Нариньяни «Аноним». Надо сказать, что это клеветническое произведение.

Тов. ФАДЕЕВ:

Дело в том, что на партгруппе этот вопрос обсуждался и там не нашли, что есть основание давать такую формулировку.

Вопрос: А партгруппа читала ее?

Тов. ФАДЕЕВ:

Многие читали. И не нашли, что есть основание давать такую формулировку, что это было бы уж слишком. Ведь люди только что к литературе приступают, и Нариньяни молодой фельетонист. Нельзя с первой попытки положить ему ноги. Написали, что это антихудожественное произведение, и это уже является серьезным обвинением. <...>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Кто за эту резолюцию, прошу поднять руки. Кто против? Большинство.

Я думаю, что можно принять резолюцию в целом. Кто за резолюцию в целом, прошу поднять руки. Кто против? Против нет. Принята единогласно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Из письма в Воениздат

30 марта 1954 г.

Можно рекомендовать читателю первую книгу романа В. Гроссмана «За правое дело»...

Как известно, первый, напечатанный в журнале «Новый мир» вариант книги вызвал острую дискуссию. Первоначальные высокие оценки романа на обсуждении в Союзе писателей, а также в отдельных статьях в печати были необъективны. Они исходили из действительно больших достоинств романа, но не вскрывали некоторых присущих ему серьезных ошибок, заслонявших и местами искажавших его идейный замысел. Однако в последовавшей затем критике идейных ошибок романа были допущены серьезные перегибы. Об этом нужно сказать в полный голос. Статья в журнале «Большевик» и статья М. Бубеннова фактически зачеркивали роман. Отдельные перегибы имели место и в той части критики, которая видела достоинства романа. Автор этих строк очень сожалеет, что в его статье в «Литературной газете» («Некоторые вопросы работы Союза писателей») тоже были допущены неоправданно резкие оцен-

ки, вызванные преходящими и устаревшими обстоятельствами литературной дискуссии того времени.

На XIV пленуме Правления Союза писателей мною были сделаны первые попытки оценить роман объективно. <...>

В целом это — большое, значительное произведение, плод многолетнего труда, произведение, полное глубоких размышлений, написанное хорошим языком и радующее читателя правдивыми картинами жизни.

Можно поблагодарить издательство за помощь, которую оно оказало автору, чтобы эта ценная книга была доработана и увидела свет.

А. Фадеев

Александр Александрович Фадеев застрелился 13 мая 1956 года. По мифам, легендам и былям того времени, в числе причин, приведших к самоубийству, называют и роман Гроссмана.

ПРОЩАНИЕ

Эти воспоминания о последних днях Василия Семеновича Гроссмана мне хотелось бы начать словами Корнея Ивановича Чуковского о начале, о первых его шагах. В письме к сыну Н. К. Чуковскому 22 октября 1935 года Чуковский писал:

«...Читал ли ты в 10-й книге «Красной нови» рассказ В. Гроссмана «Муж и жена»? Вот великолепный мастер, стопроцентный художник, с изумительным глазом, психолог — если не сорвется, выпишется в большие писатели. Во всем романе Казакова меньше ума и таланта, чем в нескольких строчках Гроссмана. После него трудно читать других советских писателей».

Этот отрывок из письма я получила от Елены Цезаревны Чуковской — словами не выразишь, как я благодарна ей.

Открывая новые и новые страницы в литературно-общественной деятельности Чуковского, не перестаешь восхищаться, как в течение многих десятилетий при самых первых шагах неведомых до этого писателей он определял сразу же их вес, масштаб и своеобразие будущей судьбы.

Грустно, что изведавший все виды травли и критики «на убой» Василий Семенович умер, не услышав этих простых и ласковых слов.

И еще несколько слов — беглых, случайно вырванных штрихов из «начала».

Когда я начинала работать и окунулась в литературу и особенно литературную жизнь (конец 40-х и начало 50-х годов), имя Гроссмана для меня было овеяно легендой.

Легендой было — как влюбился... Как женился... Как ходил за ней, Ольгой Михайловной, по пятам... И ушла она от своего мужа писателя Губера к новому мужу... Были у них с Губером два сына — Федя и Миша. Мальчики оставались с отцом.

Наступил 1937 год. И Губер был неожиданно-негаданно арестован. И тут же явились к Василию Семеновичу, и в его квартире, на его глазах арестовали его жену Ольгу Михайловну как жену Губера, хотя она была женой не Губера, а Гроссмана.

И он как ни пытался, не мог ее защитить. Он — мужчина, муж. Ведь все истинные человеческие чувства были в

нем так сильны. Мог ли он каяться, отречься от нее на собраниях, говорить, что не знал о ее тайных связях с Губером, что не отвечает за нее... Все, что говорило тогда бесчисленное множество людей.

Нет, он вел себя по-другому.

Прежде всего он взял к себе оставшихся без дома детей: Феде было шесть лет, а Мише — двенадцать. В ту же ночь. Надо сказать, что все родственники отказались их брать, в том числе и дядя — крупный ученый. Мальчиков должны были отправить в детский дом. Василий Семенович взял их к себе — в тот момент, когда не было никаких гарантий и надежд на возвращение Ольги Михайловны из тюрьмы.

И на другой день ринулся в хлопоты по освобождению Ольги Михайловны — невероятно энергично, упорно и настойчиво. Ходил, ездил, писал. Боролся, как лев.

Ольга Михайловна рассказывала, что он даже ездил в какой-то город, чтобы встретиться с крупным деятелем. И тот долго уговаривал Василия Семеновича развестись с Ольгой Михайловной.

И спросил:

— Сколько ей лет?

Василий Семенович ответил:

— Двадцать девять.

Тогда он стал его убеждать, что она уже старая, а Василий Семенович может жениться на молодой.

— Но я ее люблю, — сказал Василий Семенович.

В результате его хлопот она просидела в тюрьме, кажется, не очень долго, хотя не знаю, как исчисляется время по этим часам.

Когда Ольга Михайловна вернулась из тюрьмы домой и вошла в квартиру, первое, что она увидела, — два детских пальто на вешалке в прихожей.

Да, он вступал в литературу в самое, может быть, трудное время, в четко и, по-своему, законченно распланированный сталинский мир: 1934-й, 1935 год. И год 1937-й. Так до войны.

Но я сейчас не о том. Я просто хочу напомнить, как прозвучал тогда, в те годы его голос в первых произведениях — с такой богатой пластикой изображения жизни, ее оттенков, с таким гуманизмом, нравственным вкусом и чутьем. И с таким точным определением правды, честности и добра.

В одном из сборников я обнаружила рассказ «Моле-

бен». Под ним дата — 1930 год. Маленький, двухстраничный рассказ, который сам он не считал началом пути. О чем он? О солдатах. О звуках трубы, что прозвучали над спящей деревней. О том, как «батальон вздрогнул, всколыхнулся, пришел в движение и медленно пополз на размытую глинистую дорогу».

И дальше: «Солдаты переговаривались между собой отрывисто, не глядя друг на друга. Под тяжелыми, как земля, тучами, по грязным лужам дороги в предрассветном тумане ползла колонна людей в серых солдатских шинелях. Трудно было отличить, где небо и где земля и колышутся ли над дорогой клочья тумана или движутся солдаты. Шли, тяжело ударяя расплывающуюся под ногами землю. Каждый думал свою отдельную думу, но каждая из этой тысячи солдатских дум была похожа на другую. У всех болели ноги в сырых портянках, все дышали холодным мутным воздухом, у всех был где-то дом и родные, близкие люди. Каждый боялся быть убитым в боях под Перемышлем».

Речь, таким образом, идет о первой мировой войне.

С этих первых своих строчек он утверждает верность народному, демократическому герою, солдатской его шинели на всех будущих дорогах, во все времена и войны. И сколько понимания в этой мастерски, уверенной рукой написанной картине движущейся толпы солдат и «свинцовый тяжести влитого в них солдатского горя».

Следует только восхищаться тем, как отчетливо заявил о себе Василий Гроссман в первом крохотном своем рассказе. Мощный образ идущей и молящейся многотысячной толпы солдат написан настоящим художником, хотя началом своего творческого пути он называл рассказ «В городе Бердичеве» (1934). И вообще более поздние вещи.

Когда я прочитала другой его рассказ — «Товарищ Федор», помеченный в сборнике 1931 годом (тоже до «начала»), меня охватили смутные предчувствия и тоска. Будто я попала в ту палату 2-й Градской больницы, в маленький флигель, где умирал Василий Семенович Гроссман, будто он описал свой конец, хотя герой рассказа не похож на него и даже прямо противоположен.

Герой рассказа, старый подпольщик, падает на улице на тротуар, потеряв сознание от легочного кровотечения, и попадает в больницу. И невозможно читать об этой палате, которая была точно такой: вытянутая комната с белыми стенами и большим окном, там стояли две кровати, на одной лежал Василий Семенович, другая была пустой. В рассказе

все именно так. И пишет он о своем герое: «Грудь под одеялом то высоко поднималась, то спадала», и этот «хриплый кашель», сотрясающий тело, эти приступы непрерывного кашля и «сгустки тяжелой алой крови», выплеснутые в плевательницу. Будто это из моих записей — после «дежурств» в больнице у Василия Семеновича. Как он выхаркивал свои измученные легкие.

Герой рассказа был отрешен от простых радостей жизни, у него не было никогда дома, жены, детей «Только старенькая фуражка», отдыхал же он в тюрьме...

Эта аскетическая вымороженность души пугает писателя, и в биографии героя нет никаких совпадений с собственной его жизнью. Но как сумел он в молодые годы представить так точно это последнее одиночество? Психологически так крупно. Здесь трагедия смерти в прекращении жизненных дел. Уходит дело жизни, одно за другим, одно за другим. И тогда герой остается один, без всех своих жизненных дел. И наступает конец.

Есть одна фраза в этом рассказе... Я слышу до сих пор, как он произнес ее.

После операции Василий Семенович лежал в Боткинской больнице. Ему удалили почку, было это, вероятно, в 1963 году. Рак, но ему сказали — киста. Хирург назвал время, когда появилась опухоль. И буквально совпало оно, время: катастрофа с романом, «изъятие» из жизни живого романа, только что вышедшего из-под пера писателя, как каторжного убийцы, насильника и рецидивиста.

Считалось, что хирургическая операция прошла успешно, хотя хирург как будто сказал: «Раньше, чуть-чуть раньше...» И Василий Семенович лежал сравнительно недолго. Но сначала лежал пластом — и тогда сказал (не мне одной он тогда это говорил):

— Неужели никогда больше не придется полежать на зеленой траве. Броситься и повалиться...

И вот я читаю сейчас в этом рассказе о товарище Федоре. Однажды герой ехал по важным делам, стоял на площадке последнего вагона, поезд шел очень медленно, и он слышал, как шуршала высокая трава. И вдруг его охватило желание тут же сойти с поезда, «кинуться в траву, лечь, подложив руки под голову, и смотреть в небо...» Федор даже ухватился крепче за поручни вагона, чтобы не сделать этого. Когда в больнице Федор вспомнил об этом, «ему стало смешно».

Так этот образ зеленой травы как символа жизни возник в рассказе о герое, которому перед смертью становится

смешно от своих воспоминаний. Но родился он в душе писателя, который пронес его через всю жизнь.

Когда он лежал в своей палате в Градской больнице (после того, как болезнь накинута на легкие, сначала одно, потом очень быстро — другое) на узкой, короткой ему больничной кровати, большое окно выходило в густой, зеленый, заросший деревьями двор. И прямо под окнами спорили две тетки, наверно, уборщицы или санитарки — о соседке, обеде и ужине. Спорили бесцеремонно и громко об быденном, бытовом. Сначала я не обратила на них внимания, мне тогда не мешали они. Но Василию Семеновичу было плохо, он лежал молча и тяжело дышал. И вдруг я поняла, как назойливо, грубо и нескончаемо долго тянется разговор и звучат под его окном их голоса, будто собственной кожей... И сказала, что они вот так кричат, я сейчас выйду во двор и скажу, чтоб не кричали там. Но он улыбнулся и рукой остановил меня:

— Не надо, — сказал он, — они совсем не мешают мне... Ведь это жизнь.

Посмотрев на него еще раз, я поняла, что молчал он не потому, что стало ему хуже, просто он внимательно и дружелюбно слушал и ловил эти громкие голоса жизни.

Потом добавил, что чужое радио — это не жизнь, и оно мешает и раздражает всегда. И дома на Беговой, прямо из соседской стены. Я сама один раз слышала, как она гудела.

Он прочитал мне вслух главу из «Все течет». А на другой день сказал, что жалеет, что могли услышать, что в квартире своей он этого делать не должен. Был недоволен собой и мной, что я не прервала его. И тогда я сказала про радио за стеной, что оно так орало, что заглушало некоторые слова, и придется ему прочитать мне вслух эту главу еще раз. Улыбнулся печально и сказал:

— В другой раз.

Это было в перерыве между больницами. В Градскую лег в июне 1964 года. Терял силы, не мог ходить, непрерывно кашлял. С катастрофическим остервенением накинута на него болезнь. Только что читал и писал... Гулял.

Я узнала его по-настоящему после «катастрофы с романом».

Но до этого всю жизнь знала его, а он меня, конечно, не знал, знал немного, но не так, как я его. Я брала у него интервью для «Литературной газеты», бывала дома в первой его квартире, встречалась в Коктебеле. Особенно в Коктебеле в 1955 году. Он улыбался тогда, здоровался издали, ве-

село махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад... Он был ровен, казалось — счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктейбельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание — рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже.

После его смерти Ольга Михайловна подарила мне маленькую любительскую фотографию. Она предложила на выбор, и я ухватилась за нее, — потому что именно таким он был в последние годы. Я выбрала ее еще и потому, что на ней — Гроссман в Армении.

Он поехал в Армению (если называть все своими именами) из-за нужды и несчастья. Поехал, чтобы переводить роман армянского писателя — после «катастрофы с романом» его перестали печатать, ему не на что было жить. Ведь роман он писал «около десяти лет» — это подлинные его слова.

3 ноября 1961 года утром он приехал поездом в Ереван. Жизни ему было отпущено три неполных года, вернее, три года минус пятьдесят дней. И он тратил эти бесценные дни на перевод. Хочу добавить, что сам он не жаловался на новую для него работу и отнесся к переводу серьезно, спокойно, был доволен.

Вместе с этим переводом в результате путешествия по Армении появились на свет в 1962 году «Путевые заметки пожилого человека» (потом переименованные в «Добро вам!»).

И хотя он был приговорен к смерти, можно только удивляться, как вылилась эта вещь, с какой силой, наперекор всему — как куст «татарника» в «Хаджи-Мурате».

Почти все оставшиеся годы я была редактором этих «заметок», и об этой трагедии в моей профессиональной жизни я хотела бы рассказать отдельно и о его доверии — не могу найти другого слова.

Он пишет в «Заметках», что в Армении на нем был «толстый шерстяной шарф» и «новое демисезонное пальто», — я его купил перед отъездом». Знаючи светской жизни ему сказали: «Не блестяще, но для переводчика прилично».

И вот эта фотография... Гроссман в Армении. Тоже словно библейский сюжет. Он сидит на каком-то невиди-

мом камне где-то в горах в этом самом длинном темном демисезонном пальто (я помню его), застегнутом, вероятно, на все пуговицы. Голова открыта, лицо повернуто чуть вбок. Он сидит, и полы длинного пальто чуть расходятся книзу. А сверху в отверстиях пальто — краешек белой рубахи, завязанный отчетливым узлом темный галстук и краешек того самого шерстяного шарфа, в котором он приехал в Армению. Пальто очень темное, и на этом фоне — светлый треугольник у груди, светлый облик лица и сжатые на коленях кисти рук — так отчетливо видны руки, вылезшие из рукавов пальто, пальцы, переплетенные, кончики манжет и часы.

Вся поза такая подлинная и естественная. А вокруг горы, скалы, нависшие, обступившие со всех сторон. Нельзя понять, откуда он пришел и как он уйдет. Нет тропинок, и пути не видно. И он сидит, чуть глядя в бок, и печаль и мягкая улыбка, вроде он погружен в себя, но будто подставил лицо под невидимый теплый луч. Но луч этот только — в складке губ: чувствует и ловит это тепло. А руки сцеплены так сильно и даже безнадежно.

И среди глухих скал он сидит, а не стоит, сидит совершенно один, никого не видно вокруг, а скалы и обступают и наступают на него, а он печален и спокоен, и только мрачное темное пальто, и светлое лицо, и сжатые кисти рук.

— Я замурован, — сказал он мне в больнице.

Но на этой фотографии он и замурован и свободен. Что и отличает его жизнь.

Накануне смерти, проснувшись после тяжелого укола, он сказал:

— Ночью меня водили на допрос... Скажите, я никого не предал?

Вот о чем думал он в последние часы жизни. Не о себе.

Он лежал распростертый на больничной железной кровати, которая была ему и коротка и узка, временами то приподымая голову, то вдавливая ее в подушку, и не находил себе места.

Корпус был старый, деревянный, одноэтажный с высоким крыльцом и небольшим коридорчиком, прямо ведущим к палатам. Василий Семенович лежал спиной к окну, за окном шумели густые зеленые листья деревьев. Дом был в глубине двора на границе между 2-й и 3-й Градскими больницами.

— Если бы вы знали, сколько страданий в этой тихой

больнице, — сказал он однажды, когда я села около кровати, как всегда подвинув стул, стоящий у стены.

Он ведь лежал, не вставая, не выходил никуда, не говорил почти ни с кем из посторонних, а эту разлитую боль чужую чувствовал, как свою.

Про всех и все спрашивал у меня — отчетливо и ясно.

— Как Светлов? — каждый раз начинал с этого вопроса наш разговор, после того как узнал, что Михаил Светлов тоже лежит в этой больнице.

Я не говорила ему, что палаты их рядом, стена к стене, потому что Светлов был болен давно и Василий Семенович мог знать, что у него.

— Два богатыря, — сказал Светлов, узнав об этом, незримом для них, буквальном соседстве.

В последние дни в минуты затемнения после уколов возникала эта тема:

— Мне надо встать, но у меня перебиты ноги...

И голос его звучит до сих пор:

— Помогите мне отсюда уехать!

И снова:

— Помогите мне эвакуироваться отсюда. Мне надо отсюда уехать, а то я могу умереть здесь.

И лежит, вжимаясь богатырски несчастным телом в эту кровать, упираясь ногами в решетку, раскинув длинные, ставшие такими худыми руки. И хочет вырваться из заколдованного круга, в который он неизвестно почему, в награду за свою жизнь, попал.

И спрашивает меня:

— Вы можете помочь мне собраться? Вы можете помочь мне уехать?

В день смерти:

— Ужасно, что я проснулся...

— Но вы сейчас заснете опять.

— Кончился билет, я не смогу больше ехать.

И я говорю такую глупость: «Ничего, мы купим еще один билет...» Такую дикость говорю. А он ведь понимает все — по глазам, словам, голосу. Но секунду успокоения приносят мои слова — одну маленькую секунду, а их осталось считанное число.

— Вы хотите поехать в Волгоград? — вдруг неожиданно и четко спрашивает он.

— С вами, конечно, — громко отвечаю я, сжавшись в комок от напряжения.

Так в последние часы своего последнего дня он сказал — Волгоград. Именно Волгоград!

И я вспомнила, как приехала к нему с версткой рассказа «Дорога» в квартиру на Беговой. И он так искренне обрадовался верстке: казалось, был просто счастлив. И сказал приблизительно так: для него верстка, как для Робинзона асфальт. Или, может быть, чуть по-другому: что смотрит на нее, верстку, как Робинзон — на асфальт.

А потом сказал, улыбаясь:

— Как вам нравится, что у Сталина осталось только два защитника?

— Кто же это? — спросила я.

— Я, — ответил он, — и Виктор Некрасов.

Оказывается, они — единственные из писателей, кто не дал при переиздании книг переименовать Сталинград — в Волгоград.

А сейчас он сказал — Волгоград, будто прощался с городом в чистом его виде, без сталинского насильственного порабощения города себе. И повторил снова, что надо ехать в Волгоград.

— Пойдите, устройте все, — задыхаясь от кашля, с алыми от кровохарканья губами, отрывисто произносит он. — Вы можете пойти за такси?

— Конечно...

— Я хочу, пойдите за такси, я вас прошу.

Я даже выхожу в коридор. Он успокаивается немного.

Потом:

— Вот хорошо, — говорит он. — Мы обязательно отсюда уедем. — Даже как будто обнадеживая меня.

Потом он просил не забыть «квитанции». Чтобы я пошла и нашла «квитанцию», очень важная для него квитанция, она особенно мучает его. Тогда я не могла понять, а позже стала думать и поняла, что это — «ордер на арест», протокол об изъятии романа...

Но сознание его замутнялось, как я уже писала, только после очень сильного наркотического укола. А вообще — ясная голова, ясный, как всегда, ум, огромная душа, его неповторимая (до последних минут) речь.

За два дня до смерти, в пятницу, когда я дома на листочке написала про него: «Плохо, очень плохо, ужасно», он встретил меня словами:

— Расскажите, что же случилось нового?

Этим вопросом — по-разному, в разной форме и разными словами — он встречал меня всегда.

В этот день в пятницу я стала предлагать: может быть,

чаю... Он просит минеральной воды, а потом в ответ на мои напоминания — чаю с яблоком.

— Чего бы вам еще хотелось? — спрашиваю я.

И он серьезно, после большой паузы:

— Множество в е щ е й, — это, повторяю, за два дня до смерти.

В другой раз на этот же вопрос:

— Окончательной ясности.

Накануне смерти:

— Так вам удобнее?

С хрипом и болью:

— Более или менее.

— А так хорошо?

— Х о р о ш о, — отвечает он, растягивая это слово.

После паузы:

— Не дай бог...

Свою старую приятельницу (в часы ее дежурства) в момент оптимистических речей по поводу его здоровья он прервал вопросом:

— Сколько мне лет?

— Двенадцатого декабря будет пятьдесят девять? — ответила она.

— Не б у д е т, — сказал он.

И в этот же день, через два часа:

— Какая красивая, — сказал он про женщину, которая села в коридоре напротив его открытой двери.

Сейчас, на мгновение представив эту больницу (будто я вчера сошла с ее крыльца), я поняла, что двери всех палат всегда были закрыты, и там, где лежал Светлов, — тоже. Только палата Василия Семеновича не закрывалась никогда. Сидели на стульях напротив него, проходили мимо, стояли и говорили «нянечки» громко, иногда с хохотом. Он никогда не просил закрыть дверь, только тогда, когда не хотел, чтобы слышали то, о чем говорили мы. В этом был и тверд и настойчив.

А так смотрел внимательно в открытую дверь, на людей, что появлялись в нешироком, но высоком ее проеме.

А что раздражало его безмерно? Это пошлость. Пошлость и ложь.

— Море пошлости, — сказал он про статью Мара в «Литературной газете», которую ему почему-то прочитали вслух.

Пошлость для Гроссмана — как антижизнь.

— Когда человек живет и мучается, — говорил Василий Семенович, — пошлость в литературе убивает его жизнь, растаптывает ее.

В один из тяжелых дней, вероятно, уже за десять или двенадцать дней до конца, я все часы своего «дежурства» читала ему вслух запись процесса Бродского, сделанную Фридой Вигдоровой. Он (что бывало редко) повернулся лицом к стенке, и я не видела, дремлет ли, слышит ли. Но догадывалась, что слышит, потому что ни разу не прервал — ни стоном, ни кашлем (а это трудно).

Когда я кончила:

— Я как будто провалился в туман, но слышал все, каждое слово.

Потом, помолчав:

— Бедный мальчик... Как это навалилось на него...

В это время вошла сестра — толстая, мрачная и злая. Она что-то резко сказала Василию Семеновичу.

После ее ухода:

— Она разговаривает со мной, как судья с Бродским...

И снова:

— Бедный мальчик...

Сострадание острое, понимание чужой беды. И вместе с тем жажда жизни, огромный интерес ко всему, что составляет жизнь. Чувство мощное, человеческое, всегда одухотворенное его неповторимой мыслью.

— Как Некрасов? — спрашивал он.

И в ответ на мои слова об очередных «неприятностях» один раз сказал:

— Нет, все-таки он счастливчик...

И добавил:

— Его печатают.

В другой раз сказал, что он порвал с литературной средой и многими старыми друзьями, которые, испугавшись «катастрофы с романом», перестали к нему звонить и ходить, обнаружив вдруг совершенно неожиданно, что у него «ужасный характер» и он почему-то «всех должен спустить со всех лестниц». Это я слышала от него еще на Беговой в его квартире на первом этаже.

— Анна Самойловна! — говорил он. — Вы можете представить себе, чтобы я кого-нибудь спустил с лестницы?

Я прямо ответила, что не могу, и добавила: если он меня не спускает с лестницы со всеми «редакционными замечаниями...» Но он заметил, что редакторов он вообще мог бы спустить... Но для меня делает исключение.

Скажу откровенно, тогда я думала, что же это за люди были. Ведь до сих пор ползет эта злая молва: у Гроссмана был тяжелый характер.

Ничего подобного! У него был прекрасный характер —

благородный и добрый. Только он не выносил вранья, подлости не выносил и был настоящим мучеником. А характер был могучий и не под силу только пигмеям. Всю меру его тогдашнего одиночества я смогла понять только с годами, с течением собственной жизни.

Ему становилось все хуже и хуже. В последние недели я принесла ему в больницу рукопись о биологии, о Вавилоне и Лысенко. Читала вслух небольшими кусками. Все труднее было читать. Так тянулось до его конца, почти до самого конца.

Как он слушал и все время просил читать... И восторг настоящий и такой необыкновенный интерес. И благодарность: что вот я приношу и читаю, растроганность такая неподдельная, что мне больно становилось от его неизбалованности.

Сначала я читала по слепому экземпляру, сбиваясь иногда на специальных терминах, но Василий Семенович говорил, что ничего, что ему все понятно, ведь он химик, естествовед, все хорошо знает.

И слушает, боясь кашлянуть. А если начинается у него этот страшный кашель и я перестаю читать, то тут же, когда может выдать хоть слово, сразу просит продолжать, еще давясь кашлем.

— У меня тоже об этом есть, — сказал он.

И я понимаю, что речь идет о романе.

Когда я прочитала страницы о последних днях Вавилова и о его гибели — то, на секунду оторвавшись от чтения, увидела, что глаза Василия Семеновича полны слез, а сказать от волнения он не может ни слова.

И тогда неуместно бодрым голосом (ведь я тоже не могла читать спокойно) сказала, что надо сделать перерыв, и пыталась завести речь о чем-нибудь другом, что было трудно.

Потом, через некоторое время (час или полтора), но в тот же вечер Василий Семенович попросил читать дальше.

После страниц о гибели Вавилова пошел рассказ о тех, кто его погубил. Сначала о Презенте и его доносах.

И Василий Семенович сразу почувствовал несовместимость, что ли, этой части рядом с трагедией Вавилова, хотя они связаны между собой, как Яго и Отелло. И он прервал меня словами, что после голоса Вавилова ему трудно слушать голоса этих подлецов, что они невозможны рядом. Он даже сказал — ничтожность, мелкость, невозможность.

— Не могу, не нужно, — так отредактировал он.

Ведь рукопись была документальной и состояла во многом из цитат. Первая глава — письма и статьи, написанные Вавиловым, а потом сразу — очень густо — цитаты и доносы лысенковской гвардии. И Василий Семенович так горячо, так резко их разделил, отбросил и, стащив со своих прекрасных глаз очки, вытирал платком мокрое лицо и глаза, залитые слезами. Будто в эти свои последние дни стоял на могиле Вавилова и не хотел допустить ее поругания.

Надо добавить, что в следующий раз (вероятно, через день, а может, два) он попросил, чтобы я читала дальше, слушал напряженно и очень внимательно, но сразу вслед за гибелью Вавилова не мог этого вытерпеть.

Однажды во время чтения он сказал:

— Наверно, я очень большой эгоист.

И на мой недоуменный вопрос (я даже догадаться не могла, откуда вылилась эта фраза) ответил:

— Чужое страдание отвлекает меня от собственных страданий.

Конечно, я решительно запротестовала — надо было видеть, с какой печалью он это сказал. И стал повторять, волнуясь, как важно ему это мучительное чтение (он именно это слово произнес), сближает оно его с жизнью, с гражданской, общечеловеческой жизнью... Как много он об этом думал... И опять — как благодарен...

А потом, когда пришел его навестить верный на все периоды и эпохи друг — Семен Израилевич Липкин, ему захотелось, чтобы он тоже услышал эти страницы. Сам назвал, что читать. Я знаю это исчезающее из нашей жизни чувство, когда, прочитав, обязательно надо поделиться с другом — не для хвастовства и суеты, а для объединения дружеского вокруг книги. И как удивительно было видеть эту черту щедрой души Гроссмана на пороге смерти.

Надо представить себе — ведь он не только умирал, не только знал, что умирает, но был, по его слову, «замурован» как писатель. Это была величайшая трагедия. И я знаю, как по-разному переносят ее разные люди. Сколько озлобления к чужим книгам и судьбам, какое смещение, сужение точек отсчета...

А у Василия Семеновича все наоборот — и широта души и острый интерес ко всем, кто печатался и писал.

Ведь шли 60-е годы нашего века, счастливые для многих 60-е годы. Для него же они полны бед. И спрашивал про авторов «Нового мира»:

— Как он выглядит? Что пишет? Сколько ему лет? Как живет?

И даже:

— На что живет?

Очень часто:

— Как Солженицын?

Появление его встретил восторженно.

— Изумительная вещь, — сказал он.

Я тогда даже не понимала так, как понимаю сейчас (после прожитых лет и горьких наблюдений), что умирающий Гроссман был неповторим в этом потоке чувств. И так естественен во всех своих реакциях.

Помню, он рассказал, как «перед самой больницей» ему в квартиру на Беговой разные люди принесли разные рукописи и про каждую сказали, что надо прочитать «за три дня». Это был ходивший тогда по рукам перевод «Процесса» Кафки и наши лагерные воспоминания, недавно написанные одной женщиной. Он через три дня с виноватой усмешкой сказал, что начал читать обе — но наш «процесс» захватил его больше, чем кафкианский. Он, конечно, собирался прочитать и то и другое, но от «нашего» оторваться совсем не мог. И несколько раз повторил собственное свое название — «наш процесс».

Он высоко оценил книгу, назвал ее очень талантливой, но образ автора и нравственное выражение ее личности вызвали и отталкивание. Что было главным для него?

— Она отказалась от своего отца, — сказал Василий Семенович. И добавил резкое слово.

В этом он был непоколебим — здоровый и больной, живой и умирающий.

Он хотел, чтобы его печатали и читали. Он мечтал об этом. Но при одном условии — что он останется верным тому, что написал.

После ареста романа в «Новом мире» в 1962 году в июньском номере появился его рассказ «Дорога». Маленький, необыкновенно прекрасный рассказ о бедном итальянском муле и его печальных злоключениях по дорогам войны. Пересказать его нельзя — столько вложено в него любви.

На этих страницах я не буду касаться истории публикации рассказа и того, что привело меня в его квартиру.

Это было в 1961 году. Сначала в тоненькой папке я привезла домой три его рассказа: два из них не были напечатаны при его жизни; третьим была «Дорога».

Он был подавлен и не верил в успех. Катастрофа с романом нанесла ему смертельную рану. И при этом оказалось, что совершенно не понимал, почему один рассказ легче на-

печатать, чем другой. Эта его простодушность при всей мудрости была, без сомнений, уникальна.

Но я, конечно, обязана была понимать, что напечатать легче, что — труднее. И я вцепилась в «Дорогу» с ее сложным подтекстом, с ее связью с войной. И многим, многим другим...

Но с ним было легко, и он понял мою воодушевленность и надежду. И постепенно в разговоре с ним крепла и собственная моя уверенность. И показалось, что своим настроением (что рассказ пойдет) я как-то заразила его. И вдруг такой простой детской радостью озарилось его лицо, что мне больно об этом вспомнить.

Когда я собралась уходить и он вышел проводить меня в коридор, он вдруг изменился и даже помрачнел. И напомнил, как я приходила к нему когда-то от «Литературной газеты» и брала материал о «Черной книге».

И в прихожей он вдруг с какой-то суеверной тревогой сказал:

— Нет, ничего у нас, наверно, не получится. Ведь вы знаете, какая судьба постигла «Черную книгу»...

И добавил, что готовый макет ее пошел под нож после ареста еврейских писателей и разгрома антифашистского комитета.

Я даже растерялась от такого поворота. Столько трагических болевых нервных линий сплелось в нем...

И как-то не очень уверенно начала оправдываться: что с «Черной книгой», увы, получилось так... Это я знаю... Но у нас с ним тогда все было иначе. И моя заметка под названием «Черная книга» была молниеносно напечатана через три дня после нашей встречи.

Он протянул мне руку помощи — сказал, что она, эта заметка, оказалась единственным печатным свидетельством о «Черной книге». В чем, к большому прискорбию, нет моих личных заслуг, ответила я ему.

И пока мы стояли и так странно и долго говорили в прихожей, вспоминая нашу первую встречу, он неожиданно засмеялся и весело попрощался со мной.

Рассказ «Дорога» был напечатан сравнительно быстро и прошел сравнительно легко. Я уже писала о верстке, о неповторимых его словах про Робинзона и асфальт, о недолгих минутах радости, которые принес рассказ.

— Как хорошо, — сказал он мне в больнице, дав прочитать «Все течет», — у меня теперь четыре читателя этой вещи, вы — четвертая.

Был и такой почти фантастический эпизод в истории его «печатания» в период между двумя больницами.

После операции была мечта, что болезнь отступит. Он оправился, начал ходить, читать, писать.

И появился у меня план, сначала я не очень верила в него и Василия Семеновича не посвящала. Был, вероятно, август 1963 года. Из соседней с нами «Недели» (еженедельного приложения к «Известиям») спрашивали часто — нет ли чего-нибудь, чтобы выбрать для них отрывок. Спрашивали часто, печатали редко. И я никогда не занималась этим. А тут снова появился сотрудник — очень осведомленный, а главный редактор (Аджубей) — осведомленный еще больше.

И я завела речь о Гроссмане — с сотрудником, конечно. Ведь у нас безнадежно лежали «Путевые заметки пожилого человека», переименованные в «Добро вам!». Сотрудник был в курсе дел. Но при этом ходил, выяснял, проверял. Потом появился снова, заявив, что печатать они обязательно будут, чтобы я выбрала для них отрывок. Я выбрала и послала Гроссману. Он сам дал название «Севан». И получилось просто отлично.

Потом всё двинулось вперед прямо-таки газетными темпами.

Передо мной лежала сверстанная полоса «Недели», очередного ее номера. «Севан» занимал почти целую страницу в специально очерченной художником жирно черной рамке. Сверху рисованным шрифтом — «Севан» — крупно, броско, значительно. Под ним тоже довольно крупно — «Из путевых заметок пожилого человека» и чуть ниже — Вас. Гроссман. Отрывок со своим внутренним сюжетом и изумительно звучащим голосом Гроссмана (что, впрочем, отличает и всю эту вещь). Так выглядела эта полоса.

Появилась у меня твердая уверенность, когда я смогла на эту страницу, что после нее мы вернемся к этим «Заметкам» и напечатаем их в том виде, в каком хотел Василий Семенович. Не знаю, верил ли он сам в это, но чуть посмеивался над моими проектами.

Врач посоветовал ему поехать в подмосковный санаторий, и вскоре он уехал (кажется, это было Архангельское, и после него ему стало хуже).

В «Неделе» все шло точно и быстро, он звонил по телефону из санатория и узнавал, как дела. И вот в ближайшую субботу должен был «Севан» появиться в свет. Мы условились с ним, что он позвонит утром мне домой, я назначила точно час, когда должна появиться «Неделя». В пятницу

уходя вечером из редакции, я еще раз проверила все у сотрудника «Недели».

Была суббота, у меня — творческий день, «Недели» я не выписывала, но редакция наша работала. И договорились, что секретарь редакции Наталья Львовна, как всегда, утром забежит в «Известия» за экземплярами «Недели». Она была в курсе дела и обещала, что с этого начнет рабочий день. Кроме того, я договорилась с одним молодым писателем, он был подписчиком «Недели» и обещал утром тоже позвонить мне, сразу как вытащит номер из ящика.

Прожила это время в большом напряжении. Но позвонил телефон раньше, чем я ждала:

— Все в порядке, — услышала я спокойный и довольный голос Натальи Львовны.

Она сказала, что напечатали, назвала страницу — семнадцатую, прочитала название, первый абзац, второй абзац, последний абзац.

Это был подарок...

Василию Семеновичу, когда он позвонил, я все это с большим подъемом описала и сказала, что в «Новом мире» лежит много номеров «Недели» — специально для него. То была «Неделя» — номер 39, 22—28 сентября 1963 года.

Я успокоилась, расслабилась и решила в эту субботу заняться чем-нибудь успокоительным для себя.

И на задний план отодвинулось, что почему-то не позвонил молодой писатель, а мы так твердо условились.

Позвонил он чуть позже. И сказал как-то осторожно и очень мягко:

— Значит, не напечатали...

Я возмущилась и стала его укорять — как он так невнимательно смотрел, ведь Наталья Львовна вслух прочитала почти все.

Он удивился очень и сказал решительно, что позвонит ровно через пятнадцать минут. И тут все во мне замерло тяжким и таким привычным за годы работы в печати предчувствием беды.

Молодой писатель позвонил еще раз и сказал, что я могу его кромсать и резать, но Гроссмана в «Неделе» нет.

Что же случилось? Расскажу только то, что узнала сама. «Неделя» № 39 за 22—28 сентября 1963 года была набрана и сверстана вместе с «Севаном» Гроссмана. Номер был подписан в печать и залитован. Началось печатание тиража, первые экземпляры которого попали в «Новый мир». И вдруг утром, во время этого печатания, появился заместитель главного редактора Ошеверов. Он остановил пе-

чтение и из готового тиража (что делали в сталинские времена, когда в ночь выхода номера был арестован автор — я сама пережила несколько таких ночных историй!) вырвал Гроссмана и вставил на это место другой материал.

В понедельник в редакции у меня было два варианта этой «Недели». Гроссмановскую «Неделю» я сберегла до нынешних времен, а ту, вторую, потеряла.

Я тогда места себе не находила, думая о том, какой нанесу Василию Семеновичу удар, когда он позвонит, вернувшись из санатория... Как он обрадовался тогда... В такой мрачности я не была давно. Как ненавидела я этого Ошеверова, и описать не могу. С его женой у нас были милые отношения. Собралась было ей позвонить, но не смогла, не смогла унижить Гроссмана, «Новый мир» и себя.

Василий Семенович еще раньше, смеясь, повторял, что по голосу и по тому, как я говорю: «...Василий Семенович...» — он понимает, как обстоят его «новомирские дела». А тут о голосе не могло быть и речи.

И услышала, как он ответил мне решительно, твердо и спокойно:

— Ведь напечатали! И я доволен.

Я привезла ему его «личные» номера и выяснила, какой у него тираж. Он сказал, что тираж все-таки большой. И вообще, был настроен даже юмористически, особенно когда узнал, что эта его гроссмановская «Неделя», вырвавшись запретно из общего известинского тиража, вдруг попала в газетные киоски каких-то подмосковных городов. И в одном из них ее купил, сойдя с поезда, его знакомый и сообщил ему. И кто-то еще тоже купил и тоже позвонил. И вообще, таким он был мужественным и дружелюбным, что и передать не могу.

Он умрет меньше чем через год в том же сентябре будущего года. И этот незаконный «Севан» и напечатанный в 12-м номере «Нового мира» в 1963 году рассказ «Несколько печальных дней» станут последними его прижизненными изданиями.

И снова хочу вспомнить о том, как он брал в руки верстку, как смотрел на «Неделю», как вел счет на единицы тиражей и читателей.

Это была не нервная издерганная душа, а даже на пороге смерти гармонически естественная и живая. Все бесчисленные катастрофы с чистыми его книгами не исказили его личность. Они принесли ему смерть, но жизнь на нравственных ее высотах не исказили. Не было в нем и тени темной сосредоточенности на себе одном

Как мог он слушать других людей и как умел слушать! Он даже настойчиво просил, чтобы люди, приходившие к нему в те годы, не соединялись вместе. Хотел настоящей беседы с глазу на глаз и так прямо смотрел в глаза.

— Меня это интересует, — сколько раз я слышала эти слова.

Я видела, как он высок в трудные минуты, как никогда не забывает о других.

Он говорил о том, как писателей губила в трудных обстоятельствах измена своему таланту.

Приводил разные имена — то с раздражением, то с болью. Был один писатель... Он когда-то был с ним близок и с удовольствием встретил его вступление в литературу, его первые повести о войне. Потом писателя начали громить... После этого он стал писать длинные романы — как будто другой человек. Длинные и благополучные. Стал получать сталинские премии. Василий Семенович его любил и прямо сказал, что не следует так писать. И тот ответил, что это пока, сейчас, а потом когда он захочет и когда будет можно, то будет писать так, как писал раньше. Василий Семенович его убеждал, что, когда он захочет и когда будет можно, он уже не сможет писать так, как писал. А тот даже посмеивался в ответ и повторял свое.

И что же получилось с этим писателем? Получилось именно так. Когда было можно...

А когда бывает можно? Гроссману, оказывается, можно было всегда. Вот какая особенная судьба.

Надо ли добавлять к этому, что Сталин его заметил давно и не любил (если уместно в этом случае употреблять такое слово). Достаточно вспомнить, что лично Сталин вычеркнул его книгу из списка лауреатов, о чем ему рассказал Фадеев, в присутствии которого это произошло. «Да, знаю я, Садко меня не любит», — не случайно эту оперную фразу часто, с большим подтекстом, повторяет Штрум, герой романа «Жизнь и судьба».

Когда он лежал и маялся, прикованный к этой неудобной, короткой ему низкой больничной кровати, задыхаясь, протягивая иногда в воздух руки, чтобы найти какую-то единственную, скрытую от него точку, позу, при которой можно хоть один раз легко вздохнуть, это была крестная мука.

При всех ужасных изменениях, которые должна нести эта болезнь, наперекор ей, в нем никогда не было ничего болезненно отталкивающего, неприятно деформирующего.

Только более высоким и огромным становился лоб, более яркими и глубокими глаза, более мудрыми складки у губ. Всегда — благородство, всегда — одухотворенность, всегда — тонкость и гордость. И течение страшной болезни не затемняло эти черты.

Да, голоса жизни... Да, шум зеленых деревьев... И книги, люди, споры. И слезы над страницами о гибели Вавилова и многих других людей.

Но была и судьба собственных его книг, и новая у нас трагедия под названием «арестованный роман». Роман томился за решеткой, а писатель умирал в узенькой больничной палате в сентябре 1964 года.

Я сидела в своей комнате отдела прозы журнала «Новый мир», когда явились за романом Гроссмана. Рабочий день кончился. И наша редакция, которая была расположена в самом приятном и дружелюбном месте — на улице Чехова, — была полупустой. Но доносился стук из комнатки машбюро, около двери кабинета Твардовского сидела еще его личный секретарь — Софья Ханановна Минц, а в кабинете Твардовского был Дементьев.

Софья Ханановна и рассказала нам, что пришли за романом Гроссмана, который лежал в сейфе «Нового мира». Ключи от сейфа были у ответственного секретаря Закса, который уже ушел домой. Я не помню, был ли у Закса дома телефон (или, может быть, он пошел не домой), но кого-то посылали за Заксом и его искали. Мне, по тогдашней неосведомленности в этом деле, показалось, что главным объектом операции является именно «Новый мир», и я ошибочно считала, что не надо так энергично искать Закса и что надо поставить в известность Твардовского. И предлагала совсем утопичные планы.

Я не знала тогда, что сейф «Нового мира» был концом операции по «изъятию» романа, а не началом. И наш журнал, и сам Твардовский, которому для совета принес Гроссман свой роман, были одинаково унижены, оскорблены и распяты вместе с Гроссманом.

А навели и к нам и к нему не милиция и не «органы», а другой журнал, расположенный в противоположном конце той же нашей Пушкинской площади, — журнал «Знамя», его главный редактор Кожевников и верные его помощники.

Я не знаю, было ли когда-нибудь нечто подобное в истории нашей журналистики, хотя она многое повидала на своем веку. Чтобы в результате тайной, активной, много-

месячной, организованной деятельности журнала в течение одного дня со всей Москвы на «черном вороне» увезли все экземпляры романа, рукопись которого он доверчиво принес к ним сам в 1960 году.

— Ведь был договор, — сказал Василий Семенович. Что же такое договор? Это исконно честное и правдивое в своих основах слово. Но для правдивых людей.

А год начался для Гроссмана счастливо: ведь он завершил десятилетний свой труд. И во многих газетах и тонких журналах появилось имя Гроссмана.

2 апреля 1960 года «Литературная газета» печатает почти целую страницу: «Сегодня мы печатаем одну из начальных глав романа „Жизнь и судьба“, который будет напечатан в журнале „Знамя“».

В эти же месяцы — апрель-май — он, вероятно, отнес роман в этот журнал.

Он рассказывал, что там долго и мрачно читали сами, ничего ему не говоря. Потом стали ходить, носить. Переправили роман Д. А. Поликарпову со своими пояснениями. Об этом я узнала подробнее потом. Есть свидетельство одного из авторов «Нового мира»: он оказался случайно в кабинете Поликарпова, тот в ярости поносил роман Гроссмана, и автор наш вступил с ним в ожесточенный спор. Так принималось решение на поликарповско-суловских этажах.

Автором этим, случайно попавшим в кабинет Поликарпова, был Виктор Некрасов. Он и рассказал об этом и о том, что Поликарпов начал разговор с ним примерно так:

«Не успели доехать до Москвы, как сразу же побежали к Гроссману — выражать сочувствие».

И тогда возникло это — «изъять», или, по-другому, «извлечь», оба эти слова я слышала тогда.

Так из «Знамени» потянулась цепь.

— Количество экземпляров назвала машинистка, — сказал Василий Семенович.

В квартире на Беговой был взят экземпляр романа, в его комнате на Ломоносовском проспекте — один экземпляр, в «Новом мире» — другой. О «Знамени» говорить не надо. Все собрали, подобрали и увезли. До единой бумажки.

Операция по «извлечению» состоялась в один из дней февраля 1961 года.

Я хотела бы еще раз повторить его фразу:

— Ночью меня возили на допрос... Скажите, я никого не предал?

И последние слова о романе:

— Хотелось бы подержать его в руках...

Через несколько минут:

— Хотелось бы снова его прочитать...

Конечно, журнал «Знамя» — для Гроссмана губительный шаг. Но он свидетельствует о чистоте его замыслов и помыслов, о том, что (я это видела потом сама) он вполне искренне не видел так причудливо называемой в нашей литературном обиходе «непроходимости» своих произведений. При том, что блистательный его ум — в каждой строчке, написанной им, в каждом слове, сказанном им. Ведь и к Твардовскому (я уже говорила) он обратился, чтобы понять, что же могло переполошить «Знамя». Почему они молчат? Может ли писатель «замыслить антисоветский роман» по договору с Кожевниковым? Да у подлинных писателей и не бывает таких «замыслов».

Он писал этот роман с подъемом и с надеждой — писал, чтобы написать.

Думая над всем этим в течение лет, я хотела бы добавить, что слышала тогда от одного «влиятельного» лица — «нельзя, чтобы повторилась история с романом Пастернака...»

Следует напомнить, что травля Пастернака по поводу Нобелевской премии началась с конца октября 1958 года и продолжалась весь 1959 год, а сам Пастернак умер в мае 1960 года, когда его имя, роман и похороны были в центре мирового внимания.

Именно в это время, в эти буквально месяцы начала 60-го года, на фоне этих громких событий Василий Семенович Гроссман отнес свой роман в журнал «Знамя».

И решили: «чтобы не повторилась»...

Так родилось на свет это дикое словосочетание — «изъятый роман», особенно противоестественное и невыносимое для того, кто хорошо знает, что значит для писателя и вообще для всей жизни грохот наших типографских машин, выпускающих пахнущие свежей краской журналы живых, думающих и всегда страдающих за людей писателей. Именно живых... Это я знаю точно, из всего опыта собственной профессиональной жизни.

«Изъятый роман» наложил на честную жизнь Гроссмана свою жестокую печать и поставил его в поле зрения многих «прожекторов». И не было никакой мнительности, а было большое мужество, когда он понимал, что за ним следят, отдавал себе отчет, что он окружен. И в этой больнице, в этой палате, с этими снующими мимо его комнаты

типами, нагло влетающими в палату сестрами. И его мучила ответственность — что он подвел, что он подвел.

Это слово «подвел» сейчас невыносимо вспоминать.

В последние годы жизни он выстроил себе однокомнатную кооперативную квартиру — в районе Аэропорта (в одном из его писательских корпусов). Чтобы работать в уединении и встречаться с теми, с кем он хотел встречаться в эти годы. Но когда дом был готов, какой-то строитель сказал ему, что в стенку его квартиры вмонтирован подслушивающий аппарат. Какие тайны, господи, какие тайны надо было узнать, чтобы мучить такого человека?

Нет, он не подвел ни в чем и никогда. Такие люди не подводят. Но было страшно, когда я поздно, в вечерние часы, уходила из этой больницы. Страшно за него, за жизнь, за себя. И это был даже не страх, а какая-то эмоционально неосознанная волна, в которую я погружалась, когда зашмыгивала дверь и я выходила на крыльцо в полную ночную темноту двора, с темными корпусами вокруг. Я была одна среди этих огромных темных домов. Особенно отчетливо я ощутила это, когда кончились длинные, сказочные, летние дни... В какой-то придавленности я бежала по густым, заросшим деревьями аллеям и тропинкам огромной, безлюдной в этот час территории Градских больниц. Потом шла пешком по старой Калужской улице до Садового кольца, где на улице Чайковского стоял мой старый дом. А когда наступал день «дежурств» (Ольга Михайловна приходила утром и сидела до обеда, а потом начинались «дежурства»: мое время от пяти часов вечера до момента, как он засыпал), когда наступал этот день, не было тоски, а был даже подъем, что я снова его увижу. И по дороге я думала, как бы найти самое интересное, забавное, человеческое — ему рассказать.

В те годы я слышала и такие слова:

— Как это Гроссман не смог сберечь свой роман?

И долгие годы даже близким людям не отвечала на этот вопрос. Но в больнице узнала от него то, что не могла не узнать, — что спас он «изъятый» роман... Как брел через всю Москву и ночью забросил его на шкаф в одну из комнат одной из коммунальных квартир. Ведь он был мужественным, умным и сильным человеком. А на войне и рядовые и генералы видели, как отважно вел он себя на перредовой.

Сначала я хранила все это так глубоко в памяти, что боялась доверить бумаге даже слово одно. Ведь так страшна ответственность в хранении такой тайны... Потом стала что-то записывать, но иногда, чуть-чуть.

А сейчас скажу подробнее, но тоже не все. Чтобы легче было понять меня, отвлекусь на минутку в сторону.

Была у нас с ним такая форма разговора, связанная с тем, что я работала в редакции, каждый день читала разные рукописи и иногда рассказывала ему об этом. Но иногда мы меняли факты, названия, эпизоды.

Так, например, в больнице он дал мне (молча) «Все течет», и я (тоже молча) вложила ее в свою «авоську». Все годы, что я работала в редакции, я носила рукописи в прозрачной «авоське». И Солженицына, и всякую муру — «авоська» была одна. И «авоська» не подвела.

Когда я принесла назад «Все течет», то села с рукописью рядом. И сказала, что прислали ее по почте из какой-то провинции... Что я от нее в восторг пришла... Он улыбнулся довольно и стал спрашивать, что же этому автору, по-моему, удалось. А я повторяла, какой этот автор молодец и как ему все удалось... Ведь я знала, что я «четвертый читатель», и понимала, что я — последний читатель, и хотелось вознаградить его за всех других читателей.

И вот именно этим способом — по слову, по фразе, по цитате (особенно важна была роль цитат) он постепенно рассказал, что спас свой роман. Рассказывал будто о другом человеке, а руку клал себе на шею.

И мне запомнилось так резко — будто вижу его в его демисезонном пальто и шарфе, как идет он, чуть согнувшись под тяжестью романа (хотя ходил он очень прямо), и входит в узенькую комнатенку коммунальной квартиры, где у входа стоит старый шкаф.

И я хотела бы сказать о женщине, которая тут жила. Я с ней встретилась в больнице. Василий Семенович познакомил нас. Он назвал ее Лёля.

А на другой день, показывая на то место, где она сидела, он жестаи и словами пояснил, что роман у нее. А когда она пришла еще раз, Василий Семенович дал ей знать, что я тоже об этом знаю.

И все эти длинные годы, после катастрофы, роман сберегала она.

И я хочу сказать отчетливо и ясно о том, что сложилось из всех разговоров с ним. Что эту лежащую на шкафу рукопись он называл своим романом. Именно этот экземпляр. Что он сам запутывал следователей при обыске своими поездками в их машине за экземплярами. И что таким путем авторский экземпляр удалось ему спасти.

Так обстояло дело к сентябрю 1964 года — к концу его

жизни. В самые последние дни Ольга Михайловна вызвала меня на улицу и сказала, что Василий Семенович хочет, чтобы я знала о судьбе романа. И передала последнюю его волю: чтобы роман хранился у старого его друга Вени, имеющего свой дом в одном из подмосковных городков. И Вячеслав Иванович Лобода забрал рукопись из первого хранилища — коммунальной квартиры.

Их роль в спасении романа огромна. Кроме них, никто из близких ничего не знал.

Были часы и даже дни, когда ему становилось чуть лучше, а потом все хуже, хуже и хуже.

Даже очки уже были тяжелы, появились от них кровавые следы на висках. Но он снимать их не хотел, считал, что без очков он «не в форме». Когда я пришла один раз и в эту минуту он был без очков, то сейчас же потребовал их.

— Ко мне пришла гостья, — сказал Василий Семенович. — Я должен придеться.

А накануне смерти сказал, протягивая руку:

— Очки!

А когда я переспросила (он теперь уже говорил не всегда внятно), сказал:

— Дайте мои очечки...

После его смерти меня спрашивали очень часто: неужели даже такой человек, как Гроссман, не понимал, чем болен, не понимал, что умирает.

И как было объяснить, не огрубляя его образ, что он все понимал, знал и называл своими словами.

Сколько раз он повторял строчки:

Тяжело умирать:
Хорошо умереть, —

написанные умирающим Некрасовым.

Но человек таких мощных связей с жизнью не может жить без надежд на жизнь.

Искры надежды так видны были в минуты, когда он принимал новое лекарство, которым в этом корпусе, как я понимала, лечили безнадежных больных.

Это были большие капсулы из желатина четырехугольной формы. И Василий Семенович прозвал их по-своему — «чемоданчики», в само это слово вкладывая те сложные чувства, которые охватывали его. Количество пилюль увеличивалось ото дня ко дню. И Василий Семенович замечал этот рост. Мне сначала казалось, что, может быть, ему трудно

проглотить. Он брал «чемоданчик» в руки, долго смотрел на него, словно хотел оттянуть время, ждал, лежал, думал.

— Я не могу это сделать сразу, это очень тяжело, — говорил он.

Я спросила:

— Трудно глотать?

— Нет, — ответил он, — глотать совсем легко, они сами проскакивают внутрь.

В такие минуты он мучительно думал — надо принимать или нет.

— Это очень не просто, — говорил он, — я не могу сразу, подождите немного, пусть оно полежит рядом.

Но если ему казалось, что пропустили время, он пугался и спрашивал:

— Вы не забыли про чемоданчики?

И когда оказывалось, что не забыли, все начиналось сначала — сомнения, волнения и боль. Он ничего не делал механически, во все вкладывал душу и мысль и ясным своим умом понимал, что «чемоданчики» не принесут чудес. Каждый раз заново решал: проглотить или сбросить с тумбочки прочь. И относился почти как к живому существу — только не знал, доброму или злему.

И с часами тоже было тяжело. Он не снимал их с руки. Смотрел очень часто, а когда становилось хуже и он не находил себе места, без конца поднимал руку и вглядывался в циферблат.

Это было так трагично, что сил не было на это смотреть. Казалось, он смотрит на часы, чтобы узнать, сколько ему осталось жить.

Только в день смерти он снял часы с руки. И отчетливо и резко отделил себя от жизни. Это был единственный день, когда он не спросил, что нового в жизни, что слышно в «Новом мире». Это был единственный день, когда он не проявил никакого интереса к напечатанным вещам. Это был единственный день, когда он не попросил сесть рядом с ним.

И когда я пришла, то услышала ясный, даже какой-то отчетливый его голос:

— Дорогая, идите домой. Зачем вам мучиться...

Он умер в этот день моего «дежурства» 14 сентября 1964 года.

Мои разрозненные старые записи 1964 года, сделанные уже после его смерти, заканчивались словами, которые мне бы очень хотелось привести здесь:

Неужели его забудут, так и не узнав?

СОДЕРЖАНИЕ

С. ЛИПКИН

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

3

А БЕРЗЕР

ПРОЩАНИЕ

121

«Памяти павших»

121

Два интервью

137

Недолго его хвалили...

147

Черная яма

153

Один на поле боя

165

«Слушали — постановили»

183

Прощание

245

Семен Израилевич Липкин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Анна Самойловна Берзер

ПРОЩАНИЕ

Редактор Э. Б. Кузьмина
Художественный редактор Е. А. Родионова
Технический редактор Е. Н. Волкова
Корректор Э. М. Тахтарова

ИБ 2009

Сдано в набор 29.09.89. Подписано в печать 19.03.90.
А-09945. Формат 84x108/32. Бум. типографская.
Гарнитура Тип. таймс. Печать высокая. Усл. печ. л.
14,28+0,11. Усл. кр.-отт. 14,39. Уч.-изд. л. 16,59+0,10.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 4857. Заказ 9—3375.
Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Книга».
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Главное предприятие республиканского производ-
ственного объединения «Полиграфкнига». 252057,
Киев-57, ул. Довженко, 3.

Липкин С.

Л61 Жизнь и судьба Василия Гроссмана. А. Берзер.
Прощание. М.: Книга, 1990.

Под одним переплетом соединены две книги воспоминаний. О сложной писательской судьбе и светлой человеческой личности Василия Гроссмана рассказывают знавшие его не одно десятилетие близкий его друг, поэт и переводчик Семен Липкин и редактор «Нового мира» А. С. Берзер. Ее воспоминания дополнены публикацией ценных документов эпохи, стенограмм обсуждения романа Гроссмана

Богатство подлинных свидетельств эпохи, взволнованная человеческая интонация мемуаров привлекут внимание самых широких кругов читателей.

Л 4702010261-065 Без объявл.
002(01)-90

ББК 84Р7